

# ПУШКИНИСТЪ.

---

## ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИКЪ

*подъ редакціей профессора С. А. Венерова.*

---

---

II.

---



ПЕТРОГРАДЪ.  
Фотогилія и Типографія А. Ф. Дресслера, В. О., 2 линия, 43.  
1916.



## ОГЛАВЛЕНІЕ.

- I. Предисловіе *С. А. Венерова* . . . . . V—XVI

### Д о к л а д ы.

- II. Историзмъ Пушкина. Къ вопросу о характерѣ пушкинскаго объективизма. *Бориса Энгельгардта* . . . . . 1—158
- III. Опытъ анализа осеннихъ мотивовъ въ творчествѣ Пушкина. *А. А. Тамамшева* . . . . . 159—203
- IV. Пушкинъ и французская юмористическая поэзія XVIII вѣка. *Александра Попова* . . . . . 204—257
- V. Программа драмы А. С. Пушкина о паписсѣ Іоаннѣ. Къ исторіи недовершеннаго замысла. *Юліана Оксмана* . . . . . 258—268

### Лѣтопись Пушкинскихъ семинаріевъ.

- VI. Списокъ участницъ Пушкинскаго Семинарія при Петроградскихъ Высшихъ (Бестужевскихъ) женскихъ курсахъ (1910—1915) . . . . . 272—279
- VII. Списокъ рефератовъ, прочтенныхъ участницами Пушкинскаго Семинарія при Петроградскихъ Высшихъ (Бестужевскихъ) женскихъ курсахъ . . . . . 280—281
- VIII. Пушкинскій Семинарій при Психо-Неврологическомъ Институтѣ (съ 1910 — 1914 г.) *А. Полякова* . . . . . 282—286
- IX. Лѣтопись занятій въ Пушкинскомъ Семинарії при Петроградскомъ Университетѣ . . . . . 287—289
- X. Второй списокъ участниковъ Пушкинскаго Семинарія при Петроградскомъ Университетѣ . . . . . 290—292



## Предисловіе.

По обстоятельствамъ технического свойства, II томъ „Пушкиниста“, законченный наборомъ статей еще весною прошлаго года выходитъ въ свѣтъ только въ началѣ текущаго. Онъ изданъ по той-же программѣ, которая была изложена въ первомъ „Пушкинистѣ“ и со включеніемъ трехъ статей—г.г. Бориса Энгельгардта, Тамамшева и Александра Попова, въ этой программѣ уже намѣченныхъ. Четвертая статья—Юліана Оксмана, прочитана въ университетскомъ семинаріи позднѣе.

Остальныя статьи, намѣченныя въ программѣ, а также рядъ новыхъ, вполне уже приготовленныхъ къ печати, появятся въ слѣдующихъ томахъ „Пушкиниста“, если, конечно, нашей попыткѣ создать органъ молодыхъ научныхъ силъ не суждено заглухнуть.

Извѣстныя основанія надѣются, что „Пушкинистъ“ не заглухнетъ, кажется, имѣются. Вызвавъ нѣкоторыя возраженія принципіальнаго характера, — къ нимъ, вѣроятно, придется вернуться по поводу дальнѣйшихъ этаповъ составленія Пушкинскаго словаря — сборникъ, въ общемъ, былъ встрѣченъ критикою привѣтливо \*). А принимая во вниманіе спеціальнѣйшій характеръ сборника, можно констатировать, что и публика проявила интересъ къ „Пушкинисту“. Первый томъ напеча-

\*) Мнѣ извѣстны слѣдующіе отзывы:

1) *И. К.*, въ „Правит. Вѣст.“ 1914, № 68. 2) „Вѣст. Евр.“ 1914, № 5. библиогр. листокъ. 3) *Валерій Брюсовъ*, „Рус. Вѣд.“ 1914, № 99. 4) „Голосъ Москвы“ 1914, № 101. 5) *Е. К. (Колтоновская)*, „Рѣчь“ 1914, № 134.

танъ въ количествѣ 1000 экз., и изъ нихъ продано около 600, такъ что издержки печатанія почти покрыты. Хочется думать, что II томъ встрѣтитъ не худшее къ себѣ отношеніе и что органъ молодыхъ пушкинистовъ окрѣпнетъ окончательно. Къ печатанію III-го „Пушкиниста“, во всякомъ случаѣ, будетъ приступлено немедленно послѣ выхода настоящаго тома.

I.

Первая изъ статей II тома — обширная работа *Барриса Эниельгардта* стремится установить схему эволюціи міроотношенія Пушкина. Она сводитъ это міроотношеніе къ постепенному нарастанію въ Пушкинѣ „историзма“, т. е. особенно - живого чувства дѣйствительности. И такое опредѣленіе даетъ нѣчто болѣе общее, чѣмъ обычныя попытки характеризовать міросозерцаніе Пушкина чисто-литературнымъ понятіемъ *реализмъ* или очень уже эллинистически звучащимъ словомъ *гармоничность*.

Вдумчивый, широко-поставленный анализъ молодого изслѣдователя приводитъ его къ слѣдующимъ основнымъ положеніямъ, такъ имъ формулированнымъ для настоящаго предисловія:

„Жизнь всякаго творческаго сознанія начинается и заканчивается въ противоположаніи себя міру и въ томъ или иномъ разрѣшеніи возникающихъ отсюда дисгармоній.

И какъ только юноша Пушкинъ освободился отъ внѣшняго и случайнаго успокоенія въ поверхностномъ эпикуреизмѣ, проблема взаимоотношенія „я“ и „внѣшняго“ міра стала на

- 
- 6) „Южная Мысль“ 1914, № 859. 7) *С. Ш. (Штрайхъ)*, „Приазов. Край“ 1914, № отъ 2 июня. 8) „Кіев. Мысль“ 1914, № 86. 9) „Рѣчь“ 1914, № 76. 10) „Извѣстія Вольфа“ 1914, № 5. 11) *Н. Б.*, „Рус. Школа“ 1914, № 5—6. 12) *Б. Эйхенбаумъ*, Новое въ области „Пушкинизма“, „Рус. Мысль“ 1914, № 7. 13) *(А. Горнфельдъ)*, „Рус. Бог.“ 1914, № 7. 14) „Новая Жизнь“ (Харбинъ), 1914, № 146. 15) *М. С.*, „Столич. Молва“ (Москва) 1914, № 376. 16) *Ю. С—въ*, „Новая Жизнь“ 1914, № 6. 17) *Н. Кашинъ*, „Вѣст. Евр.“ 1914, № 8. 18) *Ив. Розановъ*, въ „Голосъ Минувшаго“ 1915, № 6. 19) *Фатовъ*, въ „Вѣст. Воспит.“ 1915, № 20) „Рус. Библиофиль“ 1914, № 5.

очередь въ его сознаніи, отлившись въ форму романтическаго бунтарства.

Но бунтарство это было совершенно особаго рода. Бунтъ поэта не выходилъ за предѣлы „возстанія“ противъ особенностей уклада соціальной жизни. Пушкинъ не былъ способенъ подняться на высоты всеобщаго отрицанія, метафизическаго Nein, какъ Гете, Лермонтовъ и Байронъ; напротивъ передъ „рокомъ“ онъ смирялся и съ Богомъ никогда не боролся.

И его бунтарство противъ „толпы“, человѣческаго общества, покоилось на полусознанномъ убѣжденіи въ томъ, что соціальная среда есть продуктъ свободнаго творчества свободной воли человѣка, который несетъ всю отвѣтственность за недочеты общества. Это—почва его „возстанія“, нашедшая свое яркое отраженіе въ „Историч. Замѣчаніяхъ“, „Сѣятель“, „Братьяхъ Разбойникахъ“.

Но, лишь только Пушкинъ почувствовалъ сверхчеловѣческую неизбежность въ индивидуально- и соціально-человѣческомъ дѣяніи (источникомъ этого сознанія были, вѣроятно, переживанія трагизма страсти), бунтарство его затихло подъ вліяніемъ сознанія, что „всюду страсти роковыя и отъ судьбы защиты нѣтъ“.

Въ „Цыганахъ“ „хоръ“ — „таборъ“, и „страсть“, и „юная дѣва“ пережиты трагически, какъ носители и исполнители сверхличнаго „закона“ судьбы. И въ „Цыганахъ“, въ старомъ цыганѣ дана форма подчиняющагося этому закону сознанія личности. Но на слѣпомъ подчиненіи року стараго цыгана творческое сознаніе Пушкина не могло остановиться. Необходимо было оправданіе такого подчиненія—*примиреніе* съ рокомъ. Это оправданіе было дано въ историческомъ созерцаніи жизни, въ которомъ рокъ явился исторической необходимостью, реализующей въ ирраціональномъ процессѣ исторіи высокія этическія цѣнности. Слепой рокъ сталъ этически цѣнной необходимостью ирраціональнаго прогресса и съ нею можно

было примириться. Это новое воззрѣніе на міръ людской дано въ „Борисѣ Годуновѣ“ и сопутствующей ему лиричѣ.

На почвѣ историческаго воззрѣнія у Пушкина созданъ цѣлый рядъ новыхъ, пріемлющихъ міръ точекъ зрѣнія. Черни противопоставился „народъ“, творящій исторію, суду толпы и минутной извѣстности — судъ народа и слава въ исторіи, смерти—вѣчная жизнь въ „молодой жизни“, въ памяти потомковъ.

Но, главное, что дало Пушкину это историческое міровоззрѣніе—было уваженіе къ быту, къ повседневности, ибо это и есть та жизнь, въ которой выковываются наиболѣе устойчивыя цѣнности культуры.

Однако, такое историческое, Пименовское созерцаніе не могло владѣть поэтомъ безраздѣльно. Оно требуетъ резиньяціи, объективизма, этической оцѣнки, покоящихся на забвеніи своего „я“. А въ Пушкинѣ это „я“ часто заявляло о своихъ правахъ и, „бунтуя“, создавало цѣлый рядъ пессимистическихъ, отрицающихъ стихотвореній.

Постоянная внутренняя борьба вызывала все новые и новые пересмотры и повѣрки воззрѣній, и однимъ изъ моментовъ этой ревизіи является „Мѣдный Всадникъ“, въ которомъ эгоистическое, романтическое міровоззрѣніе осуждено съ особой силой.

Подводя итогъ, можно сказать такъ: поскольку Пушкинъ постепенно освобождался отъ эгоистическаго бунтарства, это освобожденіе было всецѣло обусловлено его историзмомъ. Историческое воззрѣніе научило его пониманію сверхличной необходимости совершающагося и превратило для него „слѣпой рокъ“ въ разумную этическую силу. Онъ пріемлетъ міръ и радостно привѣтствуетъ его: „и все то благо, все добро“, поскольку онъ смотритъ на міръ Пименовскими глазами. И въ этомъ смыслѣ „историзмъ“ есть основа его „реализма“. Исторія научила его „любви къ року“ и умѣнію видѣть отраженіе солнца въ тихомъ ручьѣ обыденной жизни.“



## II.

Литературно-эстетическій этюд *А. А. Тамамшева* знаменует собою характерный поворотъ научныхъ интересовъ современнаго студенчества. Въ той, конечно, мѣрѣ, въ какой допустимо по студентамъ-словесникамъ судить обо всемъ студенществѣ, нужно отмѣтить все растущій интересъ молодыхъ научныхъ силъ къ вопросамъ формы литературныхъ произведеній. Прежній интересъ къ широкимъ обобщеніямъ, къ этико-философскому и общественному изученію литературы какъ будто проходить. Вотъ уже 2—3 года я замѣчаю въ своемъ семинаріи, чрезъ который, благодаря обаянію имени Пушкина, проходитъ значительная часть словесниковъ, что цѣлый рядъ способныхъ юношей прямо страстно отдаются изученію стила, ритма, риѣмы, эпитетовъ, классификаціи мотивовъ, установленію аналогіи приѣмовъ у разныхъ поэтовъ и всякимъ инымъ наблюденіямъ надъ внѣшнимъ воплощеніемъ поэзіи. Этотъ интересъ является отголоскомъ того большаго вниманія къ вопросамъ поэтической формы, которое получило такое блестящее выраженіе въ работахъ Андрея Бѣлаго, а затѣмъ вызвало рядъ плодотворныхъ работъ гг. Валерія Брюсова, Недоброво, Чудовскаго, Сергѣя Боброва и др.

Не скрою, что сначала меня интенсивнѣйшій интересъ отборной части молодыхъ „пушкинистовъ“ именно къ формѣ, въ ущербъ вниманію къ другимъ сторонамъ поэтическаго творчества, какъ-то беспокоилъ. Всего менѣе потому, чтобы я не придавалъ значенія изученію внѣшняго выраженія внутренней сущности литературнаго творчества. Я придаю этому изученію формы огромное научное значеніе. За нѣсколько лѣтъ до расцвѣта современнаго интереса къ вопросамъ литературной формы я задумалъ составленіе Пушкинскаго Словаря, который всѣ наши интуитивныя сужденія о тайнѣ очарованія, производимаго сладкою музыкою Пушкинскаго стиха поставилъ-бы на твердую почву реальныхъ наблюденій. Но я все же, за исключеніемъ тѣхъ немногочисленныхъ случаевъ,

когда форма какъ-бы переходитъ въ самое существо содержанія, рисую себѣ отношеніе формы къ содержанію, по преимуществу, какъ золотую оправу для лучезарнаго алмаза. Для меня литература всегда была и будетъ храмомъ, въ которомъ поются священные каноны, священные только своимъ устремленіемъ къ Великой Правдѣ бытія, а не совершенствомъ своего выраженія. И вотъ въ этомъ пристальномъ вниманіи именно къ формѣ, безъ соотвѣтственнаго трепета предъ величіемъ содержанія, мнѣ чужлось какое-то холодное александринство, какое-то равнодушіе къ тому, что я называю „героическимъ характеромъ“ русской литературы. Въ неразрывной, конечно, связи Красоты и Правды, ипостась Правды, все-же, начало первенствующее. И если, по вѣщему предчувствію Достоевскаго, Красота спасетъ міръ, то, вѣдь Красота, вся преображенная внутреннимъ горѣніемъ.

По мѣрѣ того, однако, какъ я ближе приглядывался къ увлеченію молодыхъ пушкинистовъ вопросами формы, оно мнѣ представилось подъ другимъ угломъ зрѣнія. Мнѣ показалось, что психологически корень этого интереса гораздо ближе къ исканію истины, чѣмъ это можетъ показаться съ перваго взгляда. Не слѣдуетъ-ли его объяснить крайнимъ злоупотребленіемъ другими методами изученія литературы? Не буду уже говорить объ общественно-публицистическомъ подходѣ къ литературѣ, который въ неумѣлыхъ рукахъ переходитъ въ самую противную дешевку. Но и глубокой самъ по себѣ религиозно-философскій подходъ почти ничего не даетъ для объясненія очарованія, производимаго на насъ великими произведеніями искусства. Взять хотя-бы тотъ захватывающій коментарій къ Достоевскому и Толстому, которымъ справедливо гордится критика послѣднихъ двухъ десятилѣтій. Центръ тяжести его въ уясненіи и анализѣ *идей*, т. е. чего то такого, что можетъ быть удѣломъ и совершенно бездарнаго писателя. Надо-же поэтому проанализировать не только *что* даетъ великая идея, но и *какъ* она воплотилась. И

чѣмъ этотъ анализъ суще, холоднѣе, тѣмъ онъ точнѣе и слѣдовательно полнѣе удовлетворяетъ высокую жажду познанія таинственной силы, вложенной въ исканія и достиженія искусства.

А. А. Тамашевъ сначала даетъ въ своей работѣ просто сводъ всего того, что намъ извѣстно о благотворной роли осени въ исторіи Пушкинскаго творчества, затѣмъ переходитъ къ цѣлому ряду отдѣльныхъ наблюденій, достоинства которыхъ увеличивается сравнительными наблюденіями надъ приемами другихъ поэтовъ. Получается и общность приемовъ, естественная при одномъ и томъ-же сюжетѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ выдѣляются и индивидуальныя особенности. Каждый поэтъ остается вѣренъ себѣ и своей эпохѣ.

Въ ряду наблюденій А. А. Тамашева можно назвать блестящимъ то, которое изложено у него въ XI главкѣ (стр. 196—198). Исслѣдователь устанавливаетъ стилистическій приемъ, который можетъ быть названъ „кольцомъ“:

„Характеренъ часто встрѣчаемый у Пушкина стилистическій методъ, который выражается въ *расчленяемости* общаго положенія въ болѣе узкія и опредѣленныя“.

Иллюстраціи, которыя авторъ приводитъ не оставляютъ никакого сомнѣнія относительно правильности его наблюденія. Вотъ отрывокъ изъ „Осени“:

И пробуждается Поэзія во мнѣ:

Душа стѣсняется лирическимъ волненьемъ,  
Трепещетъ и звучитъ, и ищетъ, какъ во снѣ  
Излиться наконецъ свободнымъ проявленьемъ—  
И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей,  
Знакомцы давніе, плоды мечты моей.  
И мысли въ головѣ волнуются въ отвагѣ,  
И риѣмы легкія навстрѣчу имъ бѣгутъ,  
И пальцы просятся къ перу, перо къ бумагѣ  
Минута—и стихи свободно потекутъ.

Исслѣдователь поясняетъ:

„Въ первой строкѣ мы имѣемъ общее положеніе:

И пробуждается Поэзія во мнѣ.

Вторая строка суживаетъ понятіе, а затѣмъ уже звено за звеномъ мысли становятся яснѣе и опредѣленнѣе.

Словно въ большомъ кольцѣ рядъ постепенно уменьшающихся колецъ, и такъ до послѣдняго завершительнаго и самаго значительнаго стиха:

Минута—и стихи свободно потекутъ,  
который возвращается къ первому стиху:

И пробуждается поэзія во мнѣ.

Расчленивъ постепенно отрывокъ, получимъ:

Поэзія—лирическое волненье  
Лирическое волненье—свободное проявленье  
Свободное проявленье—незримый рой гостей  
Незримый рой гостей—плоды мечты  
Плоды мечты—волнующіяся мысли  
Волнующіяся мысли—легкія риѣмы  
Легкія риѣмы—пальцы  
Пальцы—перо  
Перо—бумага  
Бумага—минута  
Минута—стихи.

Такъ одно изъ другого вытекаетъ каждое слово и возвращается къ своему началу, образуя кольцо: поэзія—стихи“.

Въ частыхъ бесѣдахъ о Пушкинѣ, мнѣ не разъ приходилось указывать на одно великое достоинство Пушкина, почти аналогичное *кольцу* — на строгую, стройную и потому художественно-гармоничную *постепенность*, съ которой Пушкинъ всегда даетъ детали рисуемыхъ имъ картинъ. Взять хотя-бы описаніе Полтавскаго боя или, всего лучше, знаменитое описаніе украинской ночи въ той-же „Полтавѣ“:

Тиха украинская ночь.  
Прозрачно небо. Звѣзды блещутъ.  
Своей дремоты превозмочь  
Не хочетъ воздухъ. Чугъ трепещутъ  
Сребристыхъ тополей листы.

Луна спокойно съ высоты  
Надъ Бѣлой церковью сіяетъ  
И пышныхъ гетмановъ сады  
И старый замокъ озаряетъ.  
И тихо, тихо все кругомъ.

Описаніе тутъ идетъ сверху внизъ. Сначала ночь въ своей совокупности, затѣмъ часть ея—небесный сводъ, затѣмъ звѣзды, на небосводѣ утвержденныя, затѣмъ ниже ихъ дремотный воздухъ и затѣмъ только царящіе надъ Бѣлой церковью высокіе тополи. Таже постепенность сверху внизъ въ распредѣленіи свѣта: луна на высотѣ, Бѣлая церковь во всей ея совокупности, гетманскіе сады и спрятавшійся въ нихъ старый замокъ. Но наблюденіе А. А. Тамамшева гораздо полнѣе и индивидуальнѣе для Пушкина. Постепенность, въ концѣ концовъ, это общее свойство всякаго истинно-художественнаго произведенія, благодаря которой художникъ постепенно подчиняетъ или „заражаетъ“ своимъ настроеніемъ читателя. И если можно вмѣнить ее Пушкину въ заслугу, то, главнымъ образомъ, за неуклонность, съ которой онъ всегда ей слѣдуетъ. Но вотъ *кольцо*—т. е. сначала *тезисъ*, развитіе его и въ заключеніе возвращеніе къ точкѣ отправленія—это приѣмъ уже не всеобщій. И вѣрность наблюденія А. А. Тамамшева доказывается тѣмъ, что сдѣланное надъ „Осенью“, оно можетъ быть прослѣжено и въ цѣломъ рядѣ другихъ Пушкинскихъ описаній. Такъ, въ описаніи украинской ночи стилистическое „кольцо“ гораздо даже ярче, чѣмъ въ „Осени“. Вѣдь тутъ начало и конецъ даже въ однихъ и тѣхъ-же словахъ выражены: *Тиха* украинская ночь, а въ концѣ: *И тихо, тихо* все кругомъ.

### III.

Третья изъ помѣщенныхъ въ настоящемъ томѣ статей— работа Александра Попова, помимо цѣннаго обзора весьма мало извѣстной у насъ французской эпиграмматической литературы XVIII вѣка, даетъ рядъ новыхъ, еще неотмѣченныхъ

паралелей съ произведеніями писателей, самыя имена которыхъ или мало, или даже совсѣмъ не упоминаются у нашихъ изслѣдователей. Когда заходитъ рѣчь о французскомъ вліяніи на творчество молодого Пушкина, мы, съ нѣкоторыми добавленіями, приводимъ всегда синодикъ, данный самимъ Пушкинымъ въ „Городкѣ“: Вольтеръ, Парни, Шолье, Грекуръ, Грессе и др. Но синодикъ этотъ, прежде всего, далеко не полонъ. Весьма бѣгло затѣмъ отмѣчается вліяніе Руссо,—не философа Жанъ Жака, а поэта Жана Батиста Руссо,—теперь забытаго, а въ свое время очень интересовавшаго литературный міръ и читателей. Смотрѣлъ на него, какъ на достойный образецъ и Пушкинъ, и указанія Попова впервые обращаютъ на это достодолжное вниманіе. Почти не упоминаютъ комментаторы о Лебрентѣ. А имя Понсъ де Вердена и совсѣмъ не встрѣчается въ работахъ, посвященныхъ изученію перваго періода творчества Пушкина. Оно не извѣстно даже Леониду Майкову, который въ примѣчаніяхъ къ Батюшкову и Пушкину показалъ себя такимъ прекраснымъ знатокомъ французской литературы.

Мнѣ всегда казалось необходимымъ болѣе детально обслѣдовать связь молодого творчества Пушкина не только съ крупными явленіями французской литературы XVIII вѣка, но и съ явленіями второстепенными и даже ея низами. И въ виду того, что наши бібліотеки не могутъ, конечно, дать всего необходимаго книжнаго матеріала, я приложилъ нѣкоторыя старанія къ тому, чтобы одинъ молодой изслѣдователь былъ командированъ въ Парижъ для соотвѣтствующихъ занятій въ Національной Библіотекѣ. Къ сожалѣнію, ничего изъ этой попытки, хотя и принявшей нѣкоторыя реальныя формы, не вышло. Работа Александра Попова показываетъ, что такое обслѣдованіе французскихъ книгъ и особенно періодическихъ изданій, въ нашихъ бібліотекахъ не имѣющихся, навѣрное дастъ нѣчто новое. А. А. Поповъ самъ за границу не ѣздилъ, но онъ завелъ дѣятельную переписку съ учившимся въ Бельгii

товарищем своимъ Б. В. Томашевскимъ, и тотъ для него и приобрѣталъ рѣдкіе сборники и наводилъ справки въ разныхъ изданіяхъ конца XVIII вѣка и начала XIX-го.

#### IV.

Этюдъ Юліана Оксмана представляетъ собою первую попытку дать комментарий къ программѣ Пушкина о паписѣ Іоаннѣ. Программа имѣется, конечно, во всѣхъ изданіяхъ Пушкина, но печатается безъ какихъ-бы то ни было поясненій \*). Авторъ этюда даетъ реальный комментарий о самомъ фактѣ, а затѣмъ — что самое цѣнное въ его работѣ — стремится объяснить, чѣмъ такой сюжетъ могъ привлечь къ себѣ вниманіе Пушкина. Тутъ, очевидно, не случайный интересъ къ эффектному сюжету, а психологическая связь съ творческими настроеніями Пушкина въ опредѣленную эпоху. Вполнѣ правильно отмѣчаетъ изслѣдователь, что въ галереѣ женскихъ образовъ Пушкина образъ паписсы не стоитъ одиноко „Съ своей пылающей душой, съ своими бурными страстями“ она входитъ въ цѣлый циклъ женскихъ образовъ, хотя и бѣгло, но опредѣленно очерченныхъ Пушкинымъ на рубежѣ 20-хъ и 30-хъ годовъ:

„Въ будняхъ петербургскаго *свѣта*, въ анналахъ исторіи и въ анекдотахъ прошлаго — поэтa начинаетъ занимать одинъ и тотъ-же психологическій типъ, прямо противоположный стихійно-безсознательной силѣ обычныхъ его героинь. „Грѣшная дѣва“ „Полтавы“, съ ея „неженскою душой“, Клеопатра „Египетскихъ Ночей“, севильская графиня „Пажa“ (Она строга, властолюбива, но я дивлюсь ея уму); силуэтъ Юдиои, Полина изъ „Рославлева“ — съ ея протестомъ и пылкимъ вызовомъ („я не признаю уничиженія, къ которому принуждаютъ насъ. Посмотри на M-me de Stael.. А Шарлотъ Кордэ? А наша Марѳа Посадница? А княгиня Дашкова?“) дѣлаютъ

---

\*) Въ моемъ изданіи примѣчанія къ программѣ появятся въ VII, дополнительномъ томѣ.

естественнымъ проявленіе творческаго интереса поэта къ миеу о паписсѣ“.

Но сюжетъ никогда не покорялъ Пушкина, онъ былъ для него всегда лишь матеріаломъ, лишь тѣмъ кускомъ мрамора, которому даетъ жизнь и значеніе только настроенія ваятеля—творца. И Пушкинъ, какъ искусно, тонко и вмѣстѣ съ тѣмъ вполне убѣдительно догадывается авторъ доклада, взявъ изъ легенды только остовъ ея, на этомъ фонѣ вполне самостоятельно задумалъ создать образъ Фауста въ женскомъ воплощеніи.

Къ догадкѣ автора можно прибавить, что въ словахъ программы, „il vaut mieux en faire un poème dans le style de Christabel ou bien en octaves“ можно найти еще одно доказательство справедливости догадки изслѣдователя: „Christabel“ — главная героиня одноименной поэмы Кольриджа, полной магіи и всякой иной средневѣковщины \*).

---

О работѣ надъ составленіемъ Пушкинскаго Словаря, будетъ данъ отчетъ въ III т. Пока ограничусь сообщеніемъ, что работа эта—больше всего благодаря дѣятельному сочувствію слушательницъ Высшихъ Женскихъ Курсовъ—быстрыми шагами идетъ къ своему завершенію.

Въ III т. будетъ данъ отчетъ и о другомъ начинаніи, о которомъ было заявлено въ предисловіи къ I т.—о созданіи Пушкинскаго Общества. Пока тоже ограничусь краткимъ сообщеніемъ, что 5 дек. 1915 г. состоялось первое засѣданіе „Историко-Литературнаго кружка имени Пушкина при Петроградскомъ Университетѣ“ и что какъ-то опредѣленно чувствуется, что кружку предстоитъ хорошее будущее.

25 Января 1916 г.

*С. Венеровъ.*

---

\*) Поэма могла стать извѣстной Пушкину по отрывку, переведенному Козловымъ („Сынъ Отеч.“ 1823,) и по подлиннику. Пушкинъ очень интересовался Кольриджемъ, и въ библиотекѣ поэта сочиненія его и письма имѣются въ трехъ изданіяхъ (*Модзалевскій*, „Библиотека А. С. Пушкина“ стр. 198).



## Историзмъ Пушкина.

(Къ вопросу о характерѣ пушкинскаго объективизма).

*Рефератъ, читанный въ Пушкинскомъ Семинаріи при Спб. Университетѣ 4 октября, 18 октября, 28 октября 1912 г., 24 января, 4 апрѣля и 2 мая 1913 г.*

Страсти мои утихаютъ; тишина царить въ душѣ моей; ненависть, раскаяніе, все исчезаетъ, любовь, одушевленіе (I. 336 <sup>1</sup>).

Историческіе взгляды Пушкина изучались по преимуществу съ соціально-политической точки зрѣнія: лишь постольку, поскольку они вліяли на его общественную программу и тактику, опредѣляли принадлежность поэта къ тому или иному политическому лагерю.

Такое отношеніе къ вопросу не только создавало тенденціозное, публицистическое настроеніе, неумѣстное въ научномъ изслѣдованіи, но и значительно сужало самую проблему: развитію всеобъемлющаго историческаго воззрѣнія на міръ и соотвѣтствующаго историческаго переживанія жизни почти не удѣлялось вниманія—все сводилось къ оцѣнкѣ прогрессивнаго и реакціоннаго элемента въ историческихъ воззрѣніяхъ поэта.

А, между тѣмъ, уже а ргіогі можно утверждать, что эти послѣднія не только вліяли на его политическія убѣжденія, но и сыграли крупную роль въ образованіи того глубокаго, объективно пріемлющаго міръ, отрѣшеннаго отъ личной за-

---

<sup>1</sup>) Пушкинскій текстъ всюду, гдѣ это не оговорено особо, цитируется по 8-томному изд. подъ ред. П. О. Морозова фирмы „Просвѣщеніе“.

• пушкинисть, п.

интересованности воззрѣнія на жизнь, къ которому Пушкинъ подошелъ въ расцвѣтъ своего реалистическаго творчества. Въ этомъ убѣждаетъ насъ самый поверхностный анализъ особенностей его сознанія.

Пушкинъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которымъ особенно близки и понятны созерцанія, такъ сказать, космическаго и тѣсно съ нимъ связаннаго религіознаго порядка. Богъ и вселенная, взятые сами по себѣ, вѣ всякаго отношенія къ человѣку, какъ самодовлѣющія, абсолютныя начала, не занимали сколько-нибудь виднаго мѣста въ его духовной жизни. Про него нельзя сказать, что онъ былъ пантеистомъ, атеистомъ, деистомъ и т. д. Этотъ моментъ не имѣлъ крупнаго значенія въ его сознаніи, точно такъ же какъ и тѣ или иныя его воззрѣнія на природу. Правда, подчасъ онъ подымался до глубокихъ пантеистическихъ переживаній, особенно въ пору романтизма, когда онъ слушалъ „немолчный шопоть Нереиды, глубокой вѣчный хоръ валовъ, могучій гимнъ отцу міровъ“, но въ общемъ онъ былъ лишень космическаго и религіознаго чувства, которыя отличаютъ, на примѣръ, Лермонтова.

Люди заслоняли для него природу, всѣ его интересы, волненія и думы были чисто-человѣческими и о человѣческомъ. Соціальная среда почти исчерпывала для него космосъ. Въ своихъ исканіяхъ онъ лишь изрѣдка отходилъ за предѣлы жизни людей и почти никогда за предѣлы жизни вообще. Жизнь и только жизнь была объектомъ его размышленія и источникомъ его творчества.

Въ этой особенности пушкинскаго созерцанія находило свое ограниченіе его творчество, но ей же обязаны произведенія поэта своей необыкновенной мягкостью и гуманностью, своимъ совершенно особымъ очарованіемъ. Созерцаніе „звѣзднаго неба“<sup>1)</sup>, трагическое противопоставленіе личности

---

<sup>1)</sup> „Звѣздное небо надо мною, нравственный законъ во мнѣ“—Кантъ.

всему космосу осуществляется въ полной мѣрѣ лишь при забвеніи того, что стоитъ между человѣкомъ и природой — людей. Чтобы жить, такъ сказать, съ глазу на глазъ съ Богомъ и вселенной, нужно забыть міръ человѣческихъ оцѣнокъ и точекъ зрѣнія, надо подняться на тѣ снѣговыя вершины, гдѣ царитъ торжественное безмолвіе и равнодушное великолѣпіе, куда не достигають крики и стоны равнины, гдѣ нѣтъ ничего, что бы говорило о человѣкѣ и его мѣрѣ.

Пушкинъ не могъ пробиться туда сквозь толщу человѣческихъ страстей, отношеній и событій. Его теоретическая ориентировка въ мірѣ проходила въ сферѣ человѣческой жизни. Личность и общество были наиболѣе общимъ противопоставленіемъ, до котораго онъ былъ въ состояніи возвыситься.

И само собой понятно, что при такихъ условіяхъ вопросы и основныя созерцанія исторіософіи должны были играть чрезвычайно крупную роль въ эволюціи общаго міровоззрѣнія поэта, заступая мѣсто религіозныхъ и метафизическихъ проблемъ. Съ этой точки зрѣнія слова современнаго пушкиниста: „Своей гармоніей, своимъ олимпійскимъ величіемъ Гете былъ не мало обязанъ занятіямъ естественными науками; Пушкинъ своей гармоніей, своимъ мягкимъ, человѣчнымъ, всеоправдывающимъ объективизмомъ сильно обязанъ занятіямъ исторіей, которая научила его безпристрастно и справедливо смотрѣть на вещи“<sup>1)</sup>—пріобрѣтають особую вѣроятность и значительность.

Примыкая къ такой постановкѣ вопроса, предлагаемый очеркъ и пытается намѣтить основныя формы историческаго мышленія поэта и опредѣлить ихъ вліянія на его творчество и поведеніе. Но само собой разумѣется, что всѣ опредѣленія, здѣсь даваемая, имѣють только приблизительное значеніе. Пушкинъ не былъ отвлеченнымъ мыслителемъ, и его міровоззрѣніе никогда не отливало въ строгую и продуманную

<sup>1)</sup> Мод. Гофманъ, „Капит. дочка“ Пушкина, вступ. статья въ изд. проф. С. А. Венгерова, т. IV, стр. 157.

систему взглядовъ. Напротивъ, взору изслѣдователя оно является въ видѣ груды частныхъ оцѣнокъ, не сведенныхъ къ общимъ принципамъ, въ видѣ цѣпи извѣстныхъ настроений, которыя не осознаются поэтомъ съ достаточной ясностью. Основныя убѣжденія, высшіе критеріи не получаютъ здѣсь отчетливой формулировки, а дѣйствуютъ скорѣе въ видѣ какой-то наполовину безсознательной силы, устанавливающей извѣстное единообразіе отдѣльныхъ сужденій. И, облакая эти неопредѣленныя идеи-эмоціи въ формы философскихъ тезисовъ, изслѣдователь тѣмъ самымъ схематизируетъ живой процессъ эволюціи сознанія, упрощаетъ его безконечно разнообразное содержаніе и до извѣстной степени даже искажаетъ его. Но такова уже участь всякаго обобщенія въ сферѣ историческаго познанія, отчего, впрочемъ, оно отнюдь не утрачиваетъ своей цѣнности ни въ качествѣ самостоятельнаго построенія, ни въ качествѣ руководящаго принципа для осуществленія послѣдней задачи исторіи—возстановленія протекшаго явленія во всей его конкретной значительности.

## I.

Исходнымъ пунктомъ всего пушкинскаго мышленія о мірѣ, поскольку оно опиралось не на личный опытъ, но на заимствованныя, книжныя сужденія,—тѣмъ источникомъ, откуда онъ щедрой рукой черпалъ первоначально идеи и образы, была философія французскаго просвѣщенія. Французское вліяніе преобладало въ его семьѣ, господствовало въ лицѣ, имъ же была насыщена и та атмосфера, которой дышалъ поэтъ по выходѣ изъ лица, вращаясь въ кругу петербургскаго офицерства, давашаго впоследствии первыхъ русскихъ революціонеровъ <sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Ср., напр., В. И. Семевскій, „Идеалы декабристовъ“, 209—234; Ал-ѣй Веселовскій, „Запад. вліяніе въ русской литературѣ“, 154—55, прим. 2; Павловъ-Сильванскій, „Былое“, 1907, VIII.

Но, частью въ силу особаго склада своего характера, частью благодаря воздѣйствию ближайшихъ друзей и знакомыхъ, а также и вліянію литературной традиціи, ведшей свое начало отъ Державина и ранѣе, молодой Пушкинъ усвоилъ себѣ изъ французской философіи не ученіе героическаго <sup>1)</sup> рационализма объ отвлеченномъ чловѣкѣ вообще, ради блага котораго должна жить и бороться конкретная личность, а элегантную идеологію *эпикуреизма, исходящую въ своихъ построеніяхъ отъ непосредственной субъекта міровоззрѣнія, отъ чувственно опредѣляемаго я.*

Этотъ фактъ долженъ быть отмѣченъ особо. Какъ бы ни относиться къ тому воззрѣнію на жизнь, которое нашло свое выраженіе въ раннихъ произведеніяхъ поэта: считать ли его дѣйствительной формой созерцанія Пушкина, вполнѣ „отвѣчавшей порывамъ молодой души“ <sup>2)</sup>, или же видѣть въ немъ по преимуществу обнаруженіе подражательности юношескаго творчества <sup>3)</sup>,—во всякомъ случаѣ не подлежитъ сомнѣнію, что въ немъ уже звучать тѣ ноты, которыя позднѣе сольются въ лейтмотивъ романтической идеологіи Пушкина: *напряженный эгоцентризмъ мышленія, съ одной стороны, и глубокій эмпиризмъ оцѣнокъ, съ другой.*

Поэтъ начинаетъ съ непосредственнаго противопоставленія своего „я“ міру. Онъ ничего не знаетъ ни о Богѣ, которому изначально подчинена личность, ни объ обязанностяхъ этой послѣдней передъ людьми и обществомъ. Основная для всякаго философскаго построенія проблема взаимоотношенія субъекта и внѣшняго міра ставится имъ не въ формѣ вопроса объ отношеніи отвлеченнаго, общаго понятія индивидуума къ обществу и природѣ, также взятымъ въ общемъ опредѣленіи, а въ формѣ вполнѣ конкретнаго, концентри-

<sup>1)</sup> Терминъ, введенный пр. С. А. Венгеровымъ для характеристики русской литературы. Пр. Н. И. Карѣевымъ примѣненъ для франц. рационализма (Н. Карѣевъ, „Ист. Зап. Евр. въ нов. время“, т. III, стр. 145).

<sup>2)</sup> Отзывъ А. Н. Пыпина.

<sup>3)</sup> Ср. П. Е. Щеголевъ, „Пушкинъ“, 83—88, 100.

рующагося на наличномъ моментѣ сопоставленія его „я“ и окружающаго. Всѣ вопросы онъ рѣшаетъ для себя и за свой страхъ. Въ этомъ смыслѣ его философствованіе съ самаго начала стоитъ на почвѣ индивидуалистическаго метода.

Но, противопоставляя свое „я“ окружающему міру, поэтъ само это „я“ понимаетъ слишкомъ упрощенно. Относясь скептически ко всякимъ идеальнымъ порывамъ, онъ какъ будто не хочетъ замѣчать никакихъ другихъ движеній своей воли, кромѣ направленныхъ къ достиженію удовольствія; наслажденіе онъ объявляетъ высшей цѣнностью, и, согласно этому, видитъ назначеніе личности въ счастьѣ, понимаемомъ матерьяльно, какъ удовлетвореніе всѣхъ чувственныхъ влеченій человѣка. Проблема индивидуализма рѣшается здѣсь съ помощью догматически принятыхъ основоположеній эйдаймонистическаго позитивизма, результатомъ чего является система эгоистической философіи.

Въ предѣлахъ этой философіи движется все мышленіе поэта приблизительно до 1824—25 года; за этотъ промежутокъ времени эволюція его міросозерцанія не дѣлаетъ никакихъ рѣзкихъ скачковъ, не вводитъ въ кругъ привычныхъ идей никакихъ оригинальныхъ и новыхъ точекъ зрѣнія и выражается только въ постепенномъ осознаніи и углубленіи однихъ и тѣхъ же проблемъ и методовъ.

Въ эпикурейскихъ напѣвахъ Пушкина теоретическое сознаніе его еще не перешло къ полному осмысливанію переживаемаго; понятія, которыми онъ оперируетъ, еще не выстраданы имъ; постановка проблемъ поверхностна и не имѣетъ реального обоснованія. Поэтъ не подымается здѣсь до философской оцѣнки своего собственнаго опыта, а какъ-то скользитъ по поверхности жизни и, имѣя дѣло съ традиціонными идеями и схемами, довольствуется простымъ восхваленіемъ традиціонныхъ, чуждыхъ реальной дѣйствительности идеаловъ блаженства, да банальнымъ оправданіемъ себялюбія.

И эта поверхностность спасаетъ его отъ сомнѣній въ возможности осуществленія личнаго счастья. Замѣняя „роковую

страсть“ легкимъвлеченіемъ къ наслажденію, а общество—дружескимъ кружкомъ, да свѣтской гостинной, которой, впрочемъ, слѣдуетъ сторониться, молодой Пушкинъ съ чрезвычайной легкостью рѣшаетъ труднѣйшія проблемы эгоистической этики; не постигая зловѣщаго смысла тѣхъ уроковъ, которыми щедро дарила его жизнь, не давая себѣ яснаго отчета въ глубокомъ трагизмѣ „бѣшенныхъ желаній“ и „горькихъ чувствъ“, кипѣвшихъ въ сердцѣ, онъ въ своихъ разсужденіяхъ на этическія темы полонъ самаго бодрого оптимизма. Конфликтъ личности и общества еще не осознанъ во всемъ своемъ размѣрѣ; хотя „я“ давно уже имѣетъ право требовать отъ окружающаго міра блаженства, но, увѣренное въ удобоисполнимости своихъ идеаловъ, оно до поры до времени не реализуетъ своего права; все его вниманіе занято погоней за доступными наслажденіями.

Но такое состояніе наивнаго оптимизма не могло продолжаться долго. Вѣрнѣе будетъ сказать, что на практикѣ оно прекратилось раньше, чѣмъ успѣло возникнуть. Бодрое и ясное настроеніе существовало только въ теоріи, въ подражательной поэзіи, дѣйствительная же жизнь съ перваго момента самостоятельности Пушкина была для него, по всѣмъ вѣроятіямъ, тайнымъ изнываніемъ надъ бездною потаенной. Само положеніе его среди товарищей едва ли не было ложнымъ. Представитель малоизвѣстнаго, обѣднѣвшаго рода, человекъ съ болѣе, чѣмъ скромными средствами, безъ всякой надежды на карьеру и фортуна, даже безъ опредѣленной линіи жизненнаго строительства,—онъ, конечно, не былъ яркимъ явленіемъ на блестящемъ фонѣ богатой и знатной молодежи, которая не стѣснялась никакими расходами и передъ которой раскрывались всѣ двери. Пушчинъ сохранилъ намъ довольно плачевный образъ юноши Пушкина у театральнаго оркестра, заискивающаго своими шуточками у сильныхъ міра <sup>1)</sup>, —можно съ увѣренностью сказать, что такихъ моментовъ было не мало въ жизни поэта, и не трудно себѣ представить,

<sup>1)</sup> Л. Майковъ, „Пушкинъ“, стр. 70—71.

какъ это отзывалось на состояніи его духа. Очень вѣроятно, что много въ его бреттерствѣ и фрондерствѣ обязано своимъ возникновеніемъ раздраженному самолюбію и стремленію во что бы то ни стало снискать себѣ популярность и авторитетъ среди свѣтскихъ пріятелей.

Къ этимъ, подчасъ невыносимымъ, внѣшнимъ условіямъ присоединялось и недовольство собой, неудовлетворенность своимъ образомъ жизни. Пушкинъ не принадлежалъ къ числу самоувѣренныхъ и самодовольныхъ; мотивъ раскаянія, стремленія къ совершенствованію очень характеренъ для его поэзіи. Впечатлительный и мягкій, онъ легко поддавался дружескому упрёку. И, если отъ Кошанскаго <sup>1)</sup> можно было отдѣлаться презрительной усмѣшкой, а почтеннѣйшему А. И. Тургеневу отвѣтить любезной шуткой <sup>2)</sup>, то къ уговорамъ Чаадаева и Пущина, Жуковскаго и Карамзина нельзя было отнестись съ такой легкостью, и они, вѣроятно, не однажды пробуждали глубокія угрызения совѣсти въ чуткой душѣ поэта <sup>3)</sup>. Объ одномъ изъ подобныхъ эпизодовъ внутренней борьбы Пушкина говоритъ намъ прекрасное по настроенію стихотвореніе „Возрожденіе“ отъ 1819 г., оканчивающееся многозначительной строфой:

*Такъ исчезаютъ заблужденья*

*Съ измученной души моей*

И возникаютъ въ ней видѣнья

Первоначальныхъ чистыхъ дней. (I, 250).

Но о томъ же мракѣ и страданіяхъ говорятъ и воспоминанія поэта:

Ты сердце зналъ мое во цвѣтѣ юныхъ дней

Ты видѣлъ, какъ потомъ, въ волненіи страстей,

Я тайно изнывалъ, страдалецъ утомленный;

Въ минуту гибели надъ бездной потаенной

<sup>1)</sup> „Моему Аристарху“, I, 126 (1815 г.).

<sup>2)</sup> А. И. Тургеневу, I, 225 (1817 г.).

<sup>3)</sup> Ср. „Воспомин. Пущина“, Маиковъ, op. cit.



Ты поддержалъ меня недремлющей рукой;  
Ты другу замѣнилъ надежду и покой,—  
обращается онъ уже въ 1821 г. къ Чаадаеву. Позднѣе онъ  
выражается еще рѣшительнѣе:

Я вижу въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ,  
Въ безумствѣ гибельной свободы,  
Въ неволѣ, въ бѣдности, въ чужихъ степяхъ  
Мои утраченные годы.

Я слышу вновь друзей предательскій привѣтъ  
На йграхъ Вакха и Киприды,

А сердцу вновь наносить хладный свѣтъ  
Неотразимыя обиды. (VI, 73—74, 1828 г.).

Опредѣленность этихъ словъ не оставляетъ желать ничего лучшаго. Во всякомъ случаѣ, миѣ о счастливой беззаботности и античной ясности духа юноши Пушкина должень быть безусловно отвергнуть. Напрасно поэтъ восклицалъ:

Давайте пить и веселиться,  
Давайте жизнью играть;  
Пусть чернь слѣпая суетится:

Не намъ безумной подражать. (I, 204, 1817 г.)—  
жизнь ежеминутно доказывала ему, что играть съ нею не приходится, и создавала въ его душѣ мрачныя и рѣзкія настроенія. И какъ только талантъ Пушкина окрѣпъ настолько, что онъ получилъ способность поэтически переживать реальное содержаніе своего сознанія, тотчасъ эти совѣмъ не эпикурейскіе мотивы получили преобладающее значеніе въ его произведеніяхъ, формируясь постепенно въ довольно стройное, эгоистическое по методу, но уже пессимистически окрашенное міровоззрѣніе. Мы не можемъ вдаваться здѣсь въ подробное описаніе этой эволюціи <sup>1)</sup>. Для цѣлей настоящаго очерка важно отмѣтить только ея конечные результаты,

<sup>1)</sup> Строго говоря, элементы пессимистической оцѣнки міра налицо уже въ эпикурейскихъ мотивахъ поэта, перейдя сюда вмѣстѣ съ скептицизмомъ изъ французской поэзіи, въ частности отъ Вольтера.

для чего достаточно воспользоваться итоговымъ произведеніемъ пушкинскаго романтизма— „Цыганами“.

О типѣ Алеко, точнѣе, по поводу его можно сказать, да и было сказано, очень много, такъ какъ типъ этотъ имѣетъ огромное значеніе и въ исторіи русской литературы и въ самой духовной исторіи русскаго общества. Но, тѣмъ не менѣе, если оцѣнивать его лишь постольку, поскольку въ немъ отразились воззрѣнія самого Пушкина на опредѣленной ступени его развитія, трудно не согласиться во многомъ съ той уничтожающей критикой, которой подвергъ Алеко Бѣлинскій.

„Кому не случалось,—говорить онъ,—встрѣчать въ обществѣ людей, которые изъ всѣхъ силъ бьются прослыть такъ называемыми либералами и которые достигаютъ не болѣе, какъ незавиднаго прозвища крикуна. Никакъ нельзя сказать, что бы Алеко Пушкина былъ изъ числа этихъ людей, но и нельзя сказать, чтобы онъ не былъ имъ сродни. Глупецъ, который корчитъ изъ себя Мирабо, есть не что иное, какъ маленькій эгоистъ, который не любитъ для себя тѣхъ самыхъ стѣснительныхъ формъ, которыми любитъ душить другихъ. Дайте этому эгоизму огромный объемъ, придайте къ нему большой умъ, сильныя страсти, способность глубоко понимать и чувствовать всякую истину, пока она не противорѣчитъ ему,—и передъ вами весь Алеко,—*такой, какимъ его создалъ Пушкинъ* (курсивъ нашъ). Не страсти погубили Алеко! „Страсти“—слишкомъ неопредѣленное слово, пока вы не назовете ихъ по именамъ. Алеко погубила одна страсть, и эта страсть—эгоизмъ“.

Въ самомъ дѣлѣ, каково прямое содержаніе той драмы Алеко, которая описывается въ поэмѣ?

Первый эпизодъ ея разыгрался за предѣлами самаго произведенія. Къ цыганамъ Алеко является уже переживши какую-то драму тамъ, гдѣ

Люди въ кучахъ, за оградой,  
Не дышатъ утренней прохладой,

Ни вешнимъ запахомъ луговъ,  
Любви стыдятся, мысли гонягъ,  
Торгуютъ волею своей,  
Главы предъ идолами клонягъ  
И просятъ денегъ да цѣпей. (III, 220).

Невозможно предположить, чтобы причиной этого столкновения, породившаго бѣгство Алеко, были какія-либо объективныя, сверхличнаго порядка мотивы, т. е. социальный протестъ, религиозное разногласіе, борьба за политическую свободу, за истину и справедливость и т. д. Несомнѣнно, что его источники слѣдуетъ искать въ чрезмѣрныхъ личныхъ требованіяхъ Алеко, въ его неспособности создать себѣ счастье среди образованной толпы. Конечно, эта неспособность найти себѣ удовлетвореніе въ неволѣ душныхъ городовъ сама по себѣ показываетъ извѣстную неординарность Алеко, неопровержимо свидѣтельствуетъ о томъ, что въ своихъ вкусахъ и стремленіяхъ онъ стоитъ гораздо выше окружающихъ. Но все же конфликтъ съ обществомъ разыгрывается здѣсь на чисто-личной почвѣ и находитъ свое теоретическое оправданіе въ положеніяхъ эгоистической философіи. Это становится совершенно очевиднымъ изъ дальнѣйшаго поведенія Алеко. Вѣдь, полавъ къ цыганамъ, онъ успокаивается и, повидимому, находитъ полное удовлетвореніе въ тѣхъ возможностяхъ, которыя открываетъ передъ нимъ степная жизнь. Но возможности эти исключительно личнаго характера: степи доставили герою счастье съ женой<sup>1)</sup>, профессію и образъ жизни по сердцу. Обывательскую комедію нравовъ онъ замѣнилъ идилліей во вкусѣ Руссо и на этомъ, какъ гласить, хотя и съ нѣкоторыми оговорками, повѣствованіе, остановился. Здѣсь рѣзкое отличіе Пушкина отъ Байрона выступаетъ во всей силѣ. Для героя послѣдняго образъ птички Божіей совершенно немыслимъ и даже неприличенъ;

---

<sup>1)</sup> И съ ребенкомъ, если судить по не вошедшему въ окончательный текстъ монологу Алеко. См. III, 211-12.

лермонтовскій парусъ не можетъ застояться у тихой пристани,—его неустанно влечетъ въ открытое море; не любовница измѣняетъ Донъ-Жуану, но онъ измѣняетъ ей. Напротивъ, герой Пушкина удовлетворяется тихимъ прозябаніемъ на лонѣ природы одинъ и другой годъ, и конца бы не предвидѣлось этому мирному счастью, если бы не внѣшнія обстоятельства, которыя снова вывели Алеко изъ состоянія равновѣсія <sup>1)</sup>).

Дѣло въ томъ, что, если степная идиллія пришлась по вкусу Алеко, то она, въ концѣ концовъ, надоѣла Земфирѣ, которая измѣнила своему герою. Вѣчный штиль невозможенъ, вѣтеръ со стороны разметалъ хрупкое зданіе личнаго счастья, и Алеко въ припадкѣ бѣшенства собственными руками довершаетъ дѣло разрушенія, начатаго враждебнымъ случаемъ. Вполнѣ послѣдовательно и второй конфликтъ его съ обществомъ разыгрывается по вопросу о личномъ счастьѣ. Тутъ характерна глубокая увѣренность личности въ своемъ правѣ на блаженство. Свое желаніе она дѣлаетъ высшимъ закономъ поведения, свое удовлетвореніе—высшей цѣлью окружающей жизни и за отказъ исполнить ея требованія угрожаетъ обрушить на всѣхъ и вся свою месть, подчасъ чрезвычайно дикую и кровавую. Форма ориентировки въ мірѣ у нея рѣзко эгоцентрическая, матеріальное же ея опредѣленіе чисто-позитивистское, не выходящее за предѣлы чувственныхъ движеній воли.

Такимъ образомъ въ „Цыганахъ“ поставлена проблема счастья личности. Здѣсь какъ бы продѣлывается своеобразный экспериментъ: помѣстивъ эгоистически настроенную личность въ среду, не затронутую развратомъ просвѣщенія, поэтъ изслѣдуетъ, что будетъ съ ней въ этихъ необычныхъ условіяхъ. Результаты получились самые плачевные: идиллія сорвалась точно такъ же, какъ сорвался и опытъ городской жизни.

---

<sup>1)</sup> О „байронизмѣ“ Пушкина ср. А.—ѣй Веселовскій, „Этюды и характеристики“, т. I (4 изд.), стр. 419, 424; Спасовичъ, „Байронъ у Пушкина и Лерм.“, стр. 38. („Лит. Библ.“, 911 г.); Дашкевича „Пушкинъ въ ряду поэтовъ новаго времени“ (Сборн. Кіев. Ун.); Вяч. Иванова, вступ. ст. къ „Цыганамъ“ Венгеровъ, т. III, стр. 230—31.

На улицахъ города и въ дикихъ степяхъ рокъ одинаково преслѣдуетъ челоуѣка,—и надежда на счастье—пустая и неосновательная мечта.

Что самъ Пушкинъ дорожилъ именно этимъ выводомъ изъ своего художественнаго произведенія, а не судомъ надъ Алеко, который вершить Старый Цыганъ, или изображеніемъ хора, объ этомъ неопровержимо свидѣтельствуеетъ эпилогъ поэмы:

Но счастья нѣтъ и между вами,  
Природы бѣдные сыны!  
И подъ издранными шатрами  
Живутъ мучительные сны,  
И ваши сѣни кочевья  
Въ пустынѣ не спаслись отъ бѣды,  
И всюду страсти роковыя,  
И отъ судебъ защиты нѣтъ,

Выводъ этотъ не совсѣмъ точенъ: драматическое дѣйствіе доказываетъ только, что счастья нѣтъ для Алеко, т. е. счастья, понятаго эгоистически. Но именно эта чрезмѣрность обобщенія чрезвычайно показательна. Для Пушкина иного счастья не существуетъ, на мѣръ онъ смотритъ здѣсь глазами Алеко и подводитъ въ заключеніе именно тотъ итогъ, который непременно подвелъ бы этотъ послѣдній. Если бы поэтъ уже поднялся надъ точкой зрѣнія Алеко, онъ бы обязательно ввелъ въ свое резюме нѣкоторыя ограниченія, но, соглашаясь съ нимъ въ пониманіи назначенія личности, онъ имѣлъ полное право выразить свои взгляды въ самой общей формѣ. И что резюме это было не случайнымъ, доказываетъ тотъ фактъ, что оно повторяется въ очень значительной, прощальной пѣснѣ пушкинскаго романтизма:

...: Теперь куда же  
Меня бѣ ты вынесъ, океанъ?  
Судьба людей повсюду та же:  
Гдѣ капля блага, тамъ на стражѣ  
Иль просвѣщенье иль тиранъ. (I, 351, 1824 г.).

Этотъ одновременный лирической комментарий къ драматическому произведенію лучше всего обнаруживаетъ, на чемъ было сосредоточено вниманіе Пушкина во время созданія „Цыганъ“, и его значительность оттъняется еще рѣзче, если сопоставить его съ романтической увертюрой поэта:

Погасло дневное свѣтило;  
На море синее вечерній палъ туманъ.  
Шумы, шуми, послушное вѣтрило,  
Волнуйся подо мной, угрюмый океанъ!  
*Я вижу берегъ отдаленный,  
Земли полуденной волшебные края:  
Съ волненъемъ и тоской туда стремлюсь я,  
Востоминанъемъ упоенный...* (I, 266, 1820 г.).

Между написаніемъ этихъ стихотвореній прошло нѣсколько лѣтъ. Волшебные края полуденной земли оказались химерой: океану некуда вынести своего пѣвца,—повсюду одно и то же: просвѣщеніе и тиранъ, роковыя страсти и удары судьбы. — Поэтъ составилъ условіе, жизнь рѣшила задачу.

Этимъ заканчивается первый этапъ духовнаго развитія Пушкина. Но, изучая его, мы не можемъ не признать въ немъ замѣчательной послѣдовательности и строгости въ смѣнѣ отдѣльныхъ моментовъ. Маленькій эгоистъ эпикурейскихъ мотивовъ превращается здѣсь въ большого—романтическаго индивидуализма. Поверхностное исканіе легкихъ радостей замѣняется заносчивымъ требованіемъ личнаго счастья, стремленіе къ чувственному удовлетворенію — роковой страстью, спокойная и умѣренная независимость — разнузданной „свободой“, проблески недовольства — неистовымъ бунтомъ. И рядомъ съ этимъ происходитъ постепенная смѣна различныхъ оцѣнокъ жизни и міра; оптимистическія настроенія юношеской философіи уступаютъ мѣсто тревожнымъ ожиданіямъ, которыя въ свою очередь исчезаютъ въ сумракѣ разочарованій, въ глубоко пессимистическихъ оцѣнкахъ человѣка, извѣдавшаго коварной жизни цѣну. И, созерцая этотъ

процессъ духовнаго развитія, не знаешь, чему болѣе удивляться: естественности ли стихійнаго, органическаго роста личности или же желѣзной послѣдовательности въ развитіи нѣсколькихъ логическихъ принциповъ. Во всякомъ случаѣ, въ эволюціи пушкинскаго сознанія гораздо больше внутренняго, имманентно-обоснованнаго движенія, чѣмъ быстрыхъ перемѣнъ въ силу внѣшнихъ толчковъ. Унаслѣдовавъ отъ литературныхъ предшественниковъ эпикурейскую философію, онъ углубилъ и развилъ ея принципы и, оцѣнивая съ ихъ помощью реальное содержаніе своей жизни, пришелъ, въ концѣ концовъ, къ тѣмъ выводамъ, которые вообще обязательны для всякаго смѣлаго эйдаймонизма: къ пессимистической оцѣнкѣ жизни и міра.

## II.

Такимъ образомъ, индивидуалистическій эйдаймонизмъ является основной формой этического мышленія молодого Пушкина. Но само собой разумѣется, что точки зрѣнія и настроенія, составляющія въ своей совокупности эту идеологію, отнюдь не исчерпывали всего содержанія духовной жизни поэта. Рядомъ съ рѣзко эгоистическими, направленными на собственное удовлетвореніе переживаніями и теоретическими построеніями, въ немъ жили и иногда ярко вспыхивали настроенія и думы совсѣмъ иного порядка, болѣе объективныя и идеалистическія: чувство патріотизма, ненависть къ тиранству, политическое свободомысліе и пр. Пушкинъ былъ не только эпикурейцемъ или индивидуалистомъ въ узкомъ смыслѣ этого слова, но и пѣвцомъ вольности, врагомъ деспотизма, и примыкалъ къ вполне опредѣленной общественной группѣ.

Однако, общій тонъ всего міровоззрѣнія не могъ не проявиться и на его соціально-политическихъ взглядахъ. Извѣстно, какъ подозрительно относились къ нему декабристы, съ какой настойчивостью они „оберегали“ его отъ всякаго участія въ ихъ опасной дѣятельности, какіе слухи распускали или, по крайней

мѣръ, поддерживали про него на югѣ <sup>1)</sup>). И эта осторожность не была лишена нѣкоторыхъ основаній. Конечно, смѣшно было подозрѣвать Пушкина въ способности къ предательству или даже откровенности, бѣльшей, чѣмъ та, какую проявили на допросахъ сами декабристы <sup>2)</sup>), но печать случайности и если угодно, какой-то поверхностности, несомнѣнно отмѣчала его политическую дѣятельность. Источниками радикализма Пушкина, какъ въ теоріи, такъ и на практикѣ, было не ясное и опредѣленное чувство долга передъ закрѣпощеннымъ народомъ или отечествомъ и пр., а чисто-субъективныя, совершенно личныя переживанія. Онъ ненавидитъ деспотизмъ и „горитъ свободой“; подъ вліяніемъ друзей и честолюбія, а отчасти ужасной мысли, омрачающей душу, въ немъ воспитывается и крѣпнеть рядъ эмоцій, разрѣшающихся теоретически въ видѣ радикализма, практически въ формѣ рѣзкихъ поэтическихъ выступленій. Этотъ циклъ переживаній входитъ въ сумму иныхъ „страстей“ и образуетъ извѣстную составную часть его жизни, никогда не приобретающаго преобладающаго значенія надъ другими ея элементами. Утихаютъ настроенія, замираетъ и политическая дѣятельность. Сознаніе ея обязательности, ея необходимости помимо личныхъ влеченій отсутствуетъ въ душѣ поэта. Онъ въ оппозиціи, пока ему хочется этого, пока онъ молодъ и не остепенился, и считаетъ себя въ правѣ отказать отъ нея, когда она ему надоѣсть, такъ какъ не признаетъ (практически) за собой никакихъ обязательствъ. Этотъ характеръ его политическаго міровоззрѣнія лучше всего выступаетъ въ прекрасномъ „Посланіи къ Чаадаеву“ отъ 1818 г.:

Любви, надежды, гордой славы  
Не долго тѣшилъ насъ обманъ.

---

<sup>1)</sup> Н. Лернеръ, „Декабристы и Пушкинъ“. „Рѣчь“, 1912 г., № 82.

<sup>2)</sup> Повед. Пушкина относит. декабристовъ, какъ извѣстно, было болѣе, чѣмъ безукоризненнымъ. Ср. отвѣтъ его Николаю I, хлопоты за Раевскихъ (письмо къ Бенкендорфу 18/I, 1830; посланія: къ Пушкину, въ Сибирь и пр. Ср. письмо Мар. Ник. Волконской, Шляпкина, „Изъ неизд. бум. Пушкина“ стр. 129; письмо къ Вяземскому отъ 14—VIII, 1826 г.



Исчезли юныя забавы,  
Какъ дымъ, какъ утренній туманъ!  
Но въ насъ кипятъ еще желанья:  
Подъ гнетомъ власти роковой  
Отчизны внемлемъ призыванья;  
Мы ждемъ съ томленьемъ упованья  
Минуты вольности святой,  
Какъ ждетъ любовникъ молодой  
Минуты сладкаго свиданья.  
Пока свободою горимъ,  
Пока сердца для чести живы,  
Мой другъ, отчизнѣ посвятимъ  
Души высокіе порывы и т. д. (т. I, 232).

Это политическое исповѣданіе становится еще любопытнѣе, если сравнить его со строфами изъ біографіи Кавказскаго Плѣнника:

Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ,  
И зналъ невѣрной жизни цѣну.  
Въ сердцахъ друзей нашель измѣну,  
Въ мечтахъ любви—безумный сонъ.

Отступникъ свѣта, другъ природы,  
Покинулъ онъ родной предѣлъ  
И въ край далекій полетѣлъ  
Съ веселымъ призракомъ свободы.  
Свобода! Онъ одной тебя  
Еще искалъ въ подлунномъ мірѣ;  
Страстями сердце погубя,  
Охолодѣвъ къ мечтѣ и лирѣ,  
Съ волненьемъ пѣсни онъ внималъ,  
Одушевленныя тобою,  
И съ вѣрой, пламенной мольбою,  
Твой гордый идолъ обнималъ. (т. III, 122).

Сходство лирической настроенности обѣихъ пьесъ поразительно <sup>1)</sup>. Строго говоря, какъ и „горѣніе свободой“, отмѣченное въ „Посл.“, легко можетъ перейти въ культъ личной освобожденности, нашедшей свое выраженіе въ Плѣнникѣ, такъ и этотъ послѣдній легко можетъ обернуться борцомъ за святую вольность. И тутъ и тамъ мотивировка *перехода* къ „служенію“ и „исканію“ свободы одна и та же: оба героя извѣдали людей и свѣтъ, познали цѣну невѣрной жизни; герои разочаровались въ возможности счастья и цѣнностяхъ жизни: любовь, надежда, слава, дружба оказались не болѣе, какъ безумнымъ сномъ, утреннимъ туманомъ, наивнымъ самообольщеніемъ юности. И, познавъ истину, оба обратились къ единственному, что могло еще воспламенять ихъ сердца, погубленныя страстями и охолодѣлыя къ мечтамъ: къ культу свободы, въ какой бы формѣ онъ ни выражался. И тутъ и тамъ посвященіе себя свободѣ означаетъ прежде всего бѣгство отъ потерявшаго цѣну наслажденія жизнью. Конечно, культъ свободы выражается у нихъ по разному, и, пока одинъ съ волненіемъ обнимаетъ гордый идолъ личной свободы, другой готовится бороться за свободу отчизны, но это не нарушаетъ значительнаго сходства между ними. Съ одной стороны, нѣтъ никакого сомнѣнія, что и для плѣнника въ идеалъ свободы вообще входитъ политическая свобода, и что пѣсни, которымъ онъ внималъ съ такимъ волненіемъ, внушались не одной дикой волей, но и святой вольностью; съ другой стороны, и герой Посланія не обладаетъ яснымъ пониманіемъ соціального значенія свободы, и переживаетъ ее не какъ общественное благо, бороться за которое — непремѣнный долгъ каждаго человѣка, а какъ нѣчто такое, чѣмъ горитъ его душа. Онъ вступаетъ въ борьбу только потому, что разочаровался во всемъ остальномъ, и только до тѣхъ поръ, пока свободою горитъ, а не изъ чувства долга и обязанности. Политическая дѣятельность

<sup>1)</sup> Дашкевичъ, *op. cit.*, 82.

является для него такимъ же разрѣшеніемъ извѣстной страсти, какъ и убійство Земфиры и т. п. Черты личнаго произвола отмѣчаютъ ее въ такой же мѣрѣ, какъ и все активное содержаніе его жизни. Откройся передъ нимъ новые горизонты, хотя бы въ видѣ дикой воли Кавказа, и онъ бросится навстрѣчу ей, позабывъ о всякой политикѣ; случись маленькая заминка въ его дѣятельности, и онъ горделиво откажется отъ нея, провозгласивъ свои политическіе идеалы такимъ же утреннимъ туманомъ, какъ любовь и надежду, и обрушивъ энергичныя проклятія на голову тѣхъ, которымъ онъ только что собирался пожертвовать собой.

Но этическіе взгляды Пушкина не только сказались на эмоциональной структурѣ его социальна-политическаго міровоззрѣнія, но и тѣснѣйшимъ образомъ связаны съ положительнымъ содержаніемъ этого послѣдняго: Вѣдь политическія убѣжденія поэта, поскольку вообще можно говорить о нихъ, несомнѣнно носили на себѣ печать французскаго „героическаго рационализма“, идеи котораго господствовали тогда среди радикально настроенныхъ группъ петербургскаго общества <sup>1)</sup>. А героическій рационализмъ является, въ сущности, проявленіемъ той же идеологіи, какъ и эпикуреизмъ, съ той только разницей, что послѣдній представляетъ собою примѣненіе высшихъ принциповъ этой идеологіи къ проблемѣ непосредственнаго самоопредѣленія конкретнаго „я“, а первый—къ системѣ объективнаго познанія дѣйствительности. И тутъ и тамъ благо личности является высшей цѣнностью, цѣлью и причиной каждаго отдѣльнаго волевого проявленія; но въ то время, какъ въ эпикуреизмѣ подъ этимъ благомъ подразумѣвается „мое“ благо, благо непосредственно даннаго самосознанія, героическій рационализмъ мыслить его, какъ благо „человѣка вообще“. Но и въ томъ и въ другомъ ученіи высшія основоположенія и критеріи одни и тѣ же, и эгоцентризму перваго строго соответствуетъ антропоцентризмъ

<sup>1)</sup> Ср., въ особенности, В. И. Семева, *op. cit.*

второго, такъ что въ цѣломъ они образуютъ двѣ взаимно дополняющія системы субъективно-индивидуалистическаго и объективно-соціологическаго эйдаймонизма.

Отраженіе этого послѣдняго на частныхъ историческихъ и политическихъ оцѣнкахъ Пушкина намъ и предстоитъ сейчасъ прослѣдить. Но прежде, чѣмъ перейти къ выполнению этой задачи, мы должны отмѣтить главныя черты соціологическаго эйдаймонизма вообще, въ томъ видѣ, какъ онъ сформировался къ послѣдней четверти 18-го столѣтія.

Философія французскаго просвѣщенія является синтезомъ двухъ, строго говоря, противорѣчивыхъ началъ: воззрѣній и методовъ точной науки, вполнѣ оперившейся къ этому времени, и взглядовъ и приемовъ мышленія метафизическаго рационализма. Обѣ эти черты сказались и въ ея историко-философской концепціи. Съ одной стороны, стоя на почвѣ грубо понятаго эмпиризма, она сводила всѣ человѣческія чувствованія на переживанія удовольствія и неудовольствія и, чрезвычайно упрощая эмоциональное сознаніе человѣка, отрицала или—въ лучшемъ случаѣ—признавала несущественными всѣ идеальныя стремленія человѣческаго духа и объявляла основой всѣхъ волевыхъ движеній стремленіе къ наслажденію;—съ другой же стороны оставаясь вѣрной хранительницей рационалистической традиціи, она интеллектуализировала самую волю, и, выставляя основаніемъ cadaго человѣческаго поступка разумное разсужденіе, превращала его въ разрѣшеніе какой-то математической задачи. Въ грубой схемѣ цѣлью и причиной cadaго проявленія индивидуальной и соціальной воли признавалось достиженіе чувственнаго блага, при чемъ самъ актъ облакался въ форму разумнаго разсчета.

Но при такой постановкѣ вопроса искажалось, вѣрнѣе, совершенно уничтожалось самое понятіе общества. Съ одной стороны, тутъ въ корнѣ отрицалась самая возможность особой, соціальной телеологіи, т. е. такихъ цѣлей общественнаго про-

гресса, которыя бы объяснялись изъ природы самого общества, а не произвольно приписывались ему на основаніи характера индивидуальной психики, съ другой стороны, оставалась незамѣченной ирраціональность соціального явленія, которое вкладывалось въ тѣсную рамку разумнаго разсужденія. Умственному взору проповѣдника раціоналистическаго эйдаймонизма общество представлялось не сложнымъ, самостоятельнымъ организмомъ, возвышающимся по своей генетической и телеологической структурѣ надъ отдѣльной личностью и развивающимся по своимъ собственнымъ, внутренне-необходимымъ законамъ, независимымъ отъ индивидуальнаго произвола, а простымъ собраніемъ отдѣльныхъ личностей. Понятіе соціальной воли сводилось къ понятію математической суммы единичныхъ воель, и едва ли не всѣ формы человѣческой жизни выводились изъ сознательнаго поведенія единичнаго человѣка, а всѣ соединенія людей рассматривались, какъ нѣчто механическое. Строго говоря, понятіе исторіи общества, какъ законмѣрнаго процесса, каждый моментъ котораго имманентно обоснованъ въ предшествующемъ и, въ свою очередь, обусловливаетъ послѣдующій, вовсе отсутствовало въ этомъ міровоззрѣніи, его замѣняли исторія заблужденій и ошибокъ, совершенныхъ человѣчествомъ на пути къ достиженію блаженства. Иными словами, идеологическая концепція просвѣщенія совершенно игнорировала понятія соціальной психологіи и соціального прогресса, выдвигая на передній планъ упрощенно понимаемую психику отдѣльной личности. Этимъ достигалось полное раціонализированіе историческаго процесса, и, подобно тому, какъ въ оцѣнкѣ поведенія отдѣльной личности психологическая этика оперировала по преимуществу съ критеріемъ разумной полезности, точно также этотъ критерій получалъ доминирующее значеніе и въ оцѣнкѣ историческихъ событій, причемъ совершенно упускалось изъ виду, что развитіе общества, быть можетъ, вовсе не заключается въ осуществленіи

индивидуально-полезнаго и, во всякомъ случаѣ, идетъ къ своимъ цѣлямъ отнюдь не кратчайшими, разумнѣйшими путями, а нерѣдко самыми запутанными и странными, причудливость которыхъ объясняется лишь изъ особенностей самого общества, какъ надъ-индивидуальнаго, самостоятельнаго цѣлаго.

Изъ этого основнаго воззрѣнія на общество вытекалъ цѣлый рядъ логическихъ слѣдствій, опредѣлявшихъ характеръ частныхъ оцѣнокъ историческихъ событій, планы реформирования общественной жизни и отношеніе между вождемъ и народной массой.

Прежде всего уничтожалось понятіе непрерывности соціальной эволюціи. Послѣдующія формы соціально-политическаго бытія разсматривались не какъ необходимый продуктъ прѣдшествующаго состоянія общества, но какъ нѣчто обоснованное въ самомъ себѣ, въ *разумности* своихъ теоретическихъ посылокъ. Отсюда вполне логически дедуцировалась возможность абсолютнаго переустройства жизни на новыхъ началахъ. Для этого признавалось вполне достаточной или разумная воля отдѣльнаго лица, облеченнаго всею полнотою власти, или же энергическая дѣятельность небольшой группы лицъ, могущихъ выполнить благодѣтельный переворотъ съ помощью народа или одного класса общества, которые, понявъ разумность предпринимаемыхъ мѣръ, не могли отказать въ своемъ содѣйствіи для ихъ осуществленія.

Революціонность, т. е. крѣпкое убѣжденіе въ возможности рѣзкаго и полнаго переустройства жизни, являлась необходимымъ дополненіемъ раціоналистическаго эйдаимонизма въ соціологіи, и если и происходили извѣстныя колебанія въ этомъ отношеніи, то только по вопросу о томъ, кому играть роль Deus ex machina: абсолютному владыкѣ или же какой-нибудь общественной группѣ.

При такихъ условіяхъ крѣпость и устойчивость формъ общественной жизни, наличность сильныхъ традицій, суще-

ствование самостоятельных и прочных социальных образований представлялось не только излишним, но и прямо вредным, так как эти образования—чего не могли не видеть, конечно, и сами революционно-настроенные идеологи, оказывали значительное противодействие намеченному переустройству общества. Напротив, чѣмъ расшатаннѣе и неопредѣленнѣе казались основные элементы социального цѣлага, тѣмъ благоприятнѣе казалась историческая ситуация для революционных плановъ: тѣмъ легче было отдѣльной личности—просвѣщенному монарху или союзу передовыхъ людей—разрушить старое зданіе и возвести на его мѣстѣ новое, построенное по рациональному плану.

Эту точку зрѣнія мы находимъ и у Пушкина въ замѣчательныхъ разсужденіяхъ <sup>1)</sup> „Историческихъ замѣчаній“ по поводу попытокъ верховниковъ 18-го вѣка ограничить самодержавную власть:

„Петръ I, записываетъ онъ, не страшился народной свободы, неминуемаго слѣдствія просвѣщенія, ибо довѣрялъ своему могуществу и презиралъ человѣчество, можетъ быть, болѣе чѣмъ Наполеонъ. Все дрожало, все безмолвно повиновалось. Аристократія послѣ него неоднократно замышляла ограничить самодержавіе; къ счастью, хитрость государей торжествовала надъ честолюбіемъ вельможъ, и образъ правленія остался неприкосновеннымъ. Это спасло насъ отъ чудовищнаго феодализма, и существованіе народа не отдѣлилось вѣчною чертой отъ существованія дворянъ. Если бы гордые замыслы Долгорукихъ и проч. совершились, то владѣльцы душъ, сильные своими правами, всѣми силами затруднили бы или даже вовсе уничтожили способы освобожденія людей крѣпостного состоянія, ограничили бы число дворянъ и заградили бы для прочихъ сословій путь къ достиженію должностей и почестей государственныхъ. Одно только

---

<sup>1)</sup> Ср. отзывъ Ключевского: „Вѣнокъ на памятникъ Пушкину“, стр. 275.

страшное потрясеніе могло бы уничтожить въ Россіи законѣлое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна съ освобожденіемъ крестьянъ; желаніе лучшаго соединяетъ всѣ состоянія противу общаго зла, и твердое, мирное единодушіе можетъ скоро поставить насъ наряду съ просвѣщенными народами Европы“ (т. VII, 21, 1822 г.).

Пушкинъ былъ противъ ограниченія абсолютизма въ пользу небольшой общественной группы, опасаясь возникновенія чудовищнаго феодализма и не замѣчая того, что это ограниченіе есть лишь первый шагъ на пути къ общему освобожденію. Сформированіе устойчивой соціально-политической группы, крѣпко держащейся за свои права и ограничивающей произволъ, смущало поэта. Она бы только помѣшала ожидаемому имъ мирному, но радикальному переустройству общества: освобожденію крестьянъ и политическому освобожденію націи. Въ справедливости этого утвержденія вполнѣ возможно усомниться. Исторія имѣетъ свою логику, и политическое освобожденіе одной соціальной группы необходимо должно было бы вызвать: первоначально ослабленіе давленія государственной власти на всѣ сословія и классы, а затѣмъ и ихъ полное освобожденіе. И ежели бы крестьянство могло кое-что потерять въ экономическомъ отношеніи, то вся страна, несомнѣнно, выиграла бы въ обще-культурномъ развитіи.

Точка зрѣнія, выставленная Пушкинымъ, хороша только при условіи вѣры въ возможность внезапнаго переустройства жизни внѣ всякой зависимости отъ предшествующихъ историческихъ обстоятельствъ, при надеждѣ на революцію сверху или снизу. И эта вѣра была у поэта. Въ самомъ дѣлѣ: въ чемъ онъ видитъ условія, обеспечивающія успѣхъ реформъ? Предыдущая цитата даетъ на это совершенно недвусмысленный отвѣтъ: желаніе лучшаго объединяетъ всѣ состоянія и твердое, мирное единодушіе можетъ скоро поставить насъ наряду съ просвѣщенными народами Европы.. Общее жела-



ніе лучшаго и единокудшіе—вотъ и все, чего, по мнѣнію поэта, достаточно для грандіознаго преобразования жизни огромной націи. Разсужденіе это вполнѣ въ тонѣ философіи просвѣщенія и страдаетъ тѣмъ же отсутствіемъ пониманія исторической необходимости формъ соціальной жизни, какое было указано выше. Любопытно, что позднѣе Пушкинъ будетъ отстаивать какъ разъ противоположную точку зрѣнія на значеніе дворянства, какъ самодовлѣющей, хорошо организованной группы, являющейся защитницей законности и права передъ верховной властью. Но тогда и исходное положеніе поэта будетъ совершенно инымъ: „*stabilité—занесеть онъ въ записную книжку—première condition du bonheur publique*“. (VII, 35, 1830—32 г.).

Въ „Историческихъ замѣчаніяхъ“ Пушкинъ настроенъ очень оптимистически. Онъ вѣритъ, что единокудшіе совершатъ переворотъ совершенно мирно, безъ всякихъ ужасныхъ потрясеній. Но такое настроеніе было присуще ему далеко не всегда. Строго говоря, онъ не совсѣмъ ясно представлялъ себѣ самый характеръ грядущаго преобразования и постоянно колебался между надеждой „на манію царя“ и вѣрой въ насильственный, кровавый переворотъ. Иногда въ его поэзіи звучали ноты примирительнаго характера („Деревня“), иногда же она отражала неистовый революціонный порывъ:

Народы тишины хотятъ,  
И долго ихъ яремъ не треснетъ.  
Ужель надежды лучъ исчезъ?  
Но нѣтъ,—мы счастьемъ насладимся,  
Кровавой чашей причастимся,  
И я скажу: Христось Воскресъ <sup>1)</sup>. (I, 313, 1821 г.).

Но эти колебанія не вылились у поэта въ вполнѣ отчетливыя формы и вскорѣ были вытѣснены иными сомнѣніями, гораздо болѣе глубокими и значительными, потому что они

---

<sup>1)</sup> „Кинжалъ“.

трактовали уже не о характерѣ переворота, а о самой возможности его. Трудно сказать, когда эти сомнѣнія впервые посѣтили мыслящаго Пушкина, однако, къ концу пребыванія его въ Кишиневѣ они окрѣпли уже настолько, что могутъ быть зафиксированы вполне точно. Въ этомъ процессѣ постепеннаго разочарованія въ возможности осуществленія желанныхъ реформъ сыграли свою роль какъ и западно-европейскій революціонный опытъ, вліявшій на Пушкина черезъ посредство романтическихъ писателей, въ томъ числѣ Байрона, такъ и личныя наблюденія и выводы поэта. Съ одной стороны, онъ не могъ не видѣть европейской реакціи, которую онъ описалъ въ словахъ: „народы тишины хотятъ, и долго ихъ яремъ не треснетъ“; съ другой стороны, въ непосредственной близости отъ него, на его глазахъ разыгрался одинъ изъ послѣднихъ актовъ героической борьбы за освобожденіе: греческое возстаніе. Вотъ что онъ пишетъ по этому поводу: „Мы видѣли этихъ новыхъ Леонидовъ на улицахъ Одессы и Кишинева, со многими изъ нихъ были лично знакомы, и свидѣтельствуемъ теперь объ ихъ полномъ ничтожествѣ: ни малѣйшей идеи о военномъ искусствѣ, никакого понятія о чести, никакого энтузіазма“.

И таковы вожди, а что касается рядовыхъ участниковъ, то „константинопольскіе нищіе, карманные воришки, бродяги безъ смѣлости, которые не могли выдержать перваго огня даже плохихъ турецкихъ стрѣлковъ — вотъ что они“ (VIII, 54—55, 1823 г.). Разумѣется, такія впечатлѣнія не могли укрѣпить вѣру поэта въ грядущее пересозданіе жизни, особенно когда они слѣдовали или шли рядомъ съ такимъ воодушевленіемъ:

Возстань, о Греція, возстань!  
Недаромъ напрягаешь силы,  
Недаромъ потрясаетъ брань  
Олимпъ, и Пиндъ и Фермопилы.

. . . . .

Страна героевъ и боговъ,

Расторгни рабскія вериги,  
При пѣньи пламенныхъ стиховъ

Тиртея, Байрона и Риги. (1823, II, 343—44).

На повѣрку, страна героевъ и боговъ давала воришекъ и бродягъ. Такія разочарованія не проходили даромъ и, слѣдую одно за другимъ, невольно склоняли поэта къ разочарованію въ возможности реформъ и революціи и къ пессимистическимъ выводамъ въ области европейской и русской политической дѣйствительности.

Но, благодаря нѣкоторымъ обстоятельствамъ, разочарованіе это приняло совершенно особенный характеръ: первоначально сомнѣнія выразились не въ переоцѣнкѣ своей собственной программы и тактики, а всей тяжестью обрушились на народъ, неспособную къ разумному достиженію возвышенныхъ цѣлей толпу. И причины, обусловившія такое направленіе разочарованія въ былыхъ вѣрованіяхъ, коренились въ томъ же рационалистическомъ пониманіи общества, о которомъ мы говорили выше.

Дѣло въ томъ, что, аннулируя понятіе общности, какъ самостоятельно и закономѣрно развивающагося начала и сводя понятіе общества къ понятію математической суммы единичныхъ волю, французскій рационализмъ дѣлалъ невозможнымъ для личности достиженіе надъ-индивидуальнаго характера историческаго процесса. Въ ея соціальныхъ переживаніяхъ уже не оказывалось мѣста для тѣхъ покорно-торжественныхъ настроеній, которыя сопровождали созерцанія природы. Тамъ все было полно строгой необходимости, холоднаго величія огромнаго механизма, безстрастно развивающагося по непреложнымъ законамъ, подавляющаго впечатлѣнія чего-то высшаго, сверхъ-человѣческаго и единого. Дальнія звѣзды высокаго неба нашептывали натурфилософу чудныя сказки о красотѣ и мудрости безконечной вселенной, навѣвали ему хотя и „леденящіе душу“ <sup>1)</sup>, но все же

<sup>1)</sup> Выраженія П. Я. Чаадаева.

возвышенные и умиротворяющіе сны рационалистическаго деизма, и упрекъ и протестъ замирали на его устахъ.

Тутъ, напротивъ, созерцаніе расплылось, раздроблялось. Умственный взоръ политика напрасно искалъ какого-нибудь единства, какого-нибудь стройнаго цѣлаго; общество неизбѣжно распадалось на тысячу и тысячу кусковъ и тѣ, кто всего - на - всего является носителемъ соціального начала, играли роль этого послѣдняго. вмѣсто общества оказывалась толпа людей, то единодушныхъ при заключеніи соціального договора, то грызущихся изъ-за добычи, словно стая волковъ. Вниманіе созерцающаго переходило съ одной группы на другую; распредѣлялось между отдѣльными типическими личностями, каждая изъ которыхъ воспринималась чрезвычайно ярко и конкретно, возбуждая въ немъ то острую жалость и состраданіе, то гнѣвъ и отвращеніе, но не создавая въ итогъ ничего новаго сравнительно съ индивидуальными образами, никакого величаваго, космическаго, если можно такъ выразиться, представленія. И, подобно тому, какъ въ рационалистической философіи развитіе общества какъ-то бессознательно идентифицировалось съ развитіемъ отдѣльной личности, точно также и само общество превращалось у него въ отдѣльнаго человѣка. Рационалистъ-эмпирикъ антропоморфизировалъ общество, а вмѣстѣ съ тѣмъ слишкомъ человѣческой характеръ, характеръ отношенія къ отдѣльной личности, пріобрѣтали и его переживанія относительно общества.

Отсюда вытекали' важныя особенности въ психикѣ героя рационалистическаго склада. Служа народу, онъ разсчитывалъ на его непосредственную благодарность, выставляя извѣстныя программы, надѣялся на быстрое пониманіе ихъ значенія, стремясь къ опредѣленной цѣли, требовалъ точной исполнительности и, не находя ничего этого въ дѣйствительности, сердился, негодовалъ и проклиналъ народъ, словно это былъ его личный знакомый. Увѣренный, съ одной сто-

роны, въ безусловной полезности своихъ плановъ, не понимая, съ другой, внутренней необходимости народныхъ движеній, онъ, въ случаѣ неудачи своихъ предпріятій, обвинялъ во всемъ народъ, обрушивался на него съ жесточайшими упреками и, въ концѣ концовъ, завертывался въ романтической плащъ величественнаго презрѣнія.

Въ эти же мотивы отливало и разочарованіе Пушкина въ успѣхѣ политической дѣятельности. Ихъ можно подмѣтить уже въ драматическомъ отрывкѣ „Вадимъ“ отъ 1821—22 г.:

Безумные! Давно ль они въ глазахъ моихъ  
Встрѣчали торжествомъ властителей чужихъ,  
И вольныя главы подъ иго преклоняли?  
Изгнанью моему давно ль рукоплескали?  
Теперь зовутъ меня, а завтра, можетъ, вновь...  
Невѣрна ихъ вражда, невѣрна ихъ любовь...  
Но я не измѣню (III, 167).

Пока это только глухое недовольство: Вадимъ, несмотря на такое предосудительное поведеніе народа, не хочетъ измѣнять ему. Позднѣе самъ Пушкинъ поставитъ вопросъ гораздо рѣзче и рѣшительнѣе:

Свободы сѣятель пустынный,  
Я вышелъ рано, до звѣзды;  
Рукою чистой и безвинной  
Въ поработенныя бразды  
Бросалъ живительное сѣмя, —  
Но потерялъ я только время,  
Благія мысли и труды...  
Паситесь мирные народы,  
Васъ не пробудитъ чести кличъ!  
Къ чему стадамъ дары: свободы?  
Ихъ должно рѣзать или стричъ;  
Наслѣдство ихъ изъ роды въ роды  
Ярмо съ гремушками да бичъ (II, 345, 1823 г.).

Силлогизмъ произведенія замѣчательно характеренъ: съ одной стороны, сѣятель съ благами мыслями и трудами, съ другой—народъ, который не желаетъ или не можетъ исполнить разумныхъ совѣтовъ; отсюда вполне логическій выводъ: брань по адресу послѣдняго и умываніе рукъ. Эпиграфомъ Пушкинъ взялъ начало евангельской притчи: „Изыде сѣятель сѣять сѣмена своя“, а въ письмѣ къ А. И. Тургеневу далъ слѣдующій комментарий къ стихотворенію: приводя отдѣльныя строфы изъ оды на смерть Наполеона, онъ замѣчаетъ по поводу заключительной:

Хвала! Онъ русскому народу

Высокій жребій указаль,

И міру вѣчную свободу

Изъ мрака ссылки завѣщаль (I, 298, 1821 г.)

„Эта строфа нынѣ не имѣетъ смысла, но она писана въ началѣ 1821 г. Впрочемъ, это мой послѣдній либеральный бредъ: я закаялся и написалъ на-дняхъ подражаніе басни умѣреннаго демократа I. X. (А. И. Тург., изъ Одессы, 1/xii 1823 г., т. VIII, стр. 51)

Конечно, это—иронія, и при томъ кощунственная: басня умѣреннаго демократа, говоритъ Пушкинъ о прекраснѣйшей притчѣ Евангелія, — но подъ покровомъ насмѣшки здѣсь скрывается гораздо болѣе значительный фактъ, чѣмъ это можетъ показаться съ перваго взгляда. Фактъ этотъ — наполовину бессознательное отождествленіе политическаго вождя съ проповѣдникомъ.

Для сѣятеля Евангелія нѣтъ общества и законовъ его эволюціи; онъ обращается съ проповѣдью къ индивидуальнымъ моральнымъ сознаніямъ, къ тѣмъ, кто имѣетъ и кому будетъ дано, и къ тѣмъ, у кого нѣтъ и отъ кого отнимется; ему нѣтъ дѣла до географическихъ, національныхъ и культурныхъ различій, и онъ вправѣ дѣлить людей на сыновъ Царствія и сыновъ лукаваго, угрожая послѣднимъ пещью огненною, а первымъ обѣщая блаженство (Отъ Матеея,

гл. 13, 3—42), потому что моральная и религиозная нормы не могут быть рассматриваемы съ точки зрѣнія причинной необходимости, а принадлежать царству свободы.

Но Пушкинъ присваиваетъ эту проповѣдническую психологію соціально-политическому реформатору.

Вмѣсто дипломатическаго такта и осторожности, тонкаго пониманія ирраціональности соціальнаго развитія и его внутреннихъ, непреложныхъ законовъ, надъ которыми не властна и въ которыхъ неповинна никакая индивидуальная воля, поэтъ надѣляетъ преобразователя общества тѣми же качествами, какъ и проповѣдника этическихъ истинъ, заставляетъ его трактовать народы, какъ благія и грѣшныя сердца людей, и даетъ ему право проклинать и благословлять то, гдѣ, строго говоря, нѣтъ ничего кромѣ сверхчеловѣческаго закона. И, широко пользуясь этимъ правомъ, онъ переходитъ отъ разочарованія къ разочарованію и кончаетъ горькой усмѣшкой надъ былымъ „либеральнымъ бредомъ“ и проклятіями по адресу народа.

„Косность Европы, успокоившейся на лонѣ реакціи, замѣчаетъ Н. О. Лернеръ, внушила поэту презрѣніе къ народамъ, достойнымъ своей участи, и онъ разочаровался въ томъ, во что недавно вѣрилъ: оставаясь „демократомъ“, сдѣлался „умѣреннымъ“. Отъ этихъ стиховъ вѣетъ холодомъ глубокаго скептицизма. Поэтъ одинаково презираетъ и глупыхъ овецъ, покорно дающихъ бить себя и стричь, и усердно стригущихъ ихъ пастырей“<sup>1)</sup>.

Таковъ второй итогъ первой стадіи духовнаго развитія Пушкина. Усвоивъ идеологію французскаго просвѣщенія и въ субъективной формѣ ученія о непосредственномъ назначеніи конкретнаго „я“ и въ объективной формѣ соціологической теоріи, онъ изъ обоихъ построеній сдѣлалъ послѣдніе выводы и пришелъ къ полному разочарованію и въ возможности личнаго счастья и въ плодотворности политической

<sup>1)</sup> Н. Лернеръ, Венгеровъ, т. III, 1823 г.

дѣятельности. А если сюда прибавить тѣ кишиневскія переживанія поэта, которыя создали необычайно дерзкое, пламенное кощунство „Гаврилады“, гдѣ забросана грязью Мадонна, и одесскіе уроки чистаго аеизма у глухого англичанина, „который исписалъ листовъ тысячу, чтобы доказать qu'il ne peut exister d'être 'intelligent createur et regulateur, мимоходомъ уничтожая слабыя доказательства безсмертія души“,—то картина получается вовсе не угѣшительная.

Тутъ терпѣло крахъ цѣльное мировоззрѣніе, рушились привычныя традиціонныя вѣрованія и надежды, завершилась цѣлая полоса идейнаго развитія художественной литературы, и, зная огненный темпераментъ и необыкновенное теоретическое безстрашіе поэта, мы лишь съ трудомъ можемъ себѣ представить его душевное состояніе въ это трудное время. Во всякомъ случаѣ слѣды этого кризиса не изгладились до конца жизни Пушкина. Не смотря на то, что ему удалось освободиться отъ пессимизма, ноты глубокаго утомленія и разочарованія навсегда остались въ его творествѣ, и, подкрѣпляемая постоянными невзгодами, вылились въ циклъ великолѣпныхъ произведеній пессимистическаго тона, изъ которыхъ „Три ключа“ едва ли не лучшее:

Въ степи мірской, печальной и безбрежной,  
Таинственно пробились три ключа:  
Ключъ юности—ключъ быстрый и мятежный—  
Кипить, бѣжить, сверкая и журча;  
Кастальскій ключъ волною вдохновенья  
Въ степи мірской изгнанниковъ поить;  
Послѣдній ключъ—холодный ключъ забвенья;  
Онъ слаще всѣхъ жаръ сердца утолить. (II, 52, 1827 г.).

### III.

Однако эти пессимистическія ноты, какъ бы постоянны онѣ ни были, ни въ какомъ случаѣ не должны приводить насъ къ заключенію о „пессимизмѣ Пушкинскаго мировоззрѣ-



нія вообще“. Пессимистомъ можетъ быть названъ лишь тотъ, кто не только констатируетъ перевѣсъ страданія надъ радостью въ человѣческой жизни, но и не находитъ никакихъ иныхъ критеріевъ, кромѣ гедонистическихъ, кто рядомъ съ отрицательной оцѣнкой міра съ эйдаймонистической точки зрѣнія признаетъ ничтожность всякихъ иныхъ оцѣнокъ, для кого вмѣстѣ съ возможностью прочнаго счастья исчезаетъ и вообще всякій смыслъ существованія, такъ что, отвергнувъ первое, онъ отвергаетъ жизнь. Но именно ничего подобнаго нельзя сказать о Пушкинѣ. Пессимистическая оцѣнка жизни, которая на минуту пріобрѣла первенствующее значеніе въ его сознаніи, постепенно ступевалась передъ идеями и переживаніями совершенно иного порядка и вошла въ составъ его міровоззрѣнія однимъ изъ существенныхъ, но вовсе не главныхъ элементовъ. Отвергнувъ жизнь съ точки зрѣнія личнаго счастья, Пушкинъ принялъ ее съ иныхъ точекъ зрѣнія, и это-то бодрое и ясное пріятіе міра просвѣчиваетъ во всѣхъ его позднѣйшихъ произведеніяхъ, въ его реалистическомъ творчествѣ. Сохранивъ за собой скептическую позицію, онъ занялъ вмѣстѣ съ тѣмъ и другія и именно на этихъ послѣднихъ базировалъ свое укрѣпленіе. Описать этотъ переходъ—задача ближайшаго изложенія.

Онъ совершался по двумъ направленіямъ: съ одной стороны, сами эйдаймонистическія цѣнности, въ реализаціи которыхъ разочаровался поэтъ, уступали мѣсто инымъ, абсолютнымъ, служить которымъ призвана личность, такъ что удовольствие перестало быть для него смысломъ жизни, а эта послѣдняя превратилась въ актъ служенія; съ другой же, въ немъ развилось иное, болѣе глубокое и проникновенное пониманіе историческаго процесса, въ созерцаніи котораго его я забывало себя самого и жило одною жизнью съ жизнью великаго народнаго цѣлаго.

Вглядываясь пристально въ исторію разочарованій молодого Пушкина, мы можемъ отмѣтить слѣдующій чрезвычайно

любопытный фактъ: признавая за личностью право на бунтъ въ случаѣ неудовлетворенія ея законныхъ требованій, самъ поэтъ по мѣрѣ роста въ немъ пессимистическихъ настроеній постепенно вовсе отказывается отъ этого права и въ мрачномъ эпилогѣ „Цыганъ“ кончаетъ какою-то глубокою покорностью судьбѣ:

И всюду страсти роковыя,

И отъ судебъ защиты нѣтъ.

Уже кн. П. А. Вяземскій находилъ это окончаніе поэмы „слишкомъ греческимъ“,—ту же мысль повторяетъ и новѣйшій критикъ, замѣчая, что оно „сообщаетъ цѣлому резонансъ древней трагедіи рока <sup>1)</sup>). И, дѣйствительно, въ заключительныхъ, очевидно приписанныхъ спустя нѣсколько времени строфахъ поэмы нѣтъ и слѣда былого вызова и былой заносчивости. Напрѣотивъ: поэтъ здѣсь какъ бы сдается на капитуляцію судьбѣ и, утомленный непрерывными ударами, покорно складываетъ руки. Признавая вмѣстѣ съ Алеко цѣлью человѣческой жизни—счастье, рѣшая вмѣстѣ съ нимъ отрицательно проблему его возможности, онъ, однако, не желаетъ слѣдовать за своимъ „изгнанникомъ“ въ его бунтовщическихъ выходкахъ, въ его мести и борьбѣ. Въ „Цыганахъ“ онъ прощается со своимъ „байроническимъ“ героемъ, отказываясь отъ безцѣльнаго бунта, и идетъ на поиски новыхъ путей, увѣнчавшіяся, въ концѣ концовъ, полнымъ успѣхомъ.

Откуда же взялась эта покорность, этотъ отказъ отъ бунта?

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, достаточно сравнить содержаніе эпилога съ декламацией Алеко и Плѣнника. И тутъ и тамъ мы имѣемъ дѣло съ „жалобой героя“, съ печальной думой выдающагося человѣка о несовершенствѣ жизни и непрочности, даже невозможности счастья.

И, все же, какая разница между ними! Въ то время, какъ Плѣнникъ и Алеко обвиняютъ во всѣхъ своихъ невзгодахъ

---

<sup>1)</sup> Вяч. Ивановъ, вступит. ст. къ „Цыганамъ“ въ изд. Венгерова, III, 329.

людей съ ихъ коварствомъ и завистью, съ ихъ пороками и развращенностью, въ то время, какъ они во всѣхъ событіяхъ жизни видятъ проявленія автономной индивидуальной воли и даютъ свободу своему негодованію, эпилогъ воздышается до глубокаго созерцанія процесса жизни, какъ обнаруженія сверхъ-индивидуальной судьбы и на мѣсто человѣческихъ козней подставляетъ игру роковыхъ страстей и волю слѣпотаго случая. Тамъ виновникъ несчастій стоитъ рядомъ съ героемъ, встрѣчается съ нимъ на каждомъ перекресткѣ, кричитъ ему въ уши дерзкія оскорбленія и за спиной у него затѣваетъ злостную интригу; тутъ виновника совсѣмъ нѣтъ, потому что невозможно вѣдь признать таковымъ грозную необходимость, господствующую надъ всѣми людьми безъ разбора и настигающую каждого, и праваго, и виноватаго. И само собой понятно, что, если рѣчи изгнанниковъ полны горькихъ проклятій по адресу общества, ихъ вскормившаго, то мрачное размышленіе эпилога ограничивается простымъ констатированіемъ неизбывности страданія, которому подчинены всѣ люди, и скорѣе скорбитъ надъ печальной участью человѣчества, чѣмъ обвиняетъ кого-либо.

Да и какъ въ самомъ дѣлѣ можно обвинять того, кто самъ является простой пѣшкой въ рукахъ судьбы, искать вины тамъ, гдѣ истинной причиной несчастья оказывается не единичная личность, а таинственная, могучая сила? Слово возмущенія замираетъ на устахъ созерцающаго роковую власть случая, и, конечно, бунтарское настроеніе едва ли совѣтъ себѣ постоянное гнѣздо въ его сердцѣ. Бунтъ Алеко и Плѣнника былъ естествененъ и понятенъ, потому что направлялся противъ дѣйствій автономной человѣческой воли, противъ исполнѣ конкретнаго объекта,—для автора эпилога бунтъ уже гораздо болѣе затруднителенъ, потому что ему пришлось бы возстать противъ рока. Его покорность всецѣло зависитъ отъ особенностей его созерцанія жизни, какъ процесса, надъ которымъ властвуетъ желѣзный законъ, и

онъ смиряется только потому, что уступать ему приходится не людямъ или толпѣ, но могучей судьбѣ.

И въ этомъ—значеніе пессимистическаго обобщенія для духовнаго развитія Пушкина. Пока въ немъ жила вѣра въ возможность счастья, какъ индивидуальнаго, такъ и соціальнаго, осуществить которое мѣшаютъ заблужденія и злая воля людей, пока наличность страданія въ мірѣ объяснялась имъ автономной человѣческой дѣятельностью, пока онъ былъ убѣжденъ, что формы человѣческой жизни — продуктъ свободнаго индивидуальнаго творчества и что человѣкъ и все человѣчество, понятое атомистически, — кузнецы своего счастья, до тѣхъ поръ переживаніе событій было бурно и неспокойно, созерцаніе жизни расплывалось и, вмѣсто стройной картины, передъ поэтомъ вставала запутанная сѣть маленькихъ дѣлъ маленькихъ людей, противъ которыхъ въ его душѣ подымались раздраженіе и ненависть. Но какъ только отдѣльныя разочарованія сгустились въ пессимистическое воззрѣніе: „и всюду страсти роковыя и отъ судьбы защиты нѣтъ“, — передъ поэтомъ впервые выступила надъ-индивидуальная необходимость процесса жизни, отношеніе къ событіямъ стало спокойнымъ и безпристрастнымъ, а сама жизнь подчинилась объективному *закону*. Признаніе того, что не все въ человѣческой жизни зависитъ отъ самихъ людей, но есть и кое-что такое, что обусловлено причинами, независимыми отъ поведенія индивидуальной воли, впервые дано поэту въ формѣ пессимистическаго ограниченія. Рационалистическій эйдαιмонизмъ, который исповѣдывалъ поэтъ, привелъ его къ цѣлому ряду разочарованій и, изживъ самого себя, создалъ противоположную себѣ формулу фаталистическаго воззрѣнія. И это воззрѣніе не замедлило отразиться и на частныхъ взглядахъ поэта, измѣнивъ и углубивъ его пониманіе характера страсти и *поведенія* личности въ обществѣ, какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ изображеніе тѣхъ лицъ, которымъ противопоставленъ въ „Цыганахъ“ Алеко.

Послѣднимъ разочарованіемъ Алеко была измѣна Земфиры. Но эта измѣна изображена въ поэмѣ не какъ проявленіе свободной воли, не какъ дѣло рукъ человѣческихъ, а какъ ударъ судьбы, какъ обнаруженіе „роковой“ страсти:

Старый мужъ, грозный мужъ,  
Рѣжь меня, жги меня:  
Я тверда, не боюсь  
Ни ножа, ни огня.  
Ненавижу тебя,  
Презираю тебя,  
Я другого люблю,  
Умираю, любя.

Въ этихъ словахъ слышится уже не личная, моя любовь, не капризь отъ нечего дѣлать или порывъ развращеннаго сердца, но голосъ какого-то стихійнаго чувства. Не Земфира полюбила, — роковая страсть вселилась въ нее; она не властна надъ собой, ею правитъ сверхъчеловѣческая воля, которой остается лишь пассивно подчиниться:

Рѣжь меня, жги меня,  
Я тверда, не боюсь...  
Я другого люблю,  
Умираю, любя.

Тонъ страсти вполне трагическій: это уже не субъективный лиризмъ, но эпическій драматизмъ, — и Земфира первая воистину трагическая героиня Пушкина, трагическая въ томъ смыслѣ, что она вступаетъ въ конфликтъ съ жизнью, не въ силу личныхъ, отчетливо индивидуальныхъ стремленій, а, такъ сказать, по опредѣленію свыше, подъ вліяніемъ рокового, стихійнаго, а потому и надъсубъективнаго влеченія. Она обреченная судьбой, а не потерпѣвшая поражение благодаря своимъ личнымъ качествамъ. И любопытно, что страсть, которая владѣетъ Земфирой, не отвлеченная „страсть вообще“, но вполне конкретная, этнографически опредѣленная. Это — любовь цыганки, начало ея въ органическихъ особенностяхъ

племени, она—присуща не отдѣльному лицу, но всему народу, „хору“, какъ сказалъ бы Вяч. Ивановъ, и только реализуется въ отдѣльныхъ его представителяхъ. Ея стихійность не трансцендентнаго порядка, а коренится въ ея социальномъ характерѣ. Это голосъ цѣлаго народа, звучащій въ единичной личности, и, соотвѣтственно этому, сама Земфира изображена въ поэмѣ не какъ типъ или индивидуальность—для такой роли она слишкомъ блѣдна, блѣднѣе Заремы и Маріи,—но какъ представительница своего рода, носительница хорового начала: какъ—цыганка. Этимъ въ сущности и исчерпывается ея опредѣленіе, какъ дѣйствующаго лица въ поэмѣ.

Такимъ образомъ тотъ резонансъ древней трагедіи рока, который звучитъ въ эпилогѣ, наложилъ свою печать и на всю поэму: при рѣшеніи проблемы счастья герой пьесы противопоставляется не человѣку, дѣйствующему автономно, а стихійному началу. Въ Земфирѣ страсть потеряла свое индивидуальное обличье и выступаетъ, какъ „хоровая“, а потому неподвластная отдѣльной личности, страшная въ своей строгой необходимости сила. Не люди владѣютъ страстями, страсти владѣютъ людьми, и источникъ этихъ страстей—хоръ.

Такъ изображено второе дѣйствующее лицо конфликта. Но въ поэмѣ внутренняя фатальная неизбежность событія не только изображается, но и дѣлается базисомъ для новаго міровоззрѣнія, комментируется теоретически. Этимъ комментариемъ является идеологія стараго цыгана: если Земфира является въ поэмѣ представительницей безсознательной, стихійной страсти, то старый цыганъ выражаетъ собою сознание необходимости этой страсти. Его разговоры съ Алеко чрезвычайно поучительны:

Взгляни: подъ отдаленнымъ сводомъ  
Гуляетъ вольная луна;  
На всю природу мимоходомъ  
Равно сіянье льетъ она;

Заглянетъ въ облако любое,  
Его такъ пышно озарить,  
И вотъ ужъ перешла въ другое,  
И то не долго посѣтитъ.  
Кто мѣсто въ небѣ ей укажетъ,  
Примолвя: тамъ остановись!  
Кто сердцу юной дѣвы скажетъ:  
Люби одно, не измѣнись!  
*Утѣшься!..*

Старикъ отлично понимаетъ фатальность страсти, настолько же неподвластной человѣческому произволу, какъ и движеніе луны. И тутъ и тамъ одинаково царить высшій законъ, и мстительность раздраженнаго самолюбія, и порывы ревности, и горькая мука покинутаго должны смириться передъ его роковой силой. Такъ, по крайней мѣрѣ, думаетъ старикъ. Гдѣ Алеко поспѣшилъ бы—

Тотчасъ вослѣдъ неблагодарной  
И хищнику, и ей, коварной,  
Кинжала въ сердце не вонзилъ?

тамъ старый цыганъ отдѣливается простымъ афоризмомъ:

Вольнѣе птицы—младость!  
Кто въ силахъ удержать любовь?  
*Чредою встѣмъ дается радость;*  
*Что было, то не будетъ вновь.*

Въ основѣ міровоззрѣнія стараго цыгана лежитъ фатализмъ, вѣра въ необходимость и неизбѣжность совершающагося, которое такимъ образомъ находится внѣ индивидуально-человѣческихъ вліяній. Жизнь человѣческая, личная и общественная, слагается не изъ однихъ автономныхъ дѣяній отдѣльныхъ лицъ, но и изъ фактовъ сверхъиндивидуальныхъ, подчиненныхъ своимъ законамъ, своему особому порядку, а потому и господствующихъ надъ отдѣльной волей. Поэтому человѣкъ долженъ умѣть подчиняться роковымъ силамъ, умѣть сторониться и пропускать мимо чужую стихійную

страсть и самому безвольно отдаваться общему течению. „Гордость“—эгоцентризм губительна и для самой личности и для всего хора, потому что она требует автономии тамъ, гдѣ царитъ суровая необходимость. „Мы робки. и добры душою“, говоритъ старый цыгань, и этимъ выражаетъ тотъ минимумъ условій, который обезпечиваетъ благополучіе личности въ обществѣ и безопасность общества со стороны отдѣльной личности.

Такимъ образомъ пессимистическое созерцаніе нанесло существенный ударъ соціологическому атомизму: личность имѣетъ дѣло уже не съ личностью и не со стадомъ, но съ силами высшаго, объективнаго порядка, составляющими двигательныя пружины соціальнаго бытія и властно проявляющимися въ отдѣльномъ индивидуумѣ. Это уже значительный шагъ впередъ, но еще далеко не все: смиренномудріе стараго цыгана не конечный пунктъ духовнаго развитія челоуѣка, но всего лишь исходная точка зрѣнія, на которой должно быть построено новое міровоззрѣніе.

И, прежде всего, идеологія старика совершенно не исключаетъ этической возможности бунта. Само собой разумѣется, что признаніе роковаго характера событій уничтожаетъ какое бы то ни было оправданіе мести и казней, убійствъ и крови; само собой разумѣется, эгоистъ, требующій удовлетворенія и отвѣта отъ людей, не признающій за ними права на свободу,—безвозвратно осуждается этимъ міровоззрѣніемъ, но противъ того, у кого бы нашлось силы возмутиться противъ самой судьбы, лишающей его личнаго счастья, противъ такого бунтаря старый цыгань не можетъ выставить ни одного серьезнаго возраженія. Конечно, самъ онъ не представляетъ себѣ возможности такого бунта, но вѣдь это—только потому, что онъ „робокъ и добръ душою“. Обоснованіе покорности здѣсь очень жалкое и случайное: если онъ робокъ, то другой можетъ оказаться смѣлымъ, и тогда о смиренномудріи не придется и упоминать.



Въ самомъ дѣлѣ если даже допустить, что въ своемъ стремленіи къ счастью, законности котораго не отрицаетъ и старый цыганъ, личность сталкивается съ желѣзной необходимостью, то отсюда еще нельзя вывести этической законности покорности. Бунтовать бессмысленно, какъ бессмысленно биться головой объ стѣну, но вѣдь можно возстать противъ самой этой бессмысленности, противъ самого закона. Алеко жалокъ и ничтоженъ потому, что онъ обрушился на Земфиру, на того, кто простая пѣшка въ рукахъ рока, но онъ былъ бы воистину великъ и достоинъ всякаго уваженія, если бы возсталъ противъ самаго рока и, вознеся свой бунтъ на метафизическія высоты, бросилъ проклятiе въ лицо самой судьбѣ. Тогда бы онъ не только не казался „карикатурой“ (выраженіе Бѣлинскаго), но сдѣлалъ бы смѣшнымъ и жалкимъ самого стараго цыгана съ его робкимъ смиреніемъ въ прошломъ и настоящемъ.

Но Пушкинъ не могъ придать такого оборота событіямъ своей поэмы: въ силу своего личнаго характера, быть можетъ, въ силу особенностей русскаго національнаго склада (существуетъ мнѣніе, будто фатализмъ свойствененъ русской душѣ), наконецъ, въ силу развитія своего таланта, неуклонно стремившагося къ требующему пріятія міра реализму, онъ не былъ способенъ возмутиться противъ судьбы: онъ бунтовалъ, пока рѣчь шла о людяхъ, и тотчасъ подчинился, когда постигъ роковой характеръ процесса жизни.

Ставя свою личность и личность вообще въ центръ всего совершающагося, дѣлая ея благо высшей этической цѣнностью, базируя всѣ свои оцѣнки на разумной полезности, поэтъ неизбежно долженъ былъ придти къ пессимизму, потому что космическій процессъ жизни вовсе не считается съ личностью и ея благомъ, а развивается по своимъ собственнымъ необходимымъ законамъ и къ своимъ собственнымъ таинственнымъ цѣлямъ. Но въ этомъ пессимистическомъ созерцаніи впервые дала знать ему о себѣ космическая необходимость, вос-

принятая первоначально поэтомъ въ формѣ бессмысленной слѣпой судьбы, которой онъ слѣпо же подчинился.

Но, подчинившись, онъ не могъ остановиться на этой робкой покорности стараго цыгана. Подчиненіе судьбѣ неминуемо должно было перейти у него въ пріятіе міра, которое, въ свою очередь, требовало новой точки зрѣнія на назначеніе человѣка и внутреннее значеніе случайнаго порядка вещей и событій. Поэтъ долженъ былъ, съ одной стороны, признать, что человѣкъ вовсе не созданъ для счастья, а для служенія высшему, и что поэтому онъ не въ правѣ требовать личнаго блага, а съ другой—ему надо было понять надъиндивидуальную необходимость жизни, не какъ игру слѣплого случая, а какъ могучую и цѣлесообразную силу, дѣйствующую имманентно въ человѣческомъ обществѣ и ведущую его къ реализаціи высокихъ цѣлей. Первое было дано въ новой оцѣнкѣ свободы, поэзіи и другихъ цѣнностей, анализъ которой не входитъ въ предметъ настоящаго очерка, второе—въ историческомъ созерцаніи, создавшемъ Бориса Годунова.

#### IV.

Если мы сравнимъ политическія и историческія настроенія сѣятеля и писемъ одесскаго періода съ настроеніями и взглядами „Цыганъ“, то легко замѣтимъ значительное внутреннее противорѣчіе между ними. Въ то время, какъ въ поэмѣ уже отчетливо осознанъ роковой, неизбежный характеръ событій индивидуальной жизни, въ области историческихъ оцѣнокъ господствуетъ еще убѣжденіе во всемогуществѣ единичныхъ человѣческихъ воль, продуктомъ дѣятельности которыхъ является каждый фактъ соціальной жизни. Въ „Цыганахъ“ это несоотвѣтствіе ничѣмъ не даетъ себя знать, потому что въ этой поэмѣ „хоръ“ совершенно бездѣйствуетъ. Правда, онъ, повидимому, вполне присоединяется къ рѣчамъ стараго цыгана, но не проявляетъ активно этого согласія: выступленіямъ Алеко не противопоставлены выступленія на-

рода, и вопросъ о характерѣ этихъ послѣднихъ и ихъ сравнительной цѣнности остается открытымъ. Однако, лишь только Пушкину пришлось изображать историческія событія, какъ новыя настроенія неизбежно сказались и въ исторіософическихъ построеніяхъ и повлекли за собой совершенно неожиданные и чрезвычайно плодотворные выводы.

Дѣло въ томъ, что, поскольку постиженіе внутренней телеологіи событій частной жизни является трудной и даже невозможной задачей, постольку же трудно и невозможно воздержаться отъ построенія извѣстной телеологической системы при анализѣ историческихъ событій. Историческая перспектива и особый характеръ познанія движеній огромнаго цѣлаго неизбежно приводятъ къ признанію той или иной цѣлесообразности процесса, такъ что исторической фактъ точно такъ же трудно изобразить въ видѣ бессмысленной игры роковыхъ случайностей, какъ и сконструировать телеологическую канву для біографіи отдѣльнаго лица. А въ силу этого тотъ самый слѣпой рокъ, господство котораго надъ частной жизнью получило свое признаніе въ „Цыганахъ“, —этотъ самый бессмысленный рокъ, пройдя сквозь горнило историческихъ розысканій, долженъ былъ неминуемо обратиться въ цѣлесообразную историческую необходимость, имманентно дѣйствующую въ процессѣ соціального развитія, и породить вѣру въ безконечное совершенствованіе чело-вѣка. И, дѣйствительно, такъ и случилось съ Пушкинымъ: послѣ созданія „Бориса Годунова“ его фатализмъ принялъ совершенно иной характеръ и послужилъ основаніемъ для новаго бодрого пріятія міра.

Такимъ образомъ, съ нашей точки зрѣнія, созданіе „Бориса Годунова“ является рѣшающимъ моментомъ въ развитіи пушкинскаго генія, той основной частицей, вокругъ которой совершалась кристаллизація его поэтическаго и теоретическаго творчества. „Борисъ Годуновъ“ открываетъ цѣлый рядъ историческихъ произведеній Пушкина и въ прозѣ („Пу-

гачевскій бунтъ“, „Исторія Петра Великаго“ и т. д.), и въ поэзіи („Полтава“, „Капитанская дочка“ и т. д.), и имъ же начинается эпоха того художественнаго идеаль-реализма, которымъ по справедливости гордится русская литература. Само собой разумѣется, что и въ „Борисѣ Годуновѣ“ мы не найдемъ отчетливо зафиксированной системы взглядовъ, но трагедія сама по себѣ представляла такой гигантскій внутренній опытъ, такую огромную комбинацію новыхъ эмоцій, что, создавъ ее, Пушкинъ не могъ удержаться на прежней позиціи и медленно, но неуклонно началъ приближаться къ новому міро-и жизневоззрѣнію.

13-го іюля 1825 года поэтъ писалъ кн. П. А. Вяземскому: „покамѣсть, душа моя, я предпринялъ такой литературный подвигъ, за который ты меня разцѣлуешь: романтическую трагедію“ <sup>1)</sup>. Въ ноябрѣ того же года онъ сообщаетъ другу: „Трагедія моя кончена. Я прочелъ ее вслухъ одинъ и билъ въ ладони и кричалъ: ай да, Пушкинъ, ай да с..... с...“ <sup>2)</sup>. Ни однимъ своимъ произведеніемъ поэтъ не былъ такъ доволенъ, какъ „Борисомъ“, ни одному не придавалъ онъ такого значенія, какъ этой „комедіи“. Онъ надѣется, что царь проститъ его за эту трагедію; по его мнѣнію, „успѣхъ или неуспѣхъ ея будетъ имѣть вліяніе на преображеніе драматической нашей системы“. „Хорошій или худой успѣхъ моихъ стихотвореній, благосклонное или строгое рѣшеніе журналовъ о какой-нибудь стихотворной повѣсти слабо тревожили мое самолюбие. Сіе происходило не изъ презрѣнія, но единственно изъ убѣжденія, что для нашей литературы безразлично, что такая то глава „Онѣгина“ выше или ниже другой. Но признаюсь искренно, неуспѣхъ драмы моей огорчилъ бы меня, ибо я твердо увѣренъ, что нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой, а не придворный обычай трагедіи Расина“ <sup>3)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Т. VIII, 115.

<sup>2)</sup> Т. VII, 253.

<sup>3)</sup> Т. VIII, 141.

Послѣднія строки отчетливо показывают мотивы создания трагедии. Поэтъ преслѣдовалъ исключительно литературно-художественныя задачи: его цѣлью была реформа русскаго театра, замѣна ложно-классической театральной традиціи правилами Шекспировой драмы.

Попытка эта, какъ извѣстно, не увѣнчалась успѣхомъ; значительнаго вліянія на театръ „Борисъ Годуновъ“ не оказалъ и вообще былъ холодно принятъ публикой, и вина за этотъ фактъ отчасти лежитъ въ самомъ произведеніи: въ его не-сценичности, не только внѣшней—пьеса имѣетъ двадцать четыре (!) дѣйствія—но и внутренней—въ отсутствіи единого драматическаго движенія.

Строго говоря, августѣйшій критикъ трагедіи былъ не совсѣмъ не правъ, когда „изволилъ на поднесенной по сему предмету запискѣ собственноручно написать слѣдующее: „Я считаю, что цѣль г. Пушкина была бы выполнена, если бы съ нужнымъ очищеніемъ передѣлалъ комедію свою въ историческую повѣсть или романъ на подобіе Вальтера Скотта“. „Борисъ Годуновъ“, дѣйствительно, сбивался скорѣе на эпическое повѣствованіе, чѣмъ на драму, и, поскольку Николай I хотѣлъ выразить эту мысль, онъ былъ также правъ, какъ и Надеждинъ, который въ своей статьѣ говоритъ слѣдующее: „Шекспировы хроники были писаны для театра и посему болѣе или менѣе подчинены условіямъ сценики. Но „Годуновъ“ совершенно чуждъ подобныхъ претензій (въ этомъ критикъ ошибался. Б. Э.) Діалогическая форма составляетъ только раму, въ коей Пушкинъ хотѣлъ воскресить для поэтическаго воспоминанія—говоря его же словами,—

Дѣла давно минувшихъ дней,

Преданья старины глубокой.

Это рядъ историческихъ сценъ... *эпизодъ исторіи въ лицахъ* (курс. нашъ).

„Не Борисъ Годуновъ въ своей біографической недѣлимости составляетъ предметъ ея, а царствованіе Бориса Годунова,—

эпоха, имъ наполняемая, міръ, имъ созданный и съ нимъ разрушившійся, —однимъ словомъ, историческое бытіе Бориса Годунова“<sup>1)</sup>).

Почти то же самое замѣчаетъ о трагедіи и Бѣлинскій: „Дѣйствующія лица, вообще слабо очеркнутыя, только говорятъ, и мѣстами говорятъ превосходно, но они не живутъ, не дѣйствуютъ. Слышите слова, часто исполненныя высокою поэзіи, но не видите ни страстей, ни борьбы, ни дѣйствій“. „Борись Годуновъ“ „совсѣмъ не драма, а развѣ эпическая поэма въ разговорной формѣ“.

Съ основательностью этихъ утвержденій трудно не согласиться, и такимъ образомъ, приступая къ анализу „Бориса Годунова“, мы сразу наталкиваемся на очень любопытный фактъ полнаго несовпаденія цѣлей творчества съ его результатами: желая реформировать законы театра, Пушкинъ создаетъ чрезвычайно несценичную пьесу, стремясь пересадить на русскую почву правила Шекспировой драмы, онъ до неузнаваемости измѣняетъ его „сценику“<sup>2)</sup>), мечтая создать „романтическую трагедію“, онъ полагаетъ начало реалистическому эпосу, потому что, если и говорить о потомкахъ „Бориса Годунова“, то самымъ выдающимся изъ нихъ надо признать, конечно, не историческую драму Ал. Толстого или Островскаго, а историческій романъ „Война и миръ“.

Обычное объясненіе этого страннаго явленія, впервые, если мы не ошибаемся, выставленное Надеждинымъ и повторенное позднѣе Бѣлинскимъ, гласитъ приблизительно слѣдующее: неудача замысла не вина поэта; ея причина—въ русской исторіи, изъ которой поэтъ заимствовалъ содержаніе своей драмы. „Русская исторія до Петра Великаго тѣмъ и отличается отъ исторіи западно-европейскихъ государствъ,

<sup>1)</sup> Н. Надеждинъ, „Телескопъ“, 1831 г., I, 4 (Зелинскій, ч. III (изд. 3), стр. 91—92).

<sup>2)</sup> Какъ указываетъ Ѳ. Батюшковъ (Венгеровъ, Пушкинъ, III), Пушкинъ и во внѣшней архитектурѣ пьесы слѣдовалъ столько же французской трагедіи, сколько и Шекспировой драмѣ.

что въ ней преобладаетъ чисто-эпическій, или, скорѣе, квіетическій характеръ, тогда какъ въ тѣхъ преобладаетъ характеръ чисто-драматическій“.

Бѣлинскій очень тонко охарактеризовалъ историзмъ трагедіи, какъ эпическій и квіетическій, но объясненіе его свойствами русской исторіи нельзя не признать слишкомъ поверхностнымъ и мало убѣдительнымъ. Съ одной стороны, нѣтъ никакого сомнѣнія, что время царя Бориса можно трактовать чрезвычайно драматически (вспомнимъ хотя бы фигуру Дмитрія Самозванца), съ другой же стороны, ничто не мѣшало Пушкину взять для своей трагедіи матеріаль изъ другой эпохи (хотя бы время Грознаго), гдѣ, во всякомъ случаѣ, нѣтъ недостатка въ драматическихъ положеніяхъ. И тезисъ Надеждина-Бѣлинскаго оставляетъ безъ отвѣта и то, почему Пушкинъ остановилъ свой выборъ на царѣ Борисѣ и почему онъ трактовалъ его съ такимъ эпическимъ квіетизмомъ.

По нашему мнѣнію, объясненія этому факту слѣдуетъ искать не въ особенностяхъ художественнаго матеріала, потому что уже самый этотъ матеріаль представляетъ продуктъ субъективной переработки историческихъ данныхъ, а во взглядахъ и настроеніяхъ самого поэта, въ той идеологіи, которая сказалась въ драмѣ. Дѣло въ томъ, что, помимо своего значенія въ специально-художественномъ развитіи поэта, „Борисъ Годуновъ“ составляетъ въ то же время необходимый и чрезвычайно существенный моментъ въ общей духовной эволюціи Пушкина, факты и законы которой чувствительно повлияли на процессъ художественнаго творчества, помѣшавъ осуществиться его имманентнымъ цѣлямъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, слѣдуетъ обратиться къ детальному разбору „драматизма“ произведенія, который, какъ мы увидимъ, совпадаетъ съ разборомъ философской структуры произведенія.

Почти во всякой исторической драмѣ мы можемъ наблюдать два элемента: съ одной стороны, въ ней должно быть дано воспроизведеніе человѣческой психики соотвѣтственной

эпохи, ея нравовъ, убѣжденій, формъ жизни и т. д. и могущихъ возникнуть на этой почвѣ драматическихъ коллизій (т. е. драма историческаго быта), съ другой стороны, въ ней можетъ быть драматизировано какое-нибудь историческое событіе. И, само собой разумѣется, что напряженность драматическаго дѣйствія въ послѣднемъ случаѣ вполнѣ зависитъ отъ степени активности личности, изображаемой въ произведеніи и такъ или иначе связанной съ событіемъ. Само по себѣ историческое событіе лишено драматизма; оно пріобрѣтаетъ его лишь постольку, поскольку разсматривается какъ продуктъ дѣятельности индивидуальныхъ волей, поскольку оно распыляется въ созерцаніи автора на подвиги, столкновения и борьбу интересовъ единичныхъ личностей. Драматизмъ присущъ только индивидууму въ его взаимоотношеніи съ внѣшней средой, и все совершающееся поддается драматизаціи лишь въ той мѣрѣ, въ какой оно совершается личностью.

Такимъ образомъ, если совершенное осуществленіе перваго элемента, т. е. воспроизведеніе бытовыхъ формъ, составляетъ проблему чисто-художественнаго порядка и обусловлено степенью спеціального таланта автора, то успѣшность драматизаціи историческаго событія зависитъ не только отъ величины художественнаго дарованія, но и отъ тѣхъ общихъ чисто-теоретическихъ формъ, въ которыхъ происходитъ предварительное воспріятіе поэтомъ историческаго факта, т. е. отъ его историко-философскаго воззрѣнія. Карлейль создаетъ „героическую“ теорію историческаго прогресса и невольно драматизируетъ свое прозаическое изложеніе Великой революціи и, наоборотъ, „поэтъ, который удѣляетъ личности лишь незначительную роль въ исторіи и стремится въ то же время драматизировать историческое событіе, неизбѣжно вводитъ въ свое произведеніе эпическій элементъ. Это какъ разъ и случилось съ Пушкинымъ.

Рука объ руку съ несценичностью пьесы идетъ тѣсно съ



ней связанное „недѣланіе“ героевъ. Недѣланіе это, конечно, не означаетъ вялости героевъ въ частной жизни, но отсутствіе въ нихъ историческаго творчества, исторической активности. Герои драмы не совершаютъ на сценѣ историческихъ дѣяній, не дѣлаютъ исторіи. Они произносятъ длинныя рѣчи, мучаются угрызеніями совѣсти, влюбляются, плачутъ, но въ отношеніи къ исторической дѣятельности всѣ они остаются совершенно пассивными. Если угодно, они напоминаютъ членовъ какой-нибудь палаты депутатовъ, собравшейся на засѣданіе во время народнаго возстанія. Тамъ, гдѣ-то за стѣнами залы, бушуетъ народное „море-окіянь“, здѣсь царить растерянность и раздаются безконечныя, безпорядочныя рѣчи. Время отъ времени въ засѣданіе врывается съ улицы какой-нибудь депутатъ, бѣгавшій узнать, что тамъ дѣлается.—Волна растетъ, растетъ, уже готова обрушиться—кричитъ онъ. Одни дрожатъ отъ страха, другіе трепещутъ отъ радости, а рѣчи все продолжаются и продолжаютъ...

Въ самомъ дѣлѣ, что дѣлаетъ въ минуту страшной опасности Годуновъ? Да, ровно ничего или почти ничего. Пораженный въ самое сердце возставшей изъ гроба тѣнью убіеннаго царевича, онъ мучается и трепещетъ; жалкому, полубольному, ему ничего не остается дѣлать, какъ жаловаться:

Душа горитъ, нальется сердце ядомъ,  
Какъ молоткомъ стучитъ въ ухахъ упрекомъ,  
И все тошнить, и голова кружится,  
И мальчики кровавые въ глазахъ...  
И радъ бѣжать, да некуда... ужасно!

Да, жалокъ тотъ, въ комъ совѣсть нечиста... (VII).

Разумѣется, при такомъ душевномъ состояніи серьезная и энергичная борьба невозможна. И Борисъ мечется, не зная, что ему предпринять. Единственный разумный поступокъ его носить совершенно палліативный характеръ: „взять мѣры сей же часъ, чтобъ отъ Литвы Россія оградилась заставами,

чтобъ ни одна душа не перешла за эту грань“. А затѣмъ при наступленіи Самозванца онъ дѣлаеть рядъ ошибокъ: то онъ отнимаетъ единственно-вѣрнаго ему Басманова отъ войска, хотя „онъ въ войскѣ былъ нужнѣй“ (сц. X), то поручаетъ „уклончивому, но смѣлому и лукавому“, по его же опредѣленію, Шуйскому великое дѣло успокоенія народа и пропускаетъ мимо ушей тонкій совѣтъ патріарха, то онъ... но, кажется, это и всѣ распоряженія Годунова <sup>1)</sup>, о которыхъ говорится въ пьесѣ. Нѣтъ,—царь Борисъ не дѣлаеть, да и не можетъ дѣлать исторіи.

Аналогично же положеніе Самозванца. Онъ тоже чрезвычайно пассивенъ и, если въ Борисѣ мы чувствуемъ нѣкоторую устойчивость, извѣстный историческій вѣсъ, то Гришка Отрепьевъ—простая пѣшка въ чужихъ рукахъ, легкая щепка, увлекаемая могучимъ потокомъ. Онъ имѣетъ значеніе не самъ по себѣ, а лишь постольку, поскольку имъ надѣляются его какія-то иныя силы. Не онъ дѣлаеть исторію, а имъ дѣлають ее другіе.

Влюбленный въ Марину, онъ засиживается въ Краковѣ у Мнишка, хотя ему чрезвычайно важно выиграть время, и уступаетъ только понуканіямъ возлюбленной:

...Ты медлишь, и межъ тѣмъ  
Приверженность твоихъ клеветовъ стынеть;  
Чась отъ часу опасность и труды  
Становятся опаснѣй и труднѣе;  
Ужъ носятся сомнительные слухи,  
Ужъ новизна смѣняетъ новизну;  
А Годуновъ свои приѣмлетъ мѣры... (XIV).

И это совершенно вѣрно, но Самозванецъ забываетъ ради любви свои цѣли, свои планы, свое войско и повинуетъ лишь грозному окрику хитрой Марины. Впрочемъ, и въ походѣ онъ не лучше: проигравъ битву, онъ плачетъ надъ

---

<sup>1)</sup> Ср. еще мимоходомъ брошенныя приказанія въ сц. XVI.

трупомъ коня и засыпаетъ безопасно въ лѣсу, вызывая ироническое замѣчаніе Пушкина:

Пріятный сонъ, царевичъ!  
Разбитый въ прахъ, спасаяся побѣгомъ,  
Безпеченъ онъ, какъ глупое дитя.  
Хранить его, конечно, Провидѣнье,  
И мы, друзья, не станемъ унывать (XX).

Про войско же его Пушкинъ отзываясь еще пренебрежительно:

Я самъ скажу, что войско наше дрянъ,  
Что казаки лишь только села грабятъ,  
Что поляки лишь хвастаютъ да пьютъ,  
А русскіе... да что и говорить! (XXII).

Подобно Борису, и Самозванецъ не совершаетъ историческихъ поступковъ: честь побѣды надъ царскими войсками и торжественнаго въѣзда въ Москву никоимъ образомъ нельзя приписать его личнымъ заслугамъ.

Но, быть можетъ, всѣ заботы, все дѣланіе исторіи перенесено на русскихъ бояръ, на польскихъ воеводъ, на римскихъ іезуитовъ? Нѣтъ,—и эти лица ничего не дѣлаютъ на протяженіи 24-хъ сценъ пьесы. Событія развертываются сами по себѣ, а всѣ они, и старшіе и младшіе герои трагедіи, посвящаютъ свое время разговорамъ и личной жизни. Никто изъ нихъ не является непосредственнымъ виновникомъ совершающагося.

Событія развертываются, сказали мы. Да, развертываются: идетъ война, города выдерживаютъ осаду или сдаются добровольно, Самозванецъ совершаетъ свой въѣздъ въ Москву, династія падаетъ, и т. д.

На протяженіи двадцати четырехъ сценъ пьесы совершается цѣлый рядъ крупныхъ историческихъ перемѣнъ. Но кто же, въ концѣ концовъ, творитъ эти перемѣны? Отвѣтъ не подлежитъ никакому сомнѣнію: поскольку „Борисъ Годуновъ“—историческая трагедія, постольку ея героемъ является

не царь Борисъ, не Гришка Отрепьевъ, но весь русскій народъ. Въ движеніи народа—центръ тяжести историческаго содержанія пьесы, имъ объединяются отрывочные драматическіе элементы, на немъ сосредоточено вниманіе всѣхъ дѣйствующихъ лицъ, его боятся и на него надѣются, его рѣшеній ждуть и передъ ними трепещутъ. Среди шума и мельканія обыденной жизни, среди мелкихъ интригъ и происковъ, „міръ“ (это русское слово гораздо лучше греческаго „хоръ“) творитъ судь надъ несчастнымъ цареубійцей, и что въ немъ все дѣло, это отлично понимаютъ всѣ герои произведенія начиная съ царя Бориса:

Такъ вотъ зачѣмъ тринадцать лѣтъ мнѣ сряду  
Все снилося убитое дитя!  
Да, да—вотъ что! Теперь я понимаю...  
Но кто же онъ, мой грозный супостать?  
Кто на меня? Пустое имя, тѣнь—  
Ужели тѣнь сорветъ съ меня порфиру,  
Иль звукъ лишитъ дѣтей моихъ наслѣдства?  
Безумецъ я! Чего жъ я испугался?  
На призракъ сей пойду—и нѣтъ его!  
Такъ рѣшено: не окажу я страха—  
Но презирать не должно ничего...  
Охъ, тяжела ты шапка Мономаха! (X).

Онъ бодрится, но напрасно, онъ отлично понимаетъ могущество „тѣни“, прекрасно знаетъ, почему недаромъ тридцать лѣтъ сряду ему все снилось убитое дитя <sup>1)</sup>. Вѣдь онъ не глупѣе своихъ бояръ, которые такъ ясно сознаютъ серьезность положенія:

Сомнѣнья нѣтъ,—говоритъ Шуйскій,—что это самозванецъ,

Но, признаюсь, опасность не мала.

Вѣсть важная! *И если до народа*

<sup>1)</sup> Ср. еще монологъ Годун. въ XXI сц.: „Онъ побѣжденъ,—какая польза въ томъ? Мы *тщетною побѣдой* увѣнчались“.

*Она дойдетъ, то быть грозъ великой.*

*Такой грозъ, подтверждаетъ Пушкинъ, что врядъ царю  
Борису*

*Сдержатъ вѣнецъ на умной головѣ (IX).*

Опасенія ихъ сбываются цѣликомъ. Борису, въ лицѣ его сына, не удалось сдержатъ вѣнца на умной головѣ, и виновникомъ этого оказался народъ. Вотъ какъ говорить объ этомъ, подводя итоги похода Самозванца на Москву, тотъ же перебѣжчикъ Пушкинъ на гордыя слова честнаго, но простоватаго Басманова: „А вы кого противъ меня пошлете? не казака ль Карелу? или Мнишка? Да много ль васъ? Всего-то тысячь восемь!“ —

Ошибся ты: и тѣхъ не наберешь.

Я самъ скажу, что войско наше дрянъ,

Что казаки лишь только села грабятъ,

А поляки лишь хвастаютъ да пьютъ,

А русскіе... да что и говорить?

Передъ тобой не стану я лукавить;

*Но знаешь ли, чѣмъ мы сильны, Басмановъ?*

*Не войскомъ, нѣтъ, не польскою помоюй,*

*А мнѣніемъ—да, мнѣніемъ народнымъ.*

*Димитрія ты помнишь торжество*

*И мирныя его завоеванья,*

*Когда вездѣ безъ выстрѣла ему*

*Послушныя сдавались города,*

*А воеводѣ упрямыхъ чернь вязала?*

*Ты видѣлъ самъ: охотно ль ваши рати*

*Сражались съ нимъ? (XXII).;*

И Басмановъ, чувствуя свое безсиліе передъ тѣнью, за которую народное мнѣніе, вполне соглашается съ Пушкинымъ:

Онъ правъ, онъ правъ: вездѣ измѣна зрѣеть.

Что дѣлать мнѣ? Ужели буду ждать,

Чтобъ и меня бунтовщики связали

И выдали Отрепьеву? *Не лучше ль*

*Предупредить разрывъ потока бурный  
И самому... (XXII).*

Здѣсь въ повѣствовательной формѣ описывается ходъ историческаго дѣйствія драмы и точно указывается его виновникъ: исторію въ „Борисѣ Годуновѣ“ дѣлаетъ не единичная личность, а весь народъ.

И въ этомъ выдвиганіи на передній планъ народа, какъ фактическаго двигателя исторіи, получаетъ объясненіе квіетическій характеръ трагедіи. То, что Бѣлинскій называетъ драматизмомъ, не могло, понятно, найти себѣ мѣсто тамъ, гдѣ героемъ дѣйствія является не отдѣльное лицо, но народная масса: вѣдь, эта послѣдняя не можетъ, разумѣется, сдѣлаться субъектомъ драматическаго движенія пьесы.

А вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшается отчасти и вопросъ о шекспиризмѣ Пушкина. Заимствовавъ у него многое въ художественномъ построеніи пьесы и въ изображеніи отдѣльныхъ типовъ, русскій поэтъ почти совсѣмъ свободенъ отъ особенностей шекспировскаго историзма. У Шекспира нѣтъ ни одной исторической драмы, въ которой народъ игралъ бы такую рѣшающую роль въ развитіи исторической интриги произведенія. Исторію у него дѣлаютъ короли, принцы и герои, одерживающіе блистательныя побѣды или организующіе коварныя заговоры. Народъ же фигурируетъ у него развѣ въ качествѣ *клаки*, апплодирующей удачнику и, во всякомъ случаѣ, относится къ обстановкѣ пьесы; благодаря этому, все дѣйствіе драмы концентрируется на ея герояхъ, чѣмъ усиливается драматическій эффектъ цѣлаго.

Итакъ, исторію въ „Борисѣ Годуновѣ“ дѣлаетъ самъ народъ. Дальнѣйшій анализъ долженъ отвѣтить на два вопроса: во имя чего онъ ее дѣлаетъ, т. е. каковы цѣли народнаго движенія, и какъ онъ ее дѣлаетъ т. е., каковъ характеръ народнаго движенія.

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, необходимо прежде всего установить, какъ ставилась Пушкинымъ проблема несчастнаго царствованія Бориса?

Традиційное мнѣніе, разрушенное, впрочемъ, еще въ 1892 г. Н. П. Ждановымъ, указывало обычно на рабскую зависимость Пушкина отъ Карамзина. Какъ же представлялъ себѣ рѣшеніе этой проблемы знаменитый историкъ? „Въ основѣ карамзинской схемы лежало объясненіе хода исторіи изъ личныхъ приемовъ княжеской тактики. Воля князей повергла Россію въ пучину гибели и та же воля вознесла ее на верхъ благополучія. Изъ этого основного принципа съ логической послѣдовательностью развивалась цѣлая система русской исторіи“<sup>1)</sup>. Къ этой формулѣ П. Н. Милюкова можно добавить слѣдующее: но надъ волей князей стояла воля Провидѣнія, которая карала и ихъ и черезъ нихъ весь народъ. Воля Всевышняго ограничивала мощь князей: грѣшникъ не могъ быть царемъ и княземъ, потому что гнѣвъ Господень тотчасъ обрушивался на него.

Это же заданіе было положено въ основу изображенія Борисова царствованія. Излагая избраніе Годунова на царствованіе, историкъ восклицаетъ: „Премѣнилось только имя царя: власть державная оставалась въ рукахъ того, кто уже давно имѣлъ оную и властвовалъ счастливо для цѣлости государства, для внутренняго устройства, для внѣшней чести и безопасности Россіи!

Казалось, что мудрость человѣческая сдѣлала все возможное для твердаго союза между Государемъ и Государствомъ; но сей человѣческой мудростью надѣленный правитель достигъ престола злодѣйствомъ. Казнь небесная угрожала царю преступнику и царству несчастному“.

Такова постановка вопроса у Карамзина: какъ бы ни былъ мудръ, расчетливъ, прекрасенъ, какъ правитель, Борисъ—все равно: *онъ осужденъ Небомъ и въ Гришкѣ Отрепьевѣ Провидѣніе посылаетъ ему возмездіе*<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> П. Н. Милюковъ, „Главныя теченія русск. ист. мысли“, стр. (изд. 1-е).

<sup>2)</sup> „Ист. Госуд. Россійскаго“, т. X, 141; т. XI, 121; см. еще т. X, стр. 7—8, 43—44, 75—77, 93—94, 127—128, 130 и слѣд.

Пушкинъ принимаетъ эту схему формально, но вкладываетъ въ нее нѣсколько иное содержаніе. Онъ старается объяснить несчастье Борисова царствованія, не апеллируя къ небу. Если Карамзинъ толкуетъ о „Божьемъ судѣ“, то для Пушкина все дѣло въ „судѣ мірскомъ“:

О, страшное, невиданное горе!  
Прогнѣвали мы Бога, согрѣшили:  
Владыкою себѣ цареубійцу  
Мы нарекли—(V)

говорить Пименъ и въ этихъ словахъ выражаетъ „народное мнѣніе“. Движеніе народа направлено къ осуществленію высшей справедливости, къ возстановленію поправнаго права и наказанію грѣшника. Тѣнь Димитрія, законнаго царя, пострадавшаго отъ Бориса, вопіетъ къ народу, и народъ единодушно откликается на ея призывъ. Онъ былъ равнодушенъ къ благодѣянію, онъ презрѣлъ свою пользу, но онъ, какъ одинъ человѣкъ, поднялся на защиту правды.

Въ глубокой тишинѣ монастырской кельи, въ бесѣдахъ съ Пименомъ, обдумываетъ свои планы и принимаетъ окончательныя рѣшенія чернецъ Григорій. Это великолѣпный символъ. Именно здѣсь, около Пимена, этого благороднаго представителя народной правды-истины, могла зародиться мысль о могуществѣ имени Димитрія, только здѣсь могло окрѣпнуть убѣжденіе въ неизбѣжность „мірскаго“ суда надъ Борисомъ, только тутъ могло возникнуть пониманіе того, что народъ легче увлечетъ красивой сказкой о правдѣ - истинѣ, чѣмъ снискать его расположеніе щедрыми посулами и прямыми благодѣяніями.

Чтобы понять смыслъ и цѣли народнаго движенія при Годуновѣ, не нужно создавать теоріи о царѣ-избранникѣ и царѣ-узурпаторѣ <sup>1)</sup>, и т. п. Цѣли эти уясняются гораздо проще изъ непосредственнаго содержанія драмы, изъ монолога Пимена, изъ завязки драматическаго дѣйствія, изъ рѣчей

---

<sup>1)</sup> Ср. И. Н. Ждановъ, „О др. Пушкина „Бор. Год.“ 1892 г., стр. 37.



дѣйствующихъ лицъ. То народное движеніе, которое описывается въ разсказѣ Пушкина о „мирныхъ завоеваніяхъ“, не требуетъ иного объясненія, кромѣ этического: оно совершалось во имя высшихъ этическихъ цѣлей, и потому Борисъ Годуновъ, несмотря на свой умъ, свои таланты государственнаго человѣка, ничего не могъ подѣлать противъ него.

Итакъ, народъ возстаетъ во имя правды. Теперь,—чтобы закончить анализъ роли народа, какъ скрытаго двигателя историческихъ событій драмы, намъ остается выяснитъ, какія формы принимало это движеніе. Отвѣтомъ будетъ анализъ проблемы самозванства.

Какъ извѣстно, самозванство особенно привлекало вниманіе Пушкина въ его историческихъ изысканіяхъ. Начавъ его изученіе въ „Борисъ Годуновъ“ съ фигуры Гришки Отрепьева, онъ продолжалъ заниматься имъ въ своей „Исторіи Пугачевского бунта“ и „Капитанской дочкѣ.“ Два прекраснѣйшихъ произведенія поэта въ реалистической манерѣ посвящены этому странному явленію. Какой же внутренней смыслъ имѣло это изученіе?

Историческая идеологія французскаго Просвѣщенія, отверженцемъ которой, какъ мы уже видѣли, былъ Пушкинъ въ молодые годы, учила не только о разумности цѣлей историческаго прогресса (въ частности, объ ихъ разумной полезности, но и о разумности тѣхъ путей, которыми они достигаются (соот. неразумности, если общество заблуждается). Она вѣрила, что люди не только стремятся къ разумнымъ идеаламъ, но и выбираютъ для этого самую кратчайшую и удобную дорогу. Она предполагала, на примѣръ, что разъ люди поймутъ всю полезность (=разумность) республики или атеизма, то они добьются ихъ реализаціи самымъ разумнымъ способомъ: религію уничтожатъ par acclamation, а республику воздвигнутъ съ наименьшими издержками и жертвами. Прямолинейность составляла характерную черту не только гильотины, но и самой революціонной идеологіи.

И вотъ этой-то прямолинейности въ фактѣ самозванства носился страшный ударъ. Въдь именно здѣсь рѣзче, чѣмъ гдѣ-либо, выступаетъ ирраціональность народнаго движенія, его причудливость и загадочность. И нѣтъ никакого сомнѣнія, что именно эта сторона въ исторіи Гришки Отрепьева или Пугачевского бунта особенно интересовала Пушкина.

Въ самомъ дѣлѣ: какъ бы ни формулировать цѣли и средства этихъ движеній, ихъ ирраціональность, запутанность и двусмысленность всякій разъ не подлежатъ никакому сомнѣнію.

Народъ совершаетъ „мірской судъ“ надъ царемъ Борисомъ, судъ, который ведется во имя высшей справедливости и истины (такова, по крайней мѣрѣ, постановка вопроса у Пимена). Но прямымъ результатомъ этого суда является торжество безстыдной отваги вѣтренаго авантюриста, убіеніе невинныхъ Борисовыхъ дѣтей, поляки въ Москвѣ. Судъ, правда, совершенъ или почти совершенъ (ему помѣшала неожиданная смерть Бориса), но средства самыя нелѣпыя, но можно перевернуть эту формулу и сказать такъ: ловкій молодецъ хотѣлъ устроить переворотъ въ свою пользу и совершилъ его при помощи народа. Но, чтобы привлечь народъ на свою сторону, ему пришлось укрыться за тѣнь Дмитрія, хотя, съ рационалистической точки зрѣнія, посулы соціальныхъ льготъ были бы дѣйствительнѣе. И въ то же время народъ, возводя Самозванца на престолъ, удовлетворяетъ своему нравственному чувству и восстанавливаетъ попранныю справедливость. Наконецъ, можно дать и третью версію того же факта, исходя изъ столь популярныхъ словъ Пушкина:

.... Попробуй самозванецъ  
Имъ посулить старинный Юрьевъ день,  
Такъ и пойдетъ потѣха. (IX).

Народъ недоволенъ соціально-экономическими условіями своего существованія и жаждетъ облегченія. Поэтому онъ и

волнуется; онъ пристаётъ къ Самозванцу во имя личныхъ интересовъ экономическаго порядка, но какъ-то странно хватается за тѣнь Дмитрія; результаты экономическаго движенія самые неожиданные: наказаніе Бориса и торжество проходимца.

Какую бы формулировку мы ни приняли, мы всюду наталкиваемся на полное несовпаденіе намѣренія съ исполненіемъ, съ одной стороны, и крайнюю причудливость въ выборѣ средствъ, съ другой. Чтобы осудить Бориса, народъ не встаетъ противъ него, а пользуется Самозванцемъ. Самозванецъ, чтобы достичь престола, не выставляетъ просто программы социальныхъ реформъ, которыя привлекли бы къ нему сочувствіе широкихъ массъ населенія, а прячется за „Дмитрія воскреснувшее имя“; угнетенные слои населенія не встаютъ прямо во имя улучшенія своей жизни, а волнуются яко бы ради возстановленія правды. Очевидно, что тѣ формы, въ которыя отливается народное движеніе, отнюдь не имѣютъ рациональнаго характера и, напротивъ, отличаются полной иррациональностью, какой-то двусмысленностью и непоследовательностью. Народъ стремится къ извѣстнымъ цѣлямъ, но пути, которыми онъ къ нимъ приближается, отнюдь не кратчайшіе и не самые простые, наоборотъ: онъ словно нарочно выбираетъ самую сложную и извилистую дорогу. Прямолинейность не принадлежитъ къ числу достоинствъ историческаго процесса, и въ каждое тактическое вычисленіе необходимо вводить огромную поправку на всякаго рода отклоненія и странности.

Такимъ образомъ, субъектомъ историческаго дѣйствія драмы является народъ, движеніе котораго иррационально по формѣ и направлено къ осуществленію высшихъ этическихъ цѣлей. Къ такому выводу приводитъ насъ анализъ драматическаго содержанія пьесы въ его специфическихъ особенностяхъ: эпической манерѣ изображенія и квіетическомъ характерѣ дѣйствія.

Но, благодаря этому, вся драма получает совершенно особый тонъ: въ ней снова звучить знакомый уже намъ „резонансъ древней трагедіи рока“. И царь, и Димитрій Самозванецъ, и тѣ остальные пройдохи и интриганы, въ сущности простыя пѣшки въ рукахъ судьбы, жалкія щепки, подхваченныя грознымъ потокомъ и образующія своимъ случайнымъ сцѣпленіемъ преграду, передъ которой волна на мгновение останавливается, чтобы затѣмъ съ новой силой разметать ихъ по разлившейся водѣ. Въ критической литературѣ много спорили о „геніальности“ Годунова и его промахахъ въ бѣдѣ. Строго говоря, вопросъ этотъ совершенно безразличенъ для развитія дѣйствія въ трагедіи. Геніаленъ Годуновъ или нѣтъ, дѣлалъ ли онъ ошибки или, напротивъ, сдѣлалъ все возможное для человѣка въ его положеніи—это ничего не измѣняетъ въ ситуаціяхъ пьесы. Годуновъ осужденъ заранѣе: ничто не можетъ ему помочь, всѣ побѣды его *тщетны*. Для Карамзина въ этомъ сказалась воля Провидѣнія, для Пушкина—приговоръ мірскаго суда. Съ того момента, какъ впервые прозвучало „Димитрія воскреснувшее имя“, судьба Годунова была рѣшена, и вся остальная драма—картина агоніи Борисовой. Эта неизбѣжность паденія царя-убійцы въ борьбѣ съ самозванцемъ прекрасно понимается всѣми дѣйствующими лицами. Мы уже цитировали слова Шуйскаго и Пушкина о „грозѣ великой“, таково же мнѣніе и злого Чернеца въ не вошедшей въ драму сценѣ: „*Дай мнѣ руку—будешь царь*“, также не сомнѣвается въ своей побѣдѣ и самъ Отрепьевъ:

Тѣнь Грознаго меня усыновила,

Димитріемъ изъ гроба нарекла,

Вокругъ меня народы возмутила

*И въ жертву мнѣ Бориса обрекла* (XIV).

И дѣйствительно: для Гришки Отрепьева Борисъ—жертва, но жертвой Самозванца онъ становится только потому, что осужденъ міромъ, потому, что „нельзя молиться за царя-ирода: Богородица не велитъ“. Противъ него не только

бывшій черноризецъ и боярская интрига, но и самъ народъ. И въ этомъ его несчастье: съ людьми Борисъ бы справился, какъ справлялся онъ съ ними не разъ, съ народомъ онъ справиться не можетъ, потому-что народное движеніе фатально и необходимо. Онъ, прошедшій чистымъ и невредимымъ сквозь угарные годы царствованія Грознаго, ловкій дипломатъ и интриганъ, побѣдоносно разрушавшій всѣ козни и замыслы отдѣльныхъ людей, противопоставленъ въ драмѣ не заговору единицъ, а стихійному роковому движенію, и въ этомъ противопоставленіи усилій и стремленій индивидуальной человѣческой воли могучему натиску народнаго моря-океана подлинный трагизмъ пьесы, рѣзко отличный отъ драматизма Шекспировской хроники, которая изобразила бы Бориса *только* въ его столкновеніи съ боярами и Самозванцемъ, и роднящій ее съ античной трагедіей.

Появленіе такого настроенія въ трагедіи, настроенія, оказавшагося сильнѣе самого автора и помѣшавшаго ему осуществить свои замыслы, послѣ всего сказаннаго выше, не можетъ показаться удивительнымъ: оно тѣсно связано съ трагическими настроеніями „Цыганъ“ и является естественнымъ ихъ развитіемъ. Тамъ дерзкія эгоистическія думы и стремленія Алеко противопоставлялись стихійной роковой страсти, индивидуализировавшейся въ Земфирѣ, здѣсь тѣ же самые помыслы противопоставлены стихійному, роковому движенію народа. Тамъ хоръ бездѣйствовалъ: воля судебъ проявлялась только въ дѣятельности отдѣльной личности, здѣсь хоръ пришелъ въ движеніе, и надъиндивидуальная необходимость обнаружилась въ самомъ историческомъ процессѣ; тамъ судьба была, такъ сказать, трансцендентной, господствующей *надъ* событіемъ, слѣпой бессмысленной силой, тутъ она сдѣлалась имманентной самому процессу жизни, превратилась въ цѣлесообразную необходимость историческаго развитія. „Цыганы“ были попыткой особаго, трагическаго созерцанія жизни личности. „Борисъ Годуновъ“ является попыткой такого

же созерцанія исторіи. Выборъ Борисова царствованія не случаенъ: именно Годуновъ является наиболее трагической фигурой Карамзинской исторіи, героемъ, которому приходится бороться съ рокомъ: съ могучей народной стихіей. Не квіетизмъ и эпизмъ русской исторіи парализовали драматической размахъ Пушкина, но фаталистическое настроеніе, овладѣвшее поэтомъ въ пору созданія трагедіи, заставило его остановить свой выборъ на томъ историческомъ моментѣ, гдѣ стихійное движеніе народа обрисовывается съ особенной отчетливостью. Когда поэтъ предпринялъ свой „подвигъ“, образъ яркой и смѣлой личности, свободно преобразующей жизнь, уже успѣлъ потускнѣть въ его сознаніи, и онъ изобразилъ героя, заранѣе обреченнаго гибели всемогущей судьбой, выступающей въ формѣ стихійнаго народнаго движенія.

Но сходство между „Цыганами“ и „Годуновымъ“ не ограничивается близкимъ родствомъ общихъ настроеній произведеній, а можетъ быть наблюдаемо и въ частныхъ антитезахъ; тамъ мы имѣемъ рядъ: Алеко—роковая страсть Земфиры—эпическое смиренномудріе Старога Цыгана; здѣсь: царь Борисъ—стихійное движеніе народа—исторической объективизмъ Пимена.

Въ лицѣ Алеко роковому теченію событій противопоставлялось эгоистическое міровоззрѣніе, въ лицѣ Бориса Годунова—раціоналистическая исторіософія французскаго Просвѣщенія. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно разобрать взгляды и настроеніе Годунова. Царь Борисъ слишкомъ уменъ, чтобы не понять ничтожества и случайности самого Григорія Отрепьева. На всемъ протяженіи драмы мы не встрѣтимъ у него иныхъ отзывовъ о Самозванцѣ, кромѣ презрительныхъ, потому что онъ отлично сознаетъ, что Отрепьевъ—простая пѣшка въ рукахъ судьбы, случайный поводъ для стихійнаго народнаго подъема. Но тѣмъ сильнѣе его чувства по адресу народа и тѣмъ яснѣе онъ ихъ выражаетъ:

... Я думалъ свой народъ  
Въ довольствіи, во славъ успокоить,  
Щедротами любовь его снискать,—  
Но отложилъ пустое попеченье:  
Живая власть для черни ненавистна,  
Они любить умѣютъ только мертвыхъ.  
Безумны мы, когда народный плескъ  
Иль ярый вопль тревожитъ сердце наше.  
Богъ насылалъ на землю нашу гладь;  
Народъ завывалъ, въ мученьяхъ погибая;  
Я отворилъ имъ житницы; я злато  
Разсыпалъ имъ; я имъ сыскалъ работы:  
Они жъ меня, бѣснуясь, проклинали!  
Пожарный огонь ихъ дома истребилъ,—  
Я выстроилъ имъ новыя жилища:  
Они жъ меня пожаромъ упрекали.  
Вотъ черни судъ: ищи-жь ея любви (VII).  
Нѣтъ, милости не чувствуетъ народъ:  
Твори добро—не скажетъ онъ спасибо,  
Грабь и казни—тебѣ не будетъ хуже (XXI).

Въ этомъ мнѣніи его поддерживаютъ отчасти искренне, отчасти по угодливости и окружающіе бояре, напримѣръ, Шуйскій, который, несомнѣнно, говоритъ не совсѣмъ то, что думаетъ:

Конечно, царь, сильна твоя держава;  
Ты милостью, радѣньемъ и щедротой  
Усыновилъ сердца своихъ рабовъ;  
*Но знаешь самъ: бессмысленная чернь  
Измѣнчива, мятежна, суетверна,  
Легко пустой надеждѣ предана,  
Миновенному вѣльнїю послушна,  
Для истины глуха и равнодушна,  
А баснями питается она;  
Ей нравится безстыдная отвага...*

Такъ, если сей невѣдомый бродяга  
Литовскую границу перейдетъ,—  
Къ нему толпу безумцевъ привлечетъ  
Димитрія воскреснувшее имя (X).

Въ этихъ высказываніяхъ и особенно въ монологѣ царя  
Бориса не трудно узнать воззрѣнія и настроенія Святеля и  
Вадима:

Борисъ Годуновъ:

Я думалъ свой народъ  
Въ довольствіи, во славѣ успокоить,  
Щедротами любовь его снискать.  
Но отложилъ пустое попеченье:  
Нѣтъ, милости не чувствуетъ народъ.

Святель (1823 г.):

Рукою чистой и безвинной  
Въ порабощенныя бразды  
Бросалъ живительное сѣмя,  
Но потерялъ я только время,  
Благія мысли и труды.

Вадимъ (1822 г.):

Безумные! давно ль они въ глазахъ моихъ  
Встрѣчали торжествомъ властителей чужихъ  
И вольныя главы подъ иго преклоняли?..  
Теперь зовутъ меня, а завтра, можетъ, вновь...  
Невѣрна ихъ вражда, невѣрна ихъ любовь.

Шуйскій:

Безмысленная чернь  
Измѣнчива, мятежна, суевѣрна,  
Легко пустой надеждѣ предана,  
Для истины глуха и равнодушна,  
Мгновенному велѣнію послушна и т. д.

И изъ этихъ горькихъ размышленій послѣдовательно дѣ-  
лаются соотвѣтствующіе выводы:



Борись Годуновъ:

Лишь строгостью мы можемъ неусыпной  
Сдержатъ народъ. Такъ думалъ Іоаннъ,  
Смиритель бурь, разумный самодержецъ,  
Такъ думалъ и его свирѣпый внукъ.

Сѣятель:

Къ чему стадамъ дары свободы?  
Ихъ нужно рѣзать или стричь;  
Наслѣдство ихъ изъ рода въ роды  
Ярмо съ гремящими да бичи!

Основной тонъ всѣхъ этихъ рѣчей—одинъ и тотъ же: рационалистическое разочарованіе въ народѣ. Герой предполагалъ въ народныхъ массахъ разумное сознание своей пользы и рассчитывалъ приобрести его благосклонность всякаго рода щедротами и облегченіями. Стихійному народному движенію онъ приписывалъ опредѣленно утилитарныя цѣли, въ проявленіяхъ народныхъ симпатій и антипатій онъ видѣлъ актъ разумнаго расчета и свободнаго осознанія фактовъ, и, согласно съ такими воззрѣніями, съ своей стороны стремился, по крайней мѣрѣ, хотъ официально демонстрировать свою заботливость объ общемъ благѣ. И, конечно, герой ошибся въ своихъ расчетахъ: подарками и милостями народа къ себѣ не привлечешь, точно такъ же, какъ и стремленіемъ къ общепользнымъ цѣлямъ, потому что стихійное народное движеніе не совершается по разумнымъ путямъ къ полезнымъ преобразованіямъ жизни, а реализуетъ высшій, сверхъ-полезныя цѣнности.

Отсюда систематическое непониманіе народа и постоянное раздраженіе на него. Народъ отказывается или слишкомъ небрежно относится къ царскимъ копеечкамъ, потому что, по его мнѣнію, раздѣляемому и образованнѣйшимъ Пименомъ и блаженнымъ Николкой, Богородица не велитъ молиться за царя-ирода. А царь Борись обвиняетъ народъ въ черной неблагодарности и полной испорченности, такъ

какъ предполагаетъ, что разумное накопленіе копеечекъ — высшая добродѣтель поведенія и высшая цѣль существованія кѣждаго добронравнаго и благовоспитаннаго народа.

Но неуспѣхъ заботливо обдуманной тактики тѣмъ чувствительнѣе для царя Бориса, что съ тѣмъ или инымъ результатомъ его дѣятельности тѣсно связана его собственная судьба. Сѣятель не былъ лично заинтересованъ во всякихъ соціальныхъ реформахъ и боролся безкорыстно, ради блага людей вообще; извѣдавъ неблагодарность и безуміе народа, онъ могъ свободно отойти въ сторону и заняться своими собственными дѣлами. Для Бориса такой выходъ изъ затруднительнаго положенія невозможенъ, такъ какъ онъ слишкомъ много потерялъ бы при этомъ. Поэтому его созерцаніе историческаго процесса не только антропоцентрично, но и субъективно въ самомъ дурномъ смыслѣ этого слова; его оцѣнки народной жизни опираются не на объективныя, выведенныя изъ безпристрастнаго наблюденія надъ совершающимся критеріи, но на корыстные расчеты и планы. Свои интересы онъ ставитъ въ центръ всего историческаго быванія и съ этой точки зрѣнія оцѣниваетъ современныя ему событія, не стараясь постичь ихъ внутренней цѣлесообразности и необходимости; не постигая высшей цѣнности идеаловъ историческаго процесса и его ирраціональности, раздражаясь на внѣшнее безсмысліе народныхъ дѣяній, царь Борисъ, со своимъ утилитарно-раціоналистическимъ міровоззрѣніемъ, пытается противодѣйствовать фатальному массовому движенію и, заранѣе обреченный на неудачу, гибнетъ въ начинающейся смутѣ, увлекая за собой своихъ ни въ чемъ неповинныхъ дѣтей.

Такова антитеза: съ одной стороны—народъ, возставшій во имя правды,—съ другой, личность, разочаровавшаяся въ этомъ народѣ, не понимающая ни цѣлей, ни законовъ его движенія, усматривающая въ его дѣяніяхъ одно безуміе, неблагодарность, дерзость и т. д.

Каково же значеніе этой антитезы для самого Пушкина, какіе теоретическіе выводы онъ изъ нея сдѣлалъ, каково, иными словами, его собственное мнѣніе о народѣ и его исторіи? Вопросъ этотъ тѣмъ болѣе важень, что мнѣніе Бориса и Шуйскаго о народѣ какъ будто подтверждается *художественнымъ изображеніемъ толпы* въ отдѣльныхъ сценахъ трагедіи, и особенно въ заключительной <sup>1)</sup>).

Дѣло въ томъ, что, говоря о народѣ, какъ о настоящемъ героѣ историческаго дѣйствія драмы, мы имѣли въ виду не тотъ народъ, который непосредственно участвуетъ въ драмѣ, т. е. фигурируетъ на подмосткахъ сцены произведенія, но о томъ, о которомъ можно узнать только изъ устъ дѣйствующихъ лицъ, изъ монологовъ Пушкина, Шуйскаго, Пимена и пр. А, между тѣмъ, обѣ эти характеристики народа существенно разнятся другъ отъ друга: въ то время, какъ народъ повѣствованія имѣетъ вполне опредѣленное „мнѣніе“ и выступаетъ въ трагедіи какъ могучая, непреодолимая сила, направленная къ реализаціи „суда“ надъ Борисомъ,—народъ сцены (въ чемъ легко убѣдиться, пробѣжавъ XI, XXIII и XXIV сц. трагедіи) изображенъ какъ бессмысленное и дикое стадо, идущее туда, куда его толкаютъ и вполне оправдывающее презрительныя слова Шуйскаго. Благодаря этому, не только затемняется смыслъ антитезы и уменьшается напряженность трагизма произведенія, но и создается такое впечатлѣніе, словно въ драмѣ, а, слѣдовательно, и въ сознаніи Пушкина, существовало два представленія о народѣ, или, вѣрнѣе, представленіе о двухъ различныхъ народахъ: о народѣ, выразителемъ котораго является Пимень, и народѣ, характеристика котораго дана въ рѣчахъ Годунова, такъ что оба окончанія пьесы: „народъ безмолвствуетъ“ и „народъ кричитъ: „Да здравствуетъ царь Димитрій Ивановичь!“

<sup>1)</sup> Этотъ фактъ далъ возможность покойному Павлову-Сильванскому говорить о тождествѣ взглядовъ Пушкина и Бор. Годунова.

одинаково возможны и выражают собою лишь то противорѣчіе, какое проходитъ черезъ всю драму. Какъ же, однако, объяснить это странное сожительство двухъ, повидимому, противорѣчивыхъ мнѣній въ душѣ поэта? Намъ лично думается, что противорѣчія тутъ никакого нѣтъ, и оба взгляда всего-на-всего дополняютъ другъ друга: Пушкинъ въ силу своей огромной художественной интуиціи совершенно правильно воспринялъ фактическую противоположность „народа“ и „толпы“, но не сумѣлъ съ достаточной ясностью формулировать ее теоретически.

Народъ, какъ субъектъ историческаго процесса, народъ, какъ создатель системы объективныхъ цѣнностей, т. е. національной культуры, народъ, какъ носитель „мнѣнія“ и верховный судія (а мы увидимъ, что взрослый Пушкинъ не рѣдко апеллировалъ къ будущему суду народа на сужденія современной ему черни),—такой народъ не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ безформеннымъ скопленіемъ людей, которое населяетъ города и деревни опредѣленной территоріи. Въ первомъ случаѣ понятіе народа сводится къ понятію идеальной могучей силы, которая творитъ исторію и направлена на осуществленіе высшихъ цѣлей, во второмъ мы имѣемъ дѣло съ извѣстной суммой индивидуальныхъ волей, которая, правда, образуетъ нѣкоторое высшее психологическое единство—психологію толпы, но не имѣетъ этическаго опредѣленія. Народъ обнаруживаетъ себя только въ историческомъ процессѣ; представленіе о немъ дано исключительно въ историческомъ созерцаніи, а дефиниція его—въ системѣ историческаго познанія. Въ этомъ смыслѣ понятіе „народъ“ есть нѣчто искусственное и отвлеченное; оно возникаетъ только при наличности вполнѣ опредѣленныхъ познавательныхъ условий, при изученіи соціальной жизни въ исторической перспективѣ, и его необходимость обосновывается критически, т. е. изъ особенностей той формы мышленія, къ которой оно относится. Въ непосредственномъ воспріятіи представленіе „народъ“

не можетъ имѣть мѣста, и его замѣняетъ представленіе о толпѣ, съ ея своеобразной психологіей.

Но, разъ народъ не можетъ быть данъ въ прямомъ воспріятіи, то онъ не можетъ сдѣлаться и непосредственнымъ объектомъ художественнаго творчества, не можетъ быть воспроизведено въ объективномъ, наглядномъ образѣ, т. е. не можетъ стать субъектомъ драматическаго дѣйствія. Художественное возсозданіе народа возможно только въ повѣствованіи, объектомъ котораго является не непосредственно какое-нибудь массовое движеніе, но особая историческая форма созерцанія этого движенія. Поскольку же рѣчь идетъ о воспроизведеніи данныхъ непосредственнаго опыта, того, что видить и наблюдаетъ обыденное сознаніе, художникъ, если только онъ правдивъ и искрененъ, не можетъ изобразить ничего иного, кромѣ толпы, „простонародныхъ сценъ“ (по выраженію самого Пушкина).

Этотъ фактъ въ реалистическомъ творествѣ можетъ быть наблюдаемъ повсемѣстно.

Трудно, напримѣръ, заподозрить Л. Толстого въ пренебрежительномъ отношеніи къ народу, а, между тѣмъ, тѣ сцены „Войны и мира“, гдѣ соціальное движеніе изображено непосредственно въ драматизированномъ изложеніи, по своему грубому и площадному характеру ничуть не уступаютъ рисунку площадной жизни въ „Борисѣ Годуновѣ“. Сюда относятся прежде всего знаменитая сцена убійства Верещагина и крестьянскій бунтъ въ Богучаровѣ. И тутъ и тамъ на подмостки произведенія выведена та же бессмысленная и тупая чернь, которая фигурируетъ въ драмѣ Пушкина. Но, конечно, эти безотрадныя картины не имѣютъ никакого отношенія къ тому стихійному народному движенію, изображенію котораго посвящена историческая часть романа; представленіе объ этомъ послѣднемъ дано въ эпопеѣ не въ формѣ драматическихъ характеристикъ, а въ формѣ описательнаго повѣствованія. Чтобы изобразить народъ, Толстому пришлось исполь-

зовать не только всѣ поэтическія средства, вплоть до символизации, но и обратиться къ чисто-прозаическому изложенію цѣлой системы взглядовъ.

Аналогичное явленіе имѣетъ мѣсто и въ „Борисѣ Годуновѣ“. Народныя сцены трагедіи ничего не говорятъ объ отношеніи къ народу самого автора. Ихъ характеръ объясняется требованіями правды и точности реалистическаго творчества и вытекаетъ изъ основаній эстетическаго порядка.

Если бы Пушкинъ приписалъ толпѣ—а только *толпу* онъ и могъ вывести *на сцену* своей трагедіи,—тѣ качества, которыя принадлежатъ *народу*, то онъ согрѣшилъ бы противъ исторической дѣйствительности, и вся его пьеса утратила бы свою искренность и правдивость и получила бы натянутый и искусственный характеръ. Самъ поэтъ отлично понималъ это, замѣчая о „Борисѣ Годуновѣ“: въ немъ „есть шутки грубыя, сцены простонародныя. Поэту не должно быть площаднымъ изъ доброй воли, если можетъ избѣжать ихъ; если же нѣтъ, то ему нѣтъ нужды замѣнять ихъ чѣмъ-нибудь инымъ“. (III, 254). Слѣдуя этому принципу, Пушкинъ и изображалъ толпу такъ, какъ если бы онъ въ качествѣ сторонняго чловека воочію наблюдалъ ея движенія. Поэтому-то въ картинахъ жизни площади у него преобладаютъ мотивы бессмысленности, легкомыслія и переменчивости, что вполне соответствуетъ фактическому положенію вещей; онъ изображаетъ толпу такой, какой она есть на самомъ дѣлѣ, то жестокой и нелѣпой, то полной тревожнаго ожиданія и единодушнаго осужденія (XVIII сц., изображающая выходъ царя изъ церкви, полная сосредоточеннаго и вполне опредѣленнаго, устойчиваго настроенія, гдѣ поэтъ гениально использовалъ образъ юродиваго).

Такимъ образомъ, судить о воззрѣніяхъ поэта на народъ по сценическому изображенію толпы, выдержанному при томъ въ великолѣпныхъ реалистическихъ тонахъ, не представляется, на нашъ взглядъ, никакой возможности: эти мас-

совыя сцены могуць быць связаны съ самыи различными точками зрѣнія и сами по себѣ ничего не говорятъ ни за, ни противъ какой-нибудь изъ нихъ. Напротивъ, та характеристика народа и его роли въ развитіи историческаго процесса, которая составляетъ задній фонъ пьесы и обнаруживается лишь въ рѣчахъ дѣйствующихъ лицъ, скорѣе можетъ служить для выясненія историческаго міровоззрѣнія автора, особенно если въ произведеніи можно констатировать наличность соотвѣтствующаго ей историческаго созерцанія.

Въ „Борисѣ Годуновѣ“ эта новая форма историческаго переживанія дана въ міровоззрѣніи Пимена, и намъ, слѣдовательно, предстоитъ сейчасъ проанализировать этотъ образъ и найти доказательства его субъективности.

Пимень является третьимъ лицомъ противопоставленія: царь Борисъ — народъ. Съ этой точки зрѣнія онъ даетъ полную аналогію Старому Цыгану: подобно тому, какъ міровоззрѣніе послѣдняго является теоретическимъ комментариемъ къ роковой страсти Земфиры, точно такъ же и идеологія лѣтописца комментируетъ стихійное народное движеніе трагедіи. Въ поэмѣ Старый Цыганъ служитъ представителемъ безмолвствующаго хора, — въ „Борисѣ Годуновѣ“ Пимень олицетворяетъ „мнѣніе“ народной стихіи. Его дѣйствительное значеніе для цѣлаго драмы далеко не покрывается фактической ролью на сценѣ; появляясь на минуту въ моментъ экспозиціи и занимая вниманіе зрителя на протяженіи всего одного изъ двадцати четырехъ дѣйствій трагедіи, онъ въ то же время освѣщаетъ все произведеніе, придаетъ ему особый величаво-спокойный колоритъ и бросаетъ длинную тѣнь на всѣхъ дѣйствующихъ лицъ. Бѣжить ли окаянный рабъ Гришка Отрепьевъ за границу Литовскую, мучится ли царь Борисъ угрызеніями совѣсти или повелѣваетъ въ совѣтѣ, интригуетъ ли Шуйскій, развлекается ли безпечный Самозванецъ, убиваютъ ли московскіе граждане Борисовыхъ щенковъ, всюду за ними вы чувствуете незримое присутствіе

мудраго старца, видите его спокойную, достойную фигуру и слышите величавый голосъ: „а за грѣхи, за темныя дѣянья“...

Выбросьте изъ драмы Марину или Шуйскаго, Курбскаго или Патріарха,—драма останется, ея настроенія, ея общій обликъ будутъ прежними; выбросьте Пимена,—и „Борисъ Годуновъ“ перестанетъ быть тѣмъ, что онъ есть и чѣмъ долженъ быть: „комедіей о настоящей бѣдѣ Московскому государству, о Царѣ Борисѣ и Гришкѣ Отрепьевѣ“ и превратится въ жалкое подобіе Шекспировой хроники. Пимень не только дѣйствующее лицо драмы, но и глубокой и прекрасный символъ: выходя изъ рамокъ реального дѣйствія пьесы, обладая огромной цѣнностью и помимо той роли, какая отведена ему въ интригѣ, онъ утрачиваетъ свой реалистическій обликъ и становится символической фигурой, представляющей особая формы созерцанія исторической жизни, даннаго въ цѣломъ произведенія и строго соответствующаго объективному художественному изображенію затронутыхъ въ немъ событій. Сущность этого новаго міросозерцанія можно выразить въ нѣсколькихъ словахъ: фатализмъ, объективизмъ и вѣра въ конечную этичность исторіи.

Развитіе историческаго дѣйствія въ пьесѣ отмѣчено печатью роковой необходимости, противъ которой безсильна индивидуальная воля. Такъ и понимается оно Пименомъ. Лѣтописецъ далекъ отъ того, чтобы видѣть въ исторіи дѣянія свободныхъ личностей. Историческія событія не распыляются въ его воображеніи на тысячи и тысячи отдѣльныхъ чловѣческихъ поступковъ, но сливаются въ единую величавую картину, объемлющую:

Войну и миръ, управу государей,

Угодниковъ святыя чудеса,

Пророчества и знаменья небесны,—

картину, которая сама „проходитъ“ мимо, а не движется индивидуальными усиліями:



Минувшее проходить предо мною...

Давно ль оно неслось, событій полно,

Волнуясь какъ море-окіянь?

Теперь оно спокойно и безмолвно.

Въ воспоминаніи прошлое рисуется могучимъ моремъ-окіяномъ, въ пучинахъ котораго тонуть отдѣльные лица и поступки; тутъ *post factum* постигнута фатальная неизбежность всего совершающагося и безсиліе стремленій людей, уносимыхъ потокомъ времени. Въ „Цыганахъ“ Старикъ сравниваетъ стихійную страсть Земфиры съ движеніями блѣдной луны, тутъ для процесса жизни вообще подысканъ соответствующій образъ великаго моря, съ его колоссальной мощью и величавымъ спокойствіемъ, съ его вѣчнымъ прибоемъ и неизмѣнными приливами и отливами. И въ поэмѣ и въ трагедіи жизнь сравнивается съ явленіями природы, превращается въ феноменъ космическаго, а не частно-человѣческаго порядка и, соответственно этому, надѣляется сверхъиндивидуальной необходимостью и силой, которымъ остается покоряться. Мотивъ покорности также силенъ въ воззрѣніяхъ лѣтописца, какъ въ воззрѣніяхъ Старика. Онъ смиренно склоняетъ голову передъ волей Провидѣнія, проявляющейся въ исторіи, и не находитъ въ себѣ силъ для бунтарскихъ выходовъ и вообще протеста. Но въ то время, какъ Старый Цыганъ исповѣдуетъ слѣпое подчиненіе бессмысленному случаю, покорность Пимена обосновывается этически и религиозно; его христіанствомъ и вѣрой въ конечное торжество христіанской правды въ исторіи. Онъ убѣжденъ, точно такъ же, какъ и Самозванецъ, что

Не уйдетъ злодѣйство отъ суда,

*И на землю, какъ въ вышнихъ передъ Богомъ.*

(Вариантъ, III, 633.)

Историческій процессъ не только фатально-необходимъ, но и реализуетъ въ своемъ развитіи этическія цѣнности; это признаніе открываетъ новыя перспективы въ конфликтѣ лич-

ности съ соціальной средой, указывая на возможность этического пріятія фатальной эволюціи общества. Слепое подчиненіе переходитъ въ сознательное примиреніе съ человѣческимъ цѣлымъ, и въ этомъ отношеніи лѣтописецъ представляетъ гораздо болѣе высокую ступень сознанія, чѣмъ Старый Цыгань.

Но цѣли, опредѣляющія направленіе историческаго развитія, носятъ въ этой идеологіи совсѣмъ иной характеръ, чѣмъ тѣ, которыя могъ приписывать ему Святель или Борисъ Годуновъ. Тамъ господствовало убѣжденіе въ безусловномъ значеніи полезнаго и конечной цѣлью прогресса объявлялось всеобщее блаженство, здѣсь, напротивъ, утилитарные критеріи потеряли всякую силу и на передній планъ были выдвинуты абсолютныя цѣнности. Тамъ, иными словами, созерцаніе жизни было эгоцентрическимъ и, въ лучшемъ случаѣ, антропоцентрическимъ, здѣсь стихійная цѣлесообразность историческаго процесса была постигнута въ ея объективномъ значеніи. Сознвая роковую неизбѣжность событій, Старый Цыгань могъ подняться до безпристрастнаго и спокойнаго анализа событій, но объективный смыслъ совершающагося оставался непонятенъ ему, такъ какъ онъ вѣрилъ, что счастье человѣка и людей, высшая, хотя и недостижимая, цѣнность; Пимень, съ его религіознымъ идеализмомъ, напротивъ, былъ чрезвычайно близокъ къ полному объективизму этическихъ критеріевъ, почему ему и открылась возможность понять безотносительную къ человѣку, объективную темологию исторіи. Онъ объективенъ не только въ томъ смыслѣ, что не возбуждается лицепріятными чувствами при описаніи событій, но и въ томъ, что, отринувъ антропоцентрическіе критеріи, вѣритъ въ объективно идеалистическую цѣлесообразность историческаго развитія. Онъ, дѣйствительно, достигъ того момента, „когда все земное перестало быть для него занимательнымъ“, когда онъ въ состояніи отречься не только отъ выраженія личныхъ чувствъ, но и отъ человѣческой мѣры вообще, и приобрѣсти

тотъ смиренно-величавый, чуждый всему злободневному ду-ховный обликъ, который такъ восхищаетъ Григорія:

Какъ я люблю его спокойный видъ,  
Когда душой въ минувшемъ погруженный  
Онъ лѣтопись свою ведетъ...  
Ни на челъ его высокомъ, ни во взорахъ  
Нельзя прочесть его сокрытыхъ думъ:  
Все тотъ же видъ смиренно-величавый...  
Такъ точно дьякъ, въ приказахъ посѣдѣлый,  
Спокойно зрить на правыхъ и виновныхъ,  
Добру и злу внимая равнодушно...

Такимъ образомъ историзму художественнаго произведе-нія, анализъ котораго былъ данъ выше, строго соотвѣтствуетъ историческое міровоззрѣніе одного изъ дѣйствующихъ лицъ; царю Борису и остальнымъ противопоставлено въ трагедіи не только стихійное народное движеніе, но и опредѣленная идеологія. Отсюда и возникаетъ символичность Пимена: въ этомъ образѣ концентрируется и окончательно раскрывается общее настроеніе произведенія, развивающее темы „Цыганъ“.

Но значеніе образа лѣтописца простирается гораздо дальше: можно найти данныя, неопровержимо свидѣтельствующія о томъ, что Пушкинъ самъ стремился достичь высотъ пименовскаго созерцанія жизни и изображать историческую дѣйствительность подъ этимъ угломъ зрѣнія. Объ этомъ прежде всего говорятъ нѣкоторые аксессуары внѣшней формы трагедіи: распространенное названіе пьесы и ея многозначительный конецъ. Въ замѣткахъ, касающихся „Бориса Годунова“, мы встрѣчаемъ такой проектъ заглавія: „Комедія о настоящей бѣдѣ Московскому Государству, о царѣ Борисѣ и Гришкѣ Отрепьевѣ. Писаль рабъ Божій Александръ, сынъ Сергѣевъ, Пушкинъ, въ лѣто 7333, на городищѣ Вороничѣ“. Въ другомъ вариантѣ въ это заглавіе вставлены еще многозначительныя слова: „*лѣтопись о многихъ мяте-жахъ*“. Тутъ, пожалуй, можно увидѣть шутку, легкую ри-

совку, но что это гораздо болѣе, чѣмъ кокетничанье, объ этомъ говорить серьезный *конецъ* произведенія <sup>1)</sup>. „Конецъ комедіи, въ ней же первая персона царь Борисъ Годуновъ. *Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь*“. Послѣднія слова, какъ бы логически вытекающія изъ всего міровоззрѣнія Пимена, ясно обнаруживаютъ въ поэтѣ стремленіе пережить самому и заставить пережить другихъ отрывокъ исторіи въ формахъ лѣтописнаго созерцанія. Ему хочется взглянуть на исторію глазами Пимена; историческому изображенію онъ учится не только у Шекспира или Скотта, но и у древнихъ русскихъ хронистовъ, произведенія которыхъ были ему довольно хорошо знакомы <sup>2)</sup>. Но, само собой разумѣется, что это стремленіе только отчасти увѣнчалось успѣхомъ: вполне отождествиться съ Пименомъ Пушкинъ, конечно, не былъ въ состояніи, такъ что, усваивая себѣ воззрѣнія лѣтописца, поэтъ бессознательно приписывалъ этому послѣднему свои собственныя переживанія, субъективировалъ историческій типъ, вкладывая въ него „нѣчто отъ Гердера“. Объ этой идеализаціи Пимена въ русской критикѣ говорилось не разъ, между прочимъ, и Бѣлинскимъ. „Пимень, замѣчаетъ онъ, ужъ слишкомъ идеализированъ въ его первомъ монологѣ, и потому, чѣмъ болѣе поэтическаго въ его рѣчахъ, тѣмъ болѣе грѣшитъ авторъ противъ истины и правды дѣйствительности: ни русскому, но и никакому европейскому отшельнику-лѣтописцу того времени не могла придти въ голову идея пименовскаго монолога, въ силу чего эти прекрасныя слова — ложь“. Всѣ остальные фигуры пьесы выдержаны въ строго реалистическомъ тонѣ, историческая правда соблюдена въ нихъ чрезвычайно строго, все произведеніе исполнено тонкихъ намековъ на историческую дѣй-

---

<sup>1)</sup> Строго говоря, именно этой фразой, а не ремаркой о поведеніи народа заканчивается произведеніе.

<sup>2)</sup> „Въ лѣтописи старался угадать *образъ мыслей и языкъ* тогдашняго времени“ (III, 253).

ствительность, и только одинъ образъ—образъ Пимена—вышелъ изъ рамокъ историческаго правдоподобія, внося этимъ внѣшній диссонансъ (какъ символъ, онъ вполне гармонируетъ съ цѣлымъ) въ стройную пьесу. Объяснить это странное явленіе можно только особой интимной близостью самаго поэта къ создаваемому имъ типу: усваивая себѣ его воззрѣнія, онъ не могъ не вложить въ него нѣчто отъ своей личности.

Но, если это дѣйствительно такъ, если историческое міросозерцаніе Пимена является той точкой зрѣнія, съ которой Пушкинъ самъ желалъ разсматривать историческую жизнь, то мы въ вправѣ ожидать, что такое же настроеніе скажется и въ другихъ его произведеніяхъ, что драматическимъ монологамъ Пимена можно подыскать болѣе или менѣе полный аналогъ въ лирическихъ стихотвореніяхъ поэта. И дѣйствительно: въ одной изъ прекраснѣйшихъ вещей Пушкина, въ изумительныхъ по глубокому благородству строфахъ „19-го октября“ 1825-го года мы находимъ ту же гамму настроеній и точекъ зрѣнія, какъ и въ рѣчахъ лѣтописца.

Въ основѣ обѣихъ пьесъ лежитъ созерцаніе медленно движущагося времени, глубокое переживаніе постепенной смѣны событій жизни; ихъ содержаніе одинаково: это, по преимуществу, циклъ впечатлѣній, данныхъ въ воспоминаніи. И тутъ и тамъ распыленные и безпорядочные, жгучіе и волнующіе случаи, встрѣчи, приключенія, воспринятые въ формѣ прошлаго, подъ знакомъ времени, теряютъ свою остроту и субъективную окраску и медленно сливаются въ единую стройную картину. Въ этомъ важнѣйшій фактъ вліянія исторіи: обернувшись въ историческій феноменъ, событіе стало доступнымъ объективному, безпристрастному созерцанію, укрѣпило и фиксировало опредѣленное смиренно-величавое настроеніе; подъ историческимъ угломъ зрѣнія, взятое въ прошломъ „волнующееся море-окіанъ“ стало „безмолвнымъ и спокойнымъ“. Занятіе исторіей открыло для Пимена и

Пушкина возможность постигнуть объективный смысл событий, создавъ въ нихъ спокойное и самоотрѣшенное настроеніе. Въ ихъ рѣчахъ за совершенно различной внѣшней оболочкой, за совершенно различными положеніями авторовъ слышится одинъ и тотъ же могучій, всеоправдывающій и всепримиряющій голосъ времени; ихъ воспоминаніе выдержано въ особомъ тонѣ, получающемся отъ смутнаго предчувствія вѣчности; оба они чужды отрывочнымъ настроеніямъ обыденности и подчинились торжественному паѳосу безконечной смѣны.

Правда, герой „19-го октября 1825“ имѣетъ дѣло не только съ прошедшимъ, но и съ настоящимъ и будущимъ; однако, и это обстоятельство не нарушаетъ однотонности произведеній. Во-первыхъ, и Пименъ въ дальнѣйшей бесѣдѣ съ Григоріемъ касается настоящаго и говоритъ о немъ, какъ мы увидимъ выше, почти въ тѣхъ же выраженіяхъ, какъ и авторъ „19-го октября“; а, во-вторыхъ, будущее является этому послѣднему не въ формѣ плѣнительной мечты, не въ видѣ ряда образовъ, богатыхъ содержаніемъ, а въ видѣ чисто формальной картины подъ знакомъ того же вѣчнаго движенія времени:

*Судьба глядитъ, мы вянемъ; дни бѣгутъ;*

*Невидимо склоняясь и хладѣя,*

*Мы близимся къ началу своему...*

Кому жъ изъ насъ подѣ старость день Лицея

Торжествовать придется одному?

Несчастный другъ! средь новыхъ поколѣній

Доучный гость, и лишній, и чужой,

Онъ вспомнить насъ и дни соединеній,

Закрывъ глаза дрожащею рукой...

Вотъ и все о будущемъ въ лирической пѣснѣ двадцатилѣтняго юноши. Все тотъ же размѣренный и торжественный глаголь время: судьба глядитъ, мы вянемъ; дни бѣгутъ. Лирическая эмоція разворачивается постепенно, безъ

скачковъ и рѣзкихъ переходовъ; тонъ рѣчи величаво-спокойный; нѣтъ ни гнѣва, ни страстной скорби, ни ядовитыхъ укоровъ, ни горькихъ проклятій. Все проникнуто глубокой покорностью строгой судьбѣ, отрѣшеніемъ отъ минутныхъ интересовъ и волненій, необычайной приподнятостью духа.

Но обратимся къ детальному сравненію пьесъ.

V-ая сцена, гдѣ появляется Пимень, даетъ такую обстановку: ночь; келья въ Чудовомъ монастырѣ; свѣтитъ лампада; въ углу спитъ Григорій; Пимень одинъ среди окружающей тишины и всеобщаго сна.

А вотъ обстановка „19-го октября“:

Роняетъ лѣсъ багряный свой уборъ,  
Сребритъ морозъ увянувшее поле;  
Проглянетъ день какъ будто поневолѣ  
И скроется за край окрестныхъ горъ.  
Пылай каминь въ моей пустынной кельѣ...  
А ты, вино, осенней стужи другъ,  
Пролей мнѣ въ грудь отрадное похмелье,  
Минутное забвенье горькихъ мукъ.

Возсоздайте намѣченную въ этихъ строкахъ картину: темная осень въ глухой деревнѣ; одинокій помѣщичій домъ; пустынная комната-келья. Кругомъ безмолвіе; поэтъ одинъ, затерянный среди необозримыхъ лѣсовъ и полей Псковской губерніи, въ „надгробной тиши“ <sup>1)</sup> русскаго захолустья. И тутъ и тамъ переживаніе глубокаго одиночества, полной отрѣзанности отъ всего человѣческаго міра, отъ шума и грохота обыденной жизни. Гдѣ-то вдали кипитъ шумнымъ ключемъ городская жизнь, разыгрываются человѣческія страсти, раздаются пѣсни, смѣхъ, шутки. Здѣсь—безмолвіе, тишина, печать какого-то мертвящаго покоя.

Правда, Пимень безстрастно взираетъ на все это: онъ приблизился къ тому времени, когда все земное перестало

---

<sup>1)</sup> Вар. III, 374, прим. 3.

быть для него занимательнымъ,—а поэту еще хочется оку- нуться въ волны быстротекущей жизни, но основное, факти- ческое настроеніе „безмолвнаго зрителя“, несомнѣнно, одина- ково у обоихъ.

Далѣе начинается рядъ воспоминаній:

Передо мной опять выходятъ люди,—говорить Пимень,—  
Уже давно покинувшіе міръ,—  
Властители, которымъ былъ покорень,  
Князья, враги и старые друзья,  
Товарищи мои въ пирахъ и битвахъ  
И въ сладостныхъ семейственныхъ бесѣдахъ.  
*Какъ ласки ихъ мнѣ радостны бывали,  
Какъ живо жили мнѣ сердце ихъ обиды* <sup>1)</sup>.

Личныя воспоминанія лѣтописца не идутъ дальше этого общаго описанія. Воспоминанія Пушкина живѣе, ярче и сложнѣе. Начинаясь такой же общей картиной, они въ даль- нѣйшемъ конкретизируются, стремятся къ воссозданію отдѣль- ныхъ живыхъ образовъ:

Изъ края въ край преслѣдуемъ грозой,  
*Запутанный въ стѣяхъ судьбы суровой,*  
Я съ трепетомъ на лоно дружбы новой,  
Уставъ, приникъ ласкающей главой...  
Съ мольбой моей печальной и мятежной,  
Съ довѣрчивой надеждой первыхъ лѣтъ,  
Друзьямъ инымъ душой предался нѣжной,  
Но горекъ былъ небратскій ихъ привѣтъ.

Это не укоры, не проклятья, но печальное констатиро- ваніе факта. Въ душѣ поэта нѣтъ ни гнѣва, ни ненависти, а „вдохновенное“ <sup>2)</sup> спокойствіе. Даже тамъ, гдѣ у него должно было проскользнуть глубокое равнодушіе или антипатія, онъ

<sup>1)</sup> Вариантъ, III, 633. Характерно, что именно эти строфы были выбро- шены при окончательной отдѣлкѣ произведенія, вѣроятно, какъ слишкомъ субъективныя.

<sup>2)</sup> „Я вдохновенъ... О, слушайте, друзья“, вар. III, 370.



какъ-то прячетъ ихъ въ томъ же переживаніи необходимой воли строгой судьбы:

Ты, Горчаковъ, счастливецъ съ первыхъ дней,  
Хвала тебѣ—Фортуны блескъ холодный  
Не измѣнилъ души твоей свободной:  
Все тотъ же ты для чести, для друзей.  
*Намъ разный путь судьбой назначень строюй;  
Ступая въ жизнь, мы быстро разошлись,  
Но невзначай, проселочной дороюй,  
Мы встрѣтились и братски обнялись.*

Такимъ же мотивомъ открывается и слѣдующее воспоминаніе, посвященное Дельвигу:

*Когда постигъ меня судьбины интѣвъ,  
Для всѣхъ чужой, какъ сирота бездомный,  
Подъ бурюя главою поникъ я томной,  
И ждалъ тебя, вѣщунъ пермесскихъ дѣвъ.  
И ты пришелъ, сынъ лѣни вдохновенный,  
О Дельвигъ мой! Твой голось пробудилъ  
Сердечный жаръ, такъ долго усыпленный  
И бодро я судьбу благословилъ.*

Судьба, судьба!.. Озираясь на пройденный путь, поэтъ чувствуетъ роковую необходимость событій и покорно подчиняется ей. Но онъ уже научился объективной оцѣнкѣ, забвенію личныхъ интересовъ и счетовъ и умѣетъ найти объективное значеніе тамъ, гдѣ раньше онъ видѣлъ простое самодурство, небрежность или злой умыселъ. Ему много досталось отъ царя; онъ по всей справедливости имѣетъ право ненавидѣть привычнаго къ противочувствіямъ арлекина, но въ томъ безпристрастномъ, спокойномъ созерцаніи, которымъ онъ вдохновленъ теперь, мелкіе счеты перечеркнуты чертой забвенія и на передній планъ выступаютъ безспорныя историческія заслуги, то, смыслъ чего раскрывается только въ исторической перспективѣ:

Ура, нашъ царь! Такъ выпьемъ за царя!  
Онъ—человѣкъ, имъ властвуетъ мгновенье,  
Онъ—рабъ молвы, сомнѣнья и страстей;  
Но, такъ и быть, простимъ ему гоненье:  
Онъ взялъ Парижъ и создалъ нашъ Лицей.

Царь, какъ рабъ молвы, волненья и страстей, какъ гонитель и тиранъ, отдѣлился отъ царя, какъ побѣдителя Наполеона и создателя Лицея. Первый забыть, второй вошелъ въ воспоминаніе, принявшее форму историческаго созерцанія, и удостоенъ чести „за славу, за добро“. Еще рѣзче этотъ мотивъ выступаетъ въ слѣдующей строфѣ:

Наставникамъ, хранившимъ юность нашу,  
Всѣмъ честію, и мертвымъ, и живымъ,  
Къ устамъ поднявъ признательную чашу,  
*Не помня зла, за благо воздадимъ.*

Тутъ—полное торжество объективизма, забвенія личныхъ переживаній. Историческій масштабъ примѣненъ къ оцѣнкѣ близкой дѣйствительности, историческое созерцаніе объемлетъ и событія текущей жизни, реализуя на дѣлѣ пожеланія лѣтописца:

Да вѣдаютъ потомки православны  
Земли родной минувшую судьбу,  
Своихъ царей великихъ поминаютъ,  
За ихъ труды, за славу, за добро,  
А за грѣхи, за темныя дѣянья  
Спасителя смиренно умоляютъ.

Вѣдь, строго говоря, весь этотъ отрывокъ прекрасно передается краткой формулой:

Не помня зла, за благо воздадимъ.

Отъ воспоминаній „19-ое октября“ переходитъ къ оцѣнкѣ настоящаго: къ оцѣнкѣ собственной жизни и поведенія поэта и такъ называемыхъ жизненныхъ благъ:

Но я любилъ уже рукоплесканья,—  
Ты, гордый, пѣлъ для музъ и для души;

Свой даръ, какъ жизнь, я тратилъ безъ вниманья,—  
Ты гений свой воспитывалъ въ тиши.

*Служенье музъ не терпитъ суеты:*

Прекрасное должно быть величаво;

Но юность намъ совѣтуетъ лукаво,

И шумныя насъ радуютъ мечты.

Опомнися—но поздно! И уныло

Глядимъ назадъ, слѣдовъ не видя тамъ.

Скажи, Вильгельмъ, не то ль и съ нами было,

Мой братъ родной по музѣ, по судьбамъ?

Пора, пора! душевныхъ нашихъ мукъ

Не стоитъ мѣръ; оставимъ заблужденья!

Сокроемъ жизнь подъ сѣнь уединенья!

Я жду тебя, мой запоздалый другъ.

Безпокойной и легкомысленной погонѣ за мелкими удовлетвореніями личнаго характера противопоставлено безкорыстное и строгое служеніе музамъ, которое не терпитъ суеты, исполненіе долга, завѣщаннаго Богомъ, недаромъ даровавшаго поэту высокій талантъ; легкимъ радостямъ и огорченіямъ минуты—высокія цѣнности величавой красоты; впрочемъ, и безотносительно къ абсолютному, „мірское“ благо признано недостойнымъ усилій и заботъ: оно не стоитъ тѣхъ мукъ, которыми оплачивается. Только скромная сѣнь уединенія даетъ прочный покой и ясную радость, только въ пустынной кельѣ, за безкорыстнымъ трудомъ во имя „святой поэзіи“, можно найти истинное и безмятежное счастье. И опять мы имѣемъ довольно полный аналогъ пименовскимъ мыслямъ:

Не сѣтуй, братъ,—говорить онъ Григорію,—что рано  
грѣшный свѣтъ

Покинулъ ты, что мало искушеній

Послалъ тебѣ Всевышній. Вѣрь ты мнѣ:

Насъ издали плѣняетъ слава, роскошь

И женская лукавая любовь.

*Я долго жилъ и многимъ наслаждался,*

*Но съ той поры лишь въдаю блаженство,  
Какъ въ монастырь Господь меня послалъ.*

Характерно, что Пименъ здѣсь аргументируетъ не отъ Св. Писанія, не отъ утвержденія грѣховности всего земного („грѣшный“ міръ, въ сущности, могъ быть замѣненъ съ такимъ же успѣхомъ другимъ эпитетомъ), не размышленіями о будущемъ блаженствѣ и возмездіи за потворство страстямъ, словомъ, не какъ православный аскетъ, но какъ пожившій и выдавшій виды человѣкъ. Сравнительная оцѣнка свѣтской и монастырской жизни у Пимена чисто-свѣтская, эмпирическая, не выходящая за предѣлы простого фактическаго противопоставленія. Онъ „много жилъ и многимъ наслаждался“, но истинное блаженство обрѣлъ только за монастырской стѣной. Шумныя мечты, слава, роскошь и женская лукавая любовь отвергнуты имъ не по соображеніямъ христіанскаго аскетизма, а только потому, что онѣ лишь издали плѣняютъ насъ, а вблизи оказываются пустымъ призракомъ. Настроеніе, мотивировки и даже само построеніе увѣщанія лѣтописца вполне сходны съ призывомъ поэта къ его запоздалому другу.

Но именно здѣсь съ особенной рѣзкостью проступаетъ идеализація образа Пимена, заключающаяся въ „обмірщеніи“ монашескаго типа. Въ Пименѣ нѣтъ ничего специфически монастырскаго, нѣтъ и намека на религіозно-отрицательное отношеніе къ свѣтской жизни. Его уходъ отъ міра не связанъ съ проклятіями по адресу прежней жизни; онъ обусловленъ, скорѣе, утомленіемъ и одряхлѣніемъ да желаніемъ, общимъ для всѣхъ православныхъ - русскихъ, на старости лѣтъ позаботиться о душѣ. Съ этой стороны его образъ лучше всего обрисованъ въ рѣчи Григорія:

Какъ весело провелъ свою ты младость!  
Ты воевалъ подъ башнями Казани,  
Ты рать Литвы при Шуйскомъ отражалъ,  
Ты видѣлъ дворъ и роскошь Іоанна!  
Счастливы!—А я отъ отроческихъ лѣтъ

По келіямъ скитаюсь, бѣдный инокъ!  
Зачѣмъ и мнѣ не тѣшиться въ бояхъ,  
Не пировать за царскою трапезой?  
Успѣлъ бы я, какъ ты, на старость лѣтъ  
Отъ суеты, отъ міра отложиться,  
Произнести монашества обѣтъ  
И въ тихую обитель затвориться.

И эта біографическая характеристика подтверждается самимъ Пименомъ:

... Донинѣ—если я,  
Невольною дремотой обезсилень,  
Не сотворю молитвы долгой къ ночи—  
Мой старый сонъ не тихъ и не безгрѣшенъ:  
Мнѣ чудятся то шумные пиры,  
То ратный станъ, то схватки боевыя,  
Безумныя потѣхи юныхъ лѣтъ <sup>1)</sup>.

Его *личныя* воспоминанія не теряются среди монотоннаго и безцвѣтнаго монастырскаго житія, не рисуютъ ему рядъ лѣтъ, наполненныхъ постомъ, молитвами и покаяніемъ, но ярки, красочны и разнообразны. Онъ самъ пережилъ событія своей лѣтописи, впиталъ въ себя огромный запасъ впечатлѣній и на 'старости лѣтъ снова переживаетъ все это претвореннымъ въ спокойную историческую картину. Въ образѣ Пимена въ опредѣленной исторической оболочкѣ воспроизведена духовная эволюція богато одаренной личности, прошедшей сквозь всѣ увлеченія юношескаго Sturm und Drang'a и кончившей глубокой и мудрой резиньяціей, принявшей формы объективнаго историческаго міросозерцанія. Пушкинъ идеализировалъ лѣтописца именно такъ, что, благодаря этой идеализаціи, онъ сдѣлался близокъ самому поэту. Сопоставленіе V сцены „Бориса Годунова“ съ монологомъ „19-го октября“ раскрыло намъ субъективное зна-

<sup>1)</sup> Эпитетъ „безумный“—„l'expression consacrée“ Пушкина для характеристики его собственной молодости.

ченіе этой идеализаціи. Звуча въ униссонъ по своему основному настроенію (паеось медленно движущагося времени), давая полный аналогъ въ главныхъ моментахъ оцѣнки, монологи Пимена и Пушкина расходятся лишь въ окраскѣ воспоминаній: въ томъ привкусѣ молодости, который чувствуется въ „19-омъ октября“. Было бы странно и ненатурально, если бы Пушкинъ въ своемъ монологѣ задрапировался бы старымъ лѣтописцемъ: все стихотвореніе приняло бы тогда искусственный, риторическій характеръ. Но именно то обстоятельство, что рѣчи Пушкина имѣютъ сходство съ рѣчами Пимена только въ томъ, что естественно могло быть усвоено изъ старческой мудрости гениальнымъ юношей, показываетъ намъ, какъ произволенъ и внутренне-закономѣренъ былъ самъ процессъ усвоенія. Изъ историческаго образа монаха-лѣтописца Пушкинъ извлекъ только то, что соотвѣтствовало его собственнымъ переживаніямъ: учась у Пимена, онъ, въ свою очередь, оказалъ вліяніе на этого послѣдняго, лишивъ его мрачныхъ аскетическихъ тенденцій.

Итакъ, подводя общіе итоги анализа, мы можемъ сказать слѣдующее: въ основѣ „Бориса Годунова“ лежитъ знакомое намъ по „Цыганамъ“ противопоставленіе эгоцентрически мыслящей личности могучей стихіи, индивидуальнаго притязанія — роковому сцѣпленію событій развивающейся жизни. Но въ то время, какъ въ поэмѣ олицетвореніемъ строгой судьбы является стихійная страсть, индивидуализировавшаяся въ отдѣльномъ человѣкѣ, въ трагедіи ее представляетъ стихійное народное движеніе, взятое въ исторической перспективѣ. Благодаря этому, надъиндивидуальная необходимость, господствующая надъ явленіями частной и соціальной жизни, воспринимается въ „Борисѣ Годуновѣ“ не какъ бессмысленная судьба, похожая на „обезьяну, которой дана полная воля“ (VIII, 154), а какъ иррациональная, но цѣлесообразная въ конечномъ итогѣ, могучая сила. И эти созерцанія и настроенія нашли свое выраженіе не только въ изображеніи

ряда историческихъ событій, но и въ опредѣленной идеологій, данной въ монологахъ Пимена, образа, интимно-близкаго самому поэту. Такъ, пессимистическая идея слѣпого рока, преломившись въ „дыму столѣтій“, привела къ возникновенію особаго историческаго созерцанія жизни, постигшаго объективную цѣлесообразность процесса всеобщей жизни и обосновавшаго этическое подчиненіе человѣка его необходимымъ законамъ. Въ историческомъ опытѣ „Бориса Годунова“ идеологія французскаго Просвѣщенія была приведена на судъ русской лѣтописи и осуждена безвозвратно.

## V.

Такимъ образомъ въ „Борисѣ Годуновѣ“ совершилась „объективация“, если можно такъ выразиться, созерцанія прошлаго и настоящаго; здѣсь Пушкинъ перешагнулъ, наконецъ, за волшебную черту эгоцентрическаго и антропоцентрическаго воззрѣнія на жизнь и вырвался на просторъ отрѣшенныхъ отъ всего личнаго, не заинтересованныхъ, стремящихся къ объективной оцѣнкѣ проникновеній въ смыслъ совершающагося. Но въ то же самое время эти новыя формы переживанія жизни не могли не обострить въ немъ одной чрезвычайно значительной,—быть можетъ, самой значительной проблемы индивидуальнаго существованія—проблемы смерти.

Созерцанія жизни подѣ знакомъ времени, какъ процесса безконечной смѣны явленій, смѣны, которой нельзя остановить и которая абсолютно неизбежна, не можетъ оставить безъ вниманія и эволюціи человѣка. „Вращается весь міръ вокругъ человѣка, ужель одинъ недвижимъ будетъ онъ?“ спрашиваетъ поэтъ и немедленно отвѣчаетъ: „невидимо склоняясь и хладѣя, мы близимся къ началу своему“. Историческая перспектива, дававшая возможность взглянуть на процессъ всеобщей жизни, какъ на безконечное, не ограничен-

ное никакими временными предѣлами движеніе челоуѣчества къ таинственнымъ цѣлямъ, будучи приложена къ явленію индивидуальнаго существованія, говорила о постепенномъ ослабленіи и одряхлѣніи личности, о процессѣ, роковымъ образомъ ограниченномъ во времени и неизбежно заканчивающемся смертью. Историческое созерцаніе жизни челоуѣческаго цѣлаго необходимо приводило къ представленію вѣчности развитія, историческое созерцаніе жизни индивидуума необходимо заканчивалось идеей разрушенія и смерти. Такъ въ паевосѣ глагола времени возникали два внутренне связанныхъ и все же глубоко контрастныхъ представленія, оказывавшихъ вліяніе другъ на друга. Наличие ихъ легко констатируется въ „19-мъ октября“ и даже ранѣе, но свое полное развитіе они получили лишь въ позднѣйшихъ произведеніяхъ поэта, въ цѣломъ циклѣ стихотвореній, которому можно присвоить названіе „пименовскаго“.

Само собой разумѣется, что, говоря о глубокой связи между историческими настроеніями поэта и идеей смерти, мы отнюдь не желаемъ сказать, что эта послѣдняя только тутъ впервые возникла въ его сознаніи. Напротивъ, мысль о разставаніи съ жизнью часто являлась Пушкину и въ пору его эпикурейскихъ и романтическихъ исканій. Но тамъ эта идея занимала совершенно иное положеніе. О смерти поэтъ вспоминалъ только для того, чтобы тотчасъ забыть о ней. Въ самомъ міровоззрѣніи, въ общихъ формахъ воспріятія міра не было ничего такого, что бы неразрывно связывалось съ идеей разрушенія личности. И легкій, устремленннй на наслажденіе, опьяненный радостью жизни эпикуреизмъ, и бурныя исканія романтическаго индивидуализма заставляли забывать о послѣднемъ часѣ; не до него было сознанію, всецѣло занятому наличнымъ содержаніемъ жизни. Прекрасное, одно изъ лучшихъ эпикурейскихъ стихотвореній юноши Пушкина какъ нельзя болѣе ясно свидѣтельствуетъ объ этомъ:



Не пугай насъ, милый другъ,  
Гроба близкимъ новосельемъ:  
Право, намъ такимъ бездѣльемъ  
Заниматься недосугъ.  
Пусть остылой жизни чашу  
Тянетъ медленно другой,  
Мы жь утратимъ юность нашу  
Вмѣстѣ съ жизнью дорогой;  
Каждый у своей гробницы  
Мы присядемъ на порогъ,  
У паѳосскія царицы  
Свѣжій выпросимъ вѣнокъ,  
Лишній мигъ—у вѣрной лѣни,  
Круговой нальемъ сосудъ,  
И толпою наши тѣни  
Къ тихой Летѣ убѣгутъ.  
Смертный мигъ нашъ будетъ свѣтель,  
И подруги шалуновъ  
Соберутъ ихъ легкій пепель  
Въ урны праздныя пировъ.

(„Н. П. Кривцову“, 1817, I, 227).

Здѣсь поэтъ спасается отъ тяжкаго раздумья, концентрируя свое вниманіе на представленіи легкокрылой радости, безмятежнаго времяпрепровожденія шалуновъ; благодаря этому онъ и можетъ отозваться о новосельѣ гроба, какъ бездѣльѣ. Тутъ не приходится даже и говорить о преодолѣніи смерти: хороша побѣда, которая дается на днѣ круговой чаши. И дѣйствительно, въ минуты трезваго размышленія, въ минуты ясной сознательности это „бездѣлье“ рисуется поэту въ совершенно иномъ видѣ:

Ты, сердцу непонятный мракъ,  
Пріютъ отчаянья слѣпой  
Ничтожество, пустой призракъ,—  
Не алчу твоего покрова!

Веселье жизни разлюбя,  
Счастливыхъ дней не знавъ отъ вѣка,  
Я все не вѣрую въ тебя:  
Ты чуждо мыслямъ человѣка,  
Тебя страшится гордый умъ.  
Такъ путникъ, съ вышины внимая  
Ручьевъ кавказскихъ вѣчный шумъ  
И взоромъ бездну измѣряя,  
Внезапнымъ ужасомъ томимъ,  
Дрожить, шатается; предъ нимъ  
Предметы движутся, темнѣютъ;  
Въ немъ чувства хладныя нѣмѣютъ;  
Вотще оплота ищетъ онъ,—  
И все во взорахъ исчезаетъ,  
И обморокъ, какъ страшный сонъ,  
На край горы его бросаетъ...

Таково созерцаніе смерти въ серьезныя минуты; неотдѣланныя строфы отрывка говорятъ намъ о какомъ-то мрачномъ, потрясающемъ душу видѣніи, посѣтившемъ поэта; объ ужасѣ и отчаяніи, изъ которыхъ одинъ только выходъ—вѣра въ „благословенныя мечты“—вѣра въ то,

Что тѣни легкою толпой  
Отъ береговъ холодной Леты  
Слѣтаются на брегъ земной  
И невидимо навѣщаютъ  
Мѣста, гдѣ было все милѣй (1822 г. I, 623).

Да иного выхода и быть не можетъ для того, кто живетъ въ тѣсномъ кругу эгоцентрическаго переживанія жизни. Его созерцаніе совершающагося тѣсно связано съ судьбою собственнаго „я“; все существуетъ лишь постольку, поскольку живетъ онъ самъ; онъ не можетъ представить себѣ бытія міра внѣ предѣловъ личнаго существованія въ настолько цѣнныхъ формахъ, чтобы въ этомъ представленіи найти силу для самозабвенія и резиньяціи, безъ которыхъ невозможно

преодолѣніе смерти, какъ абсолютнаго уничтоженія индивидуальнаго сознанія. И ему остается только либо забыться въ „похищеніи дня“, восторжествовать надъ смертью „силой чувства цѣнности и радостности переживаній, полноты бытія“ <sup>1)</sup> либо отвергнуть ее самое вѣрой въ какую-нибудь форму личнаго безсмертія.

Но идея индивидуальнаго безсмертія ни на одинъ моментъ не завладѣвала вполнѣ сознаніемъ поэта, не отливалась въ его исповѣданіи въ отчетливыя и рѣзкія формы. Если она и играла извѣстную роль въ его мышленіи, то лишь въ качествѣ возможной гипотезы о туманномъ будущемъ, въ качествѣ обывательскаго разсужденія на тему: „кто знаетъ, что тамъ будетъ: можетъ, и въ самомъ дѣлѣ безсмертіе“. Это было не ясная вѣра въ будущую жизнь, но, скорѣе, нѣкоторое сомнѣніе въ абсолютности уничтоженія. И, конечно, такое сомнѣніе не могло послужить прочнымъ основаніемъ для окончательнаго рѣшенія зловѣщаго вопроса. Нужно было искать новыхъ источниковъ для примиренія съ мыслью о послѣднемъ часѣ, и Пушкинъ нашелъ ихъ. Своеобразное, пушкинское „преодолѣніе смерти“ чувствуется уже въ знаменитыхъ строфахъ второй пѣсни „Евгенія Онѣгина“, которыми такъ восхищался Бѣлинскій:

‘ Увы, на жизненныхъ браздахъ,  
Мгновенной жатвой, поколѣнья,  
По тайной волѣ Провидѣнья,  
Восходятъ, зрѣютъ и падаютъ;  
Другія имъ во слѣдъ идутъ...  
Такъ наше вѣтренное племя  
Растетъ, волнуется, кипитъ  
И къ гробу прадедовъ тѣснитъ.  
Придетъ, придетъ и наше время,  
И наши внуки въ добрый часъ  
Изъ міра вытѣснятъ и насъ.

<sup>1)</sup> Ивановъ-Разумникъ, „Евгеній Онѣгинъ“; Венгеровъ, Пушкинъ, т. III, 233.

Покамѣсть упивайтесь ею,  
Сей легкой жизнію, друзья!  
Ея ничтожность разумѣю,  
И мало къ ней привязанъ я.  
Для призраковъ закрыль я вѣжды;  
Но отдаленныя надежды  
Тревожатъ сѣрдце иногда:  
Безъ непримѣтнаго слѣда  
Мнѣ было бѣ грустно міръ оставить;  
Живу, пишу не для похвалъ;  
Но я бы, кажется, желалъ  
Печальный жребій свой прославить,  
Чтобъ обо мнѣ, какъ вѣрный другъ,  
Напомнилъ хоть единый звукъ.

(1823 г., гл. II, стр. 38, 39).

Здѣсь налицо всѣ элементы позднѣйшаго воззрѣнія. Представленіе о собственной смерти неразрывно связывается съ объективнымъ представленіемъ безконечнаго процесса всеобщей жизни. Человѣкъ не умираетъ: „въ добрый часъ“ „по тайной волѣ Провидѣнья“ внуки просто вытѣсняють его, и жизнь продолжается, не прерываясь ни на минуту. Вмѣсто того, чтобы сосредоточиться на моментѣ своего личнаго уничтоженія, сознание поэта забѣгаетъ впередъ и созерцаетъ вѣчную жизнь смѣняющихся поколѣній; вмѣсто отчаянія и страха въ немъ загорается желаніе принять участіе въ этой жизни послѣ его смерти, оставить послѣ себя такой „памятникъ“, который вѣчно бы говорилъ людямъ о немъ и его дѣлахъ. И, если раньше мысль о смерти побуждала къ наслажденію жизнью, къ торопливой погонѣ за ея радостями, теперь она уже призываетъ къ усиленной дѣятельности, дабы можно было успѣть провести „послѣднюю борозду“.

Но въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ этотъ циклъ идей и переживаній не получилъ окончательной формулировки, не базируется на отчетливомъ, глубокомъ и искреннемъ созерцаніи. Это ско-

рѣе предчувствіе будущаго, случайный проблескъ новыхъ настроеній, отрывочный намекъ, выдержанный къ тому же въ обычномъ для этого произведенія тонѣ легкой ироніи надъ своими героями и самимъ собой („быть можетъ—лестная надежда —укажетъ будущій невѣжда на мой прославленный портретъ и молвить: то-то былъ поэтъ!“).

Только послѣ опыта „Бориса Годунова“, послѣ одиночнаго заключенія въ Михайловскомъ, въ душѣ поэта образовалось достаточно данныхъ для новаго рѣшенія вопроса, и связь этого рѣшенія съ пименовскими настроеніями очевидна: тѣ три основныя мотива, которыя можно отмѣтить въ монологахъ старца и въ „19-омъ октября“: созерцаніе жизни подъ знакомъ времена, объективность созерцанія (резиньяція) и вѣра въ будущее налицо и въ этихъ думяхъ о смерти.

Мы уже указывали, что созерцаніе жизни какъ процесса во времени неизбѣжно приводитъ къ мысли о смерти, о постепенномъ приближеніи человѣка къ гробу. И именно приближеніи: теперь въ явленіи смерти нѣтъ того элемента случайности, который характеризуетъ юношескія представленія о ней. Тамъ смерть являлась какъ бы ударомъ грома среди яснаго неба, ударомъ неизбѣжнымъ, настагающимъ cadaго, но не опредѣленнымъ во времени: она была такою же напастью, такимъ же несчастьемъ, какъ и другія невзгоды. Отъ нихъ нельзя защититься, спастись, но всѣ они случайны, возникаютъ и исчезаютъ по волѣ слѣпота случая; въ самой жизни, вокругъ человѣка не было ничего такоаго, что бы говорило о смерти и времени ея наступленія. Сосредоточенное на наличномъ моментѣ, жадно засматривавшееся на приманки жизни, увѣренное въ своей свѣжести и мощи юношеское сознаніе не имѣло критеріевъ для оцѣнки истиннаго значенія смерти, тяготѣющей надъ людьми, не переживало жизни какъ процесса постепеннаго приближенія къ могилѣ.

Здѣсь, напротивъ, представленіе о смерти сдѣлалось имманентнымъ созерцанію жизни: эта послѣдняя воспринимается

уже не какъ нѣчто неподвижное, не какъ море, надъ которымъ свирѣпствуетъ буря съ грозой, но какъ потокъ, уносящийся въ бездну, откуда нѣтъ возврата. При такихъ условіяхъ каждое измѣненіе въ окружающей средѣ неуклонно приводитъ къ мысли о зловѣщемъ измѣненіи въ самой личности; каждая прожитая минута говоритъ о близости конца; сознаніе болѣзненно воспринимаетъ каждый мигъ, отошедшій въ прошлое, и жадно считаетъ каждую „частицу бытія“ („летятъ за днями дни, и каждый день уноситъ частицу бытія“).

Это состояніе духа нашло прекрасное выраженіе въ стансахъ 1829 года „Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ“. Для нихъ характерно именно воспріятіе жизни какъ неизбежнаго и неотвратимаго движенія къ безднѣ. Каждое проявленіе жизни напоминаетъ поэту о смерти, потому что оно говоритъ о безконечной смѣнѣ, о постоянномъ стремленіи времени, потому что настоящее въ немъ ограничено прошедшимъ и будущимъ:

Гляжу ль на дубъ уединенный,—  
Я мыслю: патріархъ лѣсовъ  
*Переживетъ* мой вѣкъ забвенный,  
Какъ *пережилъ* онъ вѣкъ отцовъ.

Это не простое воспріятіе дуба съ его величавой короной, могучимъ стволомъ и отрадной тѣнью, но созерцаніе его длительного бытія; „патріархъ лѣсовъ“ является тутъ не объектомъ эстетической эмоціи или практической мысли, но служитъ вѣхой для опредѣленія времени. О такомъ же переживаніи говоритъ и слѣдующая строфа:

Младенца ль милаго ласкаю,—  
Уже я думаю: „Прости!“  
„Тебѣ я мѣсто уступаю:  
*„Мнѣ время тлѣть, тебѣ цвѣсти“.*

Да и вся пьеса проникнута подобнымъ же настроеніемъ: ощущеніемъ жизни, какъ потока событій, несущагося въ небытіе, такъ что слова:

День каждый, каждую минуту  
Привыкъ я думой провожать,  
Грядущей смерти годовщину  
Межъ нихъ стараясь угадать.

покоятся на прочномъ основаніи глубоко укоренившася въ душѣ поэта особаго метода созерцать совершающееся. И, дѣйствительно, ихъ безусловная правдивость подтверждается не только рядомъ стихотвореній <sup>1)</sup>, такъ или иначе, затрагивающихъ проблему смерти, но и чрезвычайно любопытнымъ отрывкомъ изъ плана устройства жизни, относящагося къ 1831 году, гдѣ поэтъ вводитъ смерть въ программу самой жизни: „поля, садъ, крестьяне, книги, труды поэтическіе, семья, любовь etc. *Религія, смерть*“ (II, 568). Сочетаніе это очень поучительно: оно показываетъ намъ, что мечта поэта не могла забыться надъ созерцаніемъ какого-нибудь отдѣльнаго момента деревенской идилліи, гдѣ сконцентрировалась бы вся полнота бытія и счастья, но, забѣгая впередъ, рисовала не только содержаніе его будущей жизни, но и самый процессъ ея, который, конечно, заканчивается смертью. Идеаломъ существованія для Пушкина является здѣсь не остановившееся прекрасное мгновеніе, а законченное и совершенное по формамъ „земное странствіе“, идеально протекающей процессъ: поэтъ желалъ бы не только хорошо „жить“, но и хорошо „прожить“, и это придаетъ особую возвышенность его надеждѣ на личное счастье.

Такимъ образомъ, смерть, какъ стихія, опредѣляющая направление жизни, была постоянной гостьей сознанія взрослого Пушкина. Но, строго говоря, самый фактъ этотъ не представляетъ ничего оригинальнаго и не можетъ быть названъ специфической особенностью ни пушкинскаго жизневос-

<sup>1)</sup> Вотъ этотъ циклъ: 1827 годъ—„Три ключа“; 1828 годъ—„Воспоминаніе“; 1829 г.—„Стансы“; 1830 г.—Элегія („Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье...“); 1831 г.—„19 окт.“, „Пора, мой другъ, пора“; 1834 г.—„Странникъ“; 1835 г.—„Вновь я посѣтилъ“; 1836 г.—„Памятникъ“, „Когда за городомъ“, „19 октября“, „О, нѣтъ, мнѣ жизнь не надоѣла“.

пріятія вообще, ни его историческихъ созерцаній въ частности. Напротивъ, такое переживание проблемы смерти—явленіе довольно частое, встрѣчающееся и среди обывательскаго мышленія. Оно образуется на почвѣ тѣхъ эмоцій, которыя возникаютъ въ душѣ человѣка при переходѣ отъ молодости къ зрѣлому возрасту и старости, и является, стало быть, психическимъ отраженіемъ фізіологическаго процесса роста личности. Конечно, историческія настроенія могли обострить (и обострили) въ Пушкинѣ это воспріятіе жизни и смерти, но назвать ихъ единственной или даже основной причиной послѣдняго невозможно,—невозможно уже потому, что здѣсь Пушкинъ являлся какъ бы продолжателемъ державинской традиціи <sup>1)</sup>, знаменитыя строфы котораго до сихъ поръ еще у всѣхъ на устахъ.

Но, если въ самой постановкѣ проблемы нельзя найти ничего особенно оригинальнаго, то совершенно иначе обстоитъ дѣло съ разрѣшеніемъ ея, съ тѣмъ знаменитымъ, яснымъ и радостнымъ пушкинскимъ „преодолѣніемъ смерти“, о которомъ столько говорилось въ исторіи литературы:

И пусть у гробового входа  
Младая будетъ жизнь играть,  
И равнодушная природа  
Красою вѣчною сіять.

Откуда этотъ торжественно-побѣдный аккордъ? Гдѣ и въ чемъ почерпнулъ поэтъ силы, чтобы возвыситься надъ созерцаніемъ медленнаго движенія къ небытію, побѣдить ужасъ при мысли о послѣдней минутѣ? Этого нельзя найти у Державина, этого не встрѣтишь и въ мышленіи обывателя, пугливая воля котораго стремится отогнать неизбежно всплывающее представленіе роковаго мгновенія. Пушкинъ, напротивъ, не гонитъ мысли о смерти, даетъ ей постоянное при-

---

<sup>1)</sup> Очень любопытное и богатое выводами сопоставленіе Державина и Пушкина дѣлаетъ г. Ивановъ-Разумникъ въ своемъ предислов. къ „Избраннымъ сочиненіямъ“ перваго въ изд. тип. Стасюлевича.



станице въ своемъ сознаніи и все же упорно и неуклонно одолеваетъ ее, торжествуетъ побѣду надъ ея стихійнымъ ужасомъ. Обычное объясненіе этого факта ссылается на „античную ясность“ пушкинскаго генія, усматриваетъ его причину въ интенсивности „психологическаго оптимизма“, одерживающаго верхъ надъ „метафизическимъ пессимизмомъ“ и пр. <sup>1)</sup>. Однако, такое объясненіе нельзя признать удовлетворительнымъ: оно слишкомъ обще и безсодержательно. Строго говоря, оно очень смахиваетъ на тавтологію: съ психологической точки зрѣнія пріавшій міръ, конечно, пріаль его въ силу изначальной психологической оптимистичности своей натуры, равно такъ и сумасшедшій сошелъ съ ума въ силу специфическихъ особенностей своей организаціи. Но какъ и для того, чтобы сойти съ ума, въ большинствѣ случаевъ нужны ближайшія причины: внезапное потрясеніе, какой-нибудь задержанный аффектъ и пр., такъ и для „пріятія міра“ или „преодолѣнія смерти“, помимо общаго предрасположенія, необходимы еще особыя непосредственныя условія, которыми обычно бываютъ спеціальныя формы воспріятія этихъ фактовъ. Такимъ образомъ, въ объясненіи причинъ пушкинскаго отношенія къ смерти слѣдуетъ не ограничиваться формальной аппеляціей къ общимъ свойствамъ его генія, но искать отвѣта по существу въ ближайшихъ условіяхъ и обстановкѣ воспріятія имъ этой проблемы.

Этотъ отвѣтъ, собственно говоря, уже данъ въ послѣдней строфѣ стансовъ: для Пушкина представленіе о смерти связывалось не только съ представленіемъ о личномъ уничтоженіи, съ переживаніемъ небытія, какого-то неподвижнаго, мрачнаго хаоса, но и съ яркимъ и радостнымъ представленіемъ той жизни, которая все-таки будетъ продолжаться и въ то время, когда самъ онъ сойдетъ подъ мрачны своды.

---

<sup>1)</sup> Ивановъ-Разумникъ, «Евг. Онегинъ», Венгеровъ, т. III, стр. 232—34. пушкинистъ, II.

Вмѣсто того, чтобы останавливаться на роковомъ моментѣ, болѣзненно смаковать процессъ умиранія, даже разложеніе „безчувственнаго тѣла“ (ср., напримѣръ, толстовскія созерцанія), его воображеніе быстро бѣжитъ впередъ, съ умилениемъ рисуя обѣ картины молодой жизни и равнодушной красоты вѣчной природы. И въ томъ, что поэтъ воспринималъ смерть не какъ фактъ личнаго уничтоженія, абсолютнаго конца, которымъ все обрывается, но какъ „вытѣсненіе его изъ жизни“ милымъ младенцемъ,—въ этомъ и коренился залогъ его торжества: въ безкорыстномъ созерцаніи вѣчной жизни на землѣ поэтъ забывалъ о своей собственной, печальной судьбѣ.

Этотъ мотивъ одновременнаго представленія личной смерти и безконечной жизни человѣческаго цѣлаго не рѣдокъ въ творчествѣ поэта.

Здравствуй, племя

Младое, незнакомое. *Не я*

*Увижу* твой могучій, поздній возрастъ,

Когда переростешь моихъ знакомцевъ

И старую главу ихъ заслонишь

Отъ глазъ прохожаго. Но *пусть мой внукъ;*

*Съ пріятельской бесѣды возвращаясь,*

*Веселыхъ и пріятныхъ мыслей полнъ,*

Пройдетъ онъ мимо васъ во мракѣ ночи

И обо мнѣ вспомянетъ (1835 г.)

Здѣсь развитіе образа идетъ въ двухъ направленіяхъ. Съ одной стороны, поэтъ, упомянувъ о своей собственной смерти, уходитъ въ теплое и ясное созерцаніе внука, возвращающагося съ *пріятельской бесѣды*, полнаго *веселыхъ и пріятныхъ* думъ, съ другой стороны—передъ нимъ развертывается сравненіе между судьбой деревьевъ („когда переростешь моихъ знакомцевъ, и *старую главу ихъ заслонишь*“) и его собственной судьбой: вспомните старое „и наши внуки въ добрый часъ изъ міра вытѣснятъ и насъ“. Въ основѣ здѣсь

тотъ же образъ (или почти тотъ же) какъ въ стансахъ: „патріархъ лѣсовъ“, но онъ, эволюціонуя, слился съ выводомъ („И пусть у гробового входа младая будетъ жизнь играть“), и въ этомъ сліяніи создалъ два примирительныхъ и спокойно пріемлющихъ міръ и смерть представленія: красивую думу о томъ, какъ младое поколѣніе заслонитъ старую главу, и возвышенный переходъ отъ мысли о личной смерти къ мысли о жизни внуковъ.

Еще любопытнѣе отмѣтитъ тотъ циклъ мыслей и чувствъ въ прозѣ поэта, въ его обиходномъ, обращенномъ къ житейской практикѣ мышленіи. Мы уже указывали, какъ спокойно заносилъ онъ на бумагу эти совсѣмъ неравнозначныя слова: поля, крестьяне, любовь, семья, религія, смерть. Интересный комментарий къ этой программѣ даетъ письмо къ П. А. Плетневу того же 1831-го года: „Опять хандришь! Эй, смотри: хандра хуже холеры—одна убиваетъ только тѣло, другая убиваетъ душу. Дельвигъ умеръ, Молчановъ умеръ; погода умретъ и Жуковскій, умремъ и мы. Но жизнь все еще богата; мы встрѣтимъ еще новыхъ знакомыхъ, *новые созрѣютъ намъ друзья, дочь у тебя будетъ расти, выростетъ невѣстой. Мы будемъ старые хрычи, жены наши—старые хрычевки; а дѣтки будутъ славные, молодые, веселые ребята; мальчики станутъ повѣсничать, а дѣвчонки сентиментальничать, а намъ то и любо*“ (VIII, 255).

Константинъ Левинъ ужасался при мысли о старости, потому что онъ, въ своемъ эгоистическомъ мышленіи, видѣлъ въ ней только свою собственную дряхлость и близость послѣдняго новоселья,—Пушкинъ не только не боится стариковства, но и радостно пріемлетъ его, потому что онъ забываетъ о себѣ въ созерцаніи новыхъ созрѣвающихъ друзей (не „маленькаго ли Бѣлинскаго“,—говоря аллегорически), въ созерцаніи славныхъ веселыхъ ребятъ, на которыхъ и посматрѣтъ любо. Тутъ съ особенной яркостью сказывается полярная противоположность двухъ различныхъ формъ міро-

воспріятія: той, гдѣ весь міръ сужается до тѣснаго круга переживанія личнаго отношенія къ нему, и той, гдѣ личность, напротивъ, забываетъ себя, теряясь въ созерцаніи объективно развивающагося цѣлага, находитъ въ себѣ силы вѣрующимъ взоромъ взглянуть на жизнь, которая будетъ играть на землѣ послѣ ея смерти. И легко замѣтить, что эта противоположность сводится въ концѣ концовъ къ противоположности субъективнаго и объективнаго созерцанія, такъ что вмѣстѣ съ ней мы снова попадаемъ въ атмосферу той же борьбы эгоцентризма и объективизма, въ какой мы жили, изучая „Бориса Годунова“.

Между пушкинскимъ переживаніемъ смерти и его пименовскими настроеніями существуетъ глубокая связь по объективности воспріятія, и эта связь, на нашъ взглядъ, можетъ быть формулирована слѣдующимъ образомъ: объективное, историческое созерцаніе прошлаго и настоящаго научили поэта тому объективному созерцанію будущаго, которое дало ему силы преодолѣть ужасъ смерти. Чтобы убѣдиться въ правильности этого тезиса, достаточно произвести анализъ тѣхъ стихотвореній, гдѣ воспоминаніе развертывается параллельно съ думой о грядущемъ и гдѣ, стало быть, воспріятіе прошлаго сплетается съ воспріятіемъ будущаго. Сюда относятся по преимуществу „19 октября“ 1831 и 1836 года и „Вновь я посѣтилъ“ (1835 г.).

Давно ль, друзья?.. Но двадцать лѣтъ  
 Тому прошло; и что же вижу?  
 Того царя въ живыхъ ужъ нѣтъ;  
 Мы жгли Москву; былъ плѣнъ Парижу;  
 Угасъ въ тюрьмѣ Наполеонъ;  
 Воскресла грековъ древнихъ слава;  
 Съ престола палъ другой Бурбонъ;  
 Отбунтовала вновь Варшава.  
*Такъ дуновенья буфъ земныхъ*  
*И насъ нечаянно касались;*  
*И мы средъ пишествъ молодыхъ*

*Душою часто омрачались;*  
Мы возмужали; рокъ судилья  
И намъ житейски испытанья;  
И смерти духъ средь насъ ходиль  
И назначалъ свои закланья.

(„17 окт.“ 1831 г.; II, 161—2).

Была пора: нашъ праздникъ молодой  
Сіяль, шумѣль и розами вѣнчался...

Теперь не то...

Межъ нами рѣчь не такъ игриво льется;  
Просторнѣе, грустнѣе мы сидимъ;  
И рѣже смѣхъ средь пѣсенъ раздается,  
И чаще мы вздыхаемъ и молчимъ.  
Всему пора. Ужъ двадцать пятый разъ  
Мы празднуемъ Лицея день завѣтный;  
Прошли года чредою незамѣтной,—  
И какъ они перемѣнили насъ!  
Не даромъ, нѣтъ, промчалась четверть вѣка!  
*Не стѣуйте: таково судьбы законъ.*  
*Вращается весь міръ вокругъ человека,*  
*Ужели одинъ недвижимъ будетъ онъ?*  
Припомните, о други: съ той поры,  
Когда нашъ кругъ судьбы соединили,  
Чему, чему свидѣтели мы были!..  
Игралища таинственной игры,  
Метались смущенные народы,  
И высились, и падали цари;  
И кровь людей то славы, то свободы  
То гордости багрила алтари.

(„19 окт.“ 1836 г., т. II, 216—17).

Основной фонъ стихотвореній составляетъ объективное воспоминаніе объ историческихъ событіяхъ: о „дуновеньяхъ бурь земныхъ“, о томъ, какъ „метались смущенные народы,

игралища таинственной игры“, о томъ, какъ „жгли Москву, былъ плѣнь Парижу“ и пр. и пр. Это знакомое намъ созерцаніе „моря-окіяна“ стараго лѣтописца, описывающаго „войну и миръ, управу государей, угодниковъ святаго чудеса, пророчества и знаменья небесны“. И въ этотъ основной разсказъ тонкой нитью вплетается воспоминаніе о личной жизни, о томъ, какъ „рокъ судиль и намъ житейски испытанья, и смерти духъ средь насъ ходиль и назначалъ свои закланья“. Но именно благодаря такому сочетанію оно утрачиваетъ свою остроту и болѣзненность; та объективность и безстрастіе; которыя отличаютъ созерцаніе историческаго миновашаго, переносятся невольнo и на созерцаніе своего собственнаго прошлаго; факты личной жизни, переплетаясь съ фактами жизни общечеловѣческой, уже не пробуждаютъ въ поэтѣ чувства непосредственной личной заинтересованности, но приравниваются его сознаниемъ къ явленіямъ объективнаго міра. Въ воспріятіи поэта нѣтъ рѣзкаго разграниченія формъ переживанія своихъ „житейскихъ испытаній“ и событій всемірнаго значенія; и то и другое покрывается ощущеніемъ необходимости и всеобщности безконечнаго движенія по правиламъ „таинственной игры“. Поэтому-то и сами испытанія пріемлются съ покорностью, какъ проявленія той же могучей силы, которая дѣйствуетъ и въ развитіи мірового цѣлага, какъ факты, подчиненные всеобщему и непремѣнному закону судьбы. „Не сѣтуйте,—обращается поэтъ къ друзьямъ:—таковъ судьбы законъ: вращается весь міръ вкругъ человѣка, ужель одинъ недвижимъ будетъ онъ?“ Все течетъ, все „вращается“, и въ созерцаніи „вращенія“ великаго всего поэтъ забываетъ о „вращеніи“ малаго (своего личнаго бытія). Сравните, напримѣръ, рядъ личныхъ воспоминаній въ стихотвор. „Вновь я посѣтилъ“. Это произведеніе носить безусловно интимный характеръ, котораго лишены, конечно, писанныя для кружка пріятелей юбилейныя пьесы. А, между тѣмъ, и здѣсь тотъ же объективный, историческій разсказъ:

... Когда вы въ первый разъ  
Увидѣли меня, тогда я былъ  
Веселымъ юношей. Безпечно, жадно  
Я приступалъ лишь только къ жизни. Годы  
Промчались—и вы во мнѣ пріяли  
Усталаго пришельца.....

...  
Я былъ ожесточенъ. Въ уныньѣ часто  
Я помышлялъ о юности моей,  
\* Утраченной въ бесплодныхъ испытаньяхъ,  
О строгости заслуженныхъ упрековъ,  
О дружбѣ, заплатившей мнѣ обидой  
За жаръ души довѣрчивой и нѣжной—  
И горькія кипѣли въ сердцѣ чувства...  
Я возмужалъ,  
И дней моихъ взволнованный потокъ  
Теперь утихъ...  
Надолго-ли,—не знаю... Но прошли  
Дни (грозныхъ) бурь, дни горькихъ искушеній...  
(1835 г., II, 207 и 560).

Здѣсь нѣтъ ни гнѣва, ни раздраженія, никакихъ вообще  
горькихъ чувствъ, какого-нибудь кипѣнія; воспоминанія раз-  
вертываются спокойно, повѣствованіе описываетъ факты  
жизни, не вдаваясь ни въ какія субъективныя оцѣнки. Пе-  
редъ нами снова Пимень:

Какъ ласки ихъ мнѣ радостны бывали,  
Какъ живо жгли мнѣ сердце ихъ обиды!  
Но гдѣ же ихъ знакомый ликъ и голосъ?..  
Чуть-чуть ихъ слѣдъ ложится легкой тѣнью...  
*И мнѣ давно, давно пора за ними...* [III, 633 <sup>1</sup>],

---

<sup>1</sup>) Ср. еще:

Шесть мѣстъ упраздненныхъ стоять,  
Шести друзей не узримъ болѣ...  
*И, мнится, очередь за мной.*

Но, взглядываясь пристальнѣе въ структуру этого стихотворенія, легко найти въ ней тѣ же элементы, какъ и въ „юбилейныхъ“ произведеніяхъ. Оно изображаетъ въ миниатюрѣ ту же картину жизни личности на фонѣ общей жизни:

Ужъ десять лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, и много  
Перемѣнилось въ жизни для меня,  
*И самъ, покорный общему закону,*  
*Перемѣнился я...*

Переживаніе своей личной судьбы въ неразрывной связи съ судьбою цѣлаго и здѣсь не покидаетъ поэта. \*И, если относительно „19 окт.“ можно утверждать, что тамъ это переживаніе является результатомъ созерцанія участи цѣлой группы людей, широко разбредшейся по всему міру <sup>1)</sup>, то появленіе его въ произведеніи, описывающемъ глухой замкнутый уголокъ деревни, нельзя объяснить иначе, какъ глубокимъ усвоеніемъ его общимъ формамъ созерцанія поэта. Онъ уже не можетъ сосредоточиться на самомъ себѣ, на своихъ личныхъ воспоминаніяхъ, и, вырвавъ ихъ изъ цѣпи всего совершающагося, разразиться градомъ упрековъ и сѣтованій. Напротивъ, начавъ съ подведенія себя подъ „общій законъ“, онъ переходитъ затѣмъ къ смерти няни, къ появленію „младой рощи“ тамъ, „гдѣ нѣкогда все было пусто, голо“ (вѣдь все это „событія“ деревенской жизни), прерываетъ нить воспоминаній описаніемъ красоты „равнодушной природы“ (вставка: „Межь нивъ золотыхъ и пажитей зеленыхъ оно, синѣя, стелется широко“ и т. д.), и только въ заключеніе сводитъ рассказъ къ изложенію собственныхъ злюключеній. Созерцанія стихотворенія лишены всякой эгоцентрической окраски; поэтому владѣютъ объективно-историческія настроенія; объектомъ воспріятія служитъ не нить отдѣльнаго существованія, а всеобщій процессъ жизни, безконечный въ грядущемъ и въ

---

<sup>1)</sup> Ср. „19 окт. 1827 г.“, гдѣ поэтъ вспоминаетъ о товарищахъ, раскиданныхъ по всей землѣ: „въ краю чужомъ, въ пустынномъ морѣ, и въ мрачныхъ пропастяхъ земли“.



прошломъ, для котораго нѣтъ смерти и уничтоженія. Отдѣльныя впечатлѣнія организуются въ стройное единство сознаниемъ всеобщности закона строгой судьбы, и всѣ личныя чувства тонуть въ паосѣ медленно движущагося времени. И мысль о смерти, развивающаяся въ двухъ параллельныхъ образахъ: о гибели старыхъ деревьевъ и собственномъ „вытѣсненіи“ внукомъ подчиняется общему тону пьесы. Представленіе будущаго конструируется по тѣмъ же самымъ принципамъ, какъ и представленіе прошлаго и настоящаго; оно не обрывается на моментъ индивидуальнаго уничтоженія, а рисуетъ картину изъ жизни „младой рощи“, т. е. тотъ же самый процессъ бытія, съ какимъ имѣетъ дѣло и ретроспективный взглядъ.

Тутъ чрезвычайно отчетливо выступаетъ связь особаго воспрїятія будущаго, заключеннаго въ образахъ „Стансовъ“, „Памятника“ и пр., съ историческими формами пушкинскаго мышленія вообще. Историзмъ, давшій поэту объективное созерцаніе того, что было, далъ ему и объективность въ созерцаніи того, что еще совершится. Въ историзмѣ—своеобразіе пушкинскаго переживанія смерти, и въ немъ же—залогъ его побѣды надъ ужасомъ послѣдняго часа.

Но, уничтожая страхъ смерти и желаніе забыться въ чаду жизни, такой „взглядъ впередъ“ не оставляетъ все же личность совершенно равнодушной къ тому, чему еще суждено быть. Напротивъ, въ ней возникаетъ желаніе принять участіе въ этой будущей жизни хотя бы въ памяти людей, повліять на нее какимъ бы то ни было образомъ, черезъ созданія рукъ своихъ, словомъ, потрудиться во имя „поколѣнійъ будущихъ столѣтій“ (Шиллеръ). Этотъ мотивъ замѣтенъ уже въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ (см. выше), онъ же отчетливо сквозитъ въ монологъ Пимена.

Строго говоря, весь трудъ Пимена совершается во славу будущаго. Безъ надежды на то, что

Когда-нибудь монахъ трудолюбивый  
Найдетъ мой трудъ усердный, безымянный;  
Засвѣтитъ онъ, какъ я, свою лампаду

И, пыль вѣковъ отъ хартій отряхнувъ,  
Правдивыя сказанья перепишетъ,  
Да вѣдаютъ *потомки* православныхъ  
Земли родной *минушую судьбу*,—

безъ этой надежды составленіе лѣтописи, которая не можетъ сейчасъ же увидѣть свѣтъ и вліять непосредственно, утрачиваетъ всякій смыслъ и значеніе. Въ глазахъ старцахъ цѣлью его хроники является поученіе потомковъ православныхъ. Передъ нимъ проходитъ не только минувшее, но и будущее, которое онъ представляетъ себѣ въ тѣхъ же объективно-историческихъ рамкахъ, и этому будущему хочетъ онъ служить своимъ трудомъ. Объективировавъ прошлое, отвернувшись отъ настоящаго, онъ торопится исполнить свой долгъ передъ подходящими поколѣніями, созерцаніе жизни которыхъ не затемняется въ его сознаніи мыслью о собственной смерти.

Но это служеніе будущему имѣетъ у Пимена совершенно особый характеръ: оно анонимно, его трудъ безымянень. Ушедшему отъ жизни старцу не нужно, чтобы его имя перешло въ память потомства, чтобы его образъ жилъ вмѣстѣ съ его произведеніемъ. Онъ довольствуется отраднымъ сознаніемъ исполненнаго долга, и съ этой точки зрѣнія его трудъ абсолютно безкорыстенъ и дѣйствительно религиозенъ. Такого отношенія къ будущему мы не найдемъ у Пушкина. Его произведенія должны служить да и служить фактически не одному будущему. Они пущены въ оборотъ современной жизни, ихъ не только перепишетъ когда-нибудь трудолюбивый историкъ, но и сейчасъ „списываютъ“ добрые знакомые, ихъ треплютъ Булгарины и Гречи, ихъ судить чернь. И судъ этотъ таковъ, что измученному поэту, сознающему въ то же время свои достоинства и заслуги, не остается ничего другого, какъ возложить свои надежды на будущее, обратившись къ современникамъ съ язвительнымъ укоромъ:

О люди! Жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха!  
Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!  
Какъ часто мимо васъ проходитъ человѣкъ,  
Надъ кѣмъ ругается слѣпой и буйный вѣкъ,  
Но чей высокій ликъ въ грядущемъ поколѣнѣ  
Поэта приведетъ въ восторгъ и умиленье!

(7/IV 1835 г., Св. Хр. Воскр., т. II, 201).

Отъ современности они апеллируютъ къ будущему. Фактъ этотъ очень любопытенъ: здѣсь сказывается то же „противорѣчье“, которое мы уже имѣли случай разбирать при анализѣ „народа и толпы“ въ „Борисѣ Годуновѣ“. Пушкинъ не признаетъ суда черни:

Ты самъ свой высшій судъ,—говоритъ онъ поэту,—  
Всѣхъ строже оцѣнить умѣешь ты свой трудъ.  
Ты имъ доволенъ ли, взыскательный художникъ?  
Доволенъ? Такъ пускай толпа его бранить,  
И плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь горитъ,  
И въ дѣтской рѣзвости колеблетъ твой треножникъ.

(1830 г., II, 126).

Трезвый и ясный взглядъ реалиста скользитъ по толпѣ „жрецовъ минутнаго, поклонниковъ успѣха“ и не находитъ въ ней никого, кто бы могъ сдѣлаться авторитетомъ для художника; слѣпому и буйному сужденію „измѣнчивой и суетвѣрной“ черни онъ противопоставляетъ автономное рѣшеніе самого поэта: ты самъ свой высшій судъ: дорогою свободной иди, куда влечетъ тебя свободный умъ. Но этимъ презрѣніемъ къ площадному шуму наличной минуты отношеніе поэта къ обществу далеко не исчерпывается. Историческое созерцаніе жизни раскрываетъ передъ нимъ новые горизонты: подобно тому, какъ въ драмѣ Бориса Годунова за безобразными уличными сценами стоитъ и вершитъ дѣло особая культурно-историческая сила—„народное мнѣніе“, такъ и здѣсь въ его личномъ дѣлѣ, кромѣ суда глупца и смѣха холодной толпы, есть высшая инстанція—грядущій

судь исторіи въ лицѣ ея идеальнаго носителя—народа. И, отвергая съ негодованіемъ сужденія и претензіи черни, поэтъ, напротивъ, въ надеждѣ на грядущій приговоръ исторіи находитъ себѣ утѣшеніе и силы, чтобы спокойно отнестись къ окружающему:

Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой,  
И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ,  
И гордый внукъ славянъ, и финнъ, и нынѣ дикій  
Тунгузъ и другъ степей калмыкъ.  
И долго буду тѣмъ любезенъ я *народу*,  
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,  
Что въ мой жестокій вѣкъ возславиль я свободу  
И милость къ падшимъ призывалъ.

„Народъ“, выведенный въ этихъ строфахъ, и „чернь“ ямбовъ и стихотвореній соответствующаго цикла не имѣютъ между собой ничего общаго. Это понятія совершенно различныхъ категорій: одно суммируетъ непосредственныя впечатлѣнія текущаго момента, оцѣнивая ихъ внѣ всякаго соображенія объ исторической перспективѣ, другое, напротивъ, является результатомъ историческаго созерцанія жизни, въ которомъ исчезаютъ всѣ отдѣльные, разрозненные факты и остаются лишь крупныя, общаго значенія итоги человѣческаго развитія, которые заставляютъ предполагать особаго носителя исторической правды-истины — народъ. Здѣсь стираются всѣ временныя, случайныя отличія, стихаютъ бессмысленные крики и осужденія, „и гордый внукъ славянъ, и финнъ, и нынѣ дикій тунгузъ и другъ степей калмыкъ“ сливаются въ единое народное цѣлое, гдѣ нѣтъ ни классовыхъ, ни свѣтскихъ, ни бытовыхъ предразсужденій, но чистое и возвышенное моральное сознаніе. И именно моральное: вѣдь мотивировка будущаго приговора „народнаго мнѣнія“ надъ поэтомъ чисто этическая: народъ возлюбитъ его за служеніе добру, свободѣ и милосердію. Въ этомъ отношеніи представленіе о народѣ въ „Памятникѣ“ ни въ чемъ не расходится

съ пименовскими воззрѣніями въ „Борисѣ Годуновѣ“. И тутъ и тамъ народъ противопоставляется черни, и тутъ и тамъ его оцѣнка чисто этическая (своихъ царей великихъ поминають за ихъ труды, за славу, за добро и пр.), такъ что формулу „Памятника“ можно назвать примѣненіемъ къ самому поэту того пожеланія, которое высказываетъ Пимень по адресу „историческихъ“ личностей вообще. Съ одной стороны, глубокое осознаніе своего личнаго значенія, своей „историчности“, съ другой же чрезвычайно свободное объективное воззрѣніе на будущее позволили поэту взглянуть, такъ сказать, со стороны на самого себя, какъ на „историческій фактъ“ въ безконечномъ историческомъ процессѣ и противопоставить суду глупцовъ судъ исторіи.

И что это противопоставленіе не случайно, что „Памятникъ“ не простое подражаніе, для выясненія генезиса котораго довольно историко-сравнительнаго метода, объ этомъ свидѣтельствуетъ то обстоятельство, что идея суда исторіи глубоко укоренилась въ сознаніи поэта. Мы уже видѣли, какъ исторично судилъ онъ Александра I въ „19 окт. 1825 г.“; въ 1829 г. онъ замѣчаетъ по поводу одного мѣста погодинской статьи о „Борисѣ Годуновѣ“: „Мертвыхъ царей судить исторія, ибо на царей и на... (неразб. сл.) нѣтъ иного суда <sup>1)</sup>. Еще болѣе любопытна характеристика Петра Великаго (отъ 1834 г.): „Достойна удивленія разность между государственными учрежденіями Петра Великаго и временными его указами. Первыя суть плоды ума обширнаго, исполненнаго доброжелательства и мудрости, вторыя нерѣдко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутомъ. *Первыя были для вѣчности или по крайней мѣрѣ для будущаго,— вторыя вырвались у нетерпливаго самовластнаго помѣщика* (VII, 600). Здѣсь то же отчетливое противопоставленіе „историческаго“ и „злободневнаго“ и, пользуясь терминами этихъ отрывковъ, мы такъ можемъ вы-

<sup>1)</sup> „Пушкинъ и его соврем.“, вып. VIII, стр. 159. Статья Погодина: „Объ участіи Бориса Годунова въ убіеніи царевича Димитрія“. „Моск. вѣст.“, 1829 г., ч. III.

разить внутренней смыслъ „Памятника“: отвергая приговоръ „Уголовной Палаты“, относясь съ презрѣніемъ къ сужденію „самовластнаго помѣщика“, Пушкинъ склонялся передъ судомъ будущаго, передъ судомъ исторіи, которая одна призвана судить „мертвыхъ царей“ и... поэтовъ, скажемъ мы, дополняя неразборчивое слово.

Такимъ образомъ, историческія формы созерцанія не только дали поэту возможность преодолѣть ужасъ смерти, но и помогли ему, опираясь на вѣру въ безпристрастную справедливость суда грядущихъ временъ, спокойноѣ отнестись къ оцѣнкамъ современности:

Велѣнью Божію, о муза, будь послушна:  
Обиды не страшась, не требуя вѣнца,  
Хвалу и клевету пріемли равнодушно  
И не оспаривай глупца.

Это заключеніе вполне послѣдовательно и естественно вытекаетъ изъ общаго настроенія стихотворенія: не страшиться обиды, быть равнодушнымъ къ хвалѣ и клеветѣ можно лишь тогда, когда вѣришь, что за нелѣпницей злободневности, данной въ непосредственномъ воспріятіи и изолированной оцѣнкѣ, очерчиваются иныя формы человѣческой жизни, протекающей во времени и реализующей въ процессѣ таинственной игры объективныя этическія цѣнности. Покорность, къ которой здѣсь призываетъ поэтъ свою музу, не слѣпой фатализмъ, подчиненіе бессмысленной, но непреодолимой силѣ, но спокойное и ясное пріятіе міра во имя осуществляющейся въ немъ ирраціонально правды и справедливости.

Въ „Памятникѣ“ въ слитномъ видѣ даны основные мотивы пушкинскаго пріятія міра, поскольку оно выходило за предѣлы простой обывательской привычки жить и не затемнялось горькими чувствами, столь понятными въ печальныхъ обстоятельствахъ жизни поэта. И мы ясно видимъ, что въ основѣ этого міропріятія лежитъ объективное созерцаніе дѣйствительности, какъ историческаго объективно-цѣннаго процесса.

VI.

Предыдущее изложение пыталось показать, что в наиболее ярких поэтических образчиках пушкинского мироприятия преобладают те же мотивы, какъ и въ „Борисъ Годуновъ“. Отсюда, однако, отнюдь, не слѣдуетъ дѣлать вывода, будто авторъ утверждаетъ, что въ Пушкинѣ всегда господствовали эти бодрья и ясныя настроенія. Совсѣмъ напротивъ.

Те богатыя теоретическія возможности, которыя содержались въ общей идейной структурѣ трагедіи, не отлились ни сейчасъ же, ни позднѣе въ стройную и рѣзко ограниченную систему мировоззрѣнія. Онѣ такъ и остались возможностями, указаніемъ новаго пути, ведущаго къ преодоленію пессимистическаго антропоцентризма, и отнюдь не знаменовали собой достиженія полной гармоніи въ коренныхъ вопросахъ идеологии и полного перевоспитанія личности. Они отмѣчаютъ новый періодъ духовнаго развитія поэта, но никогда—конецъ его, послѣ котораго личность въ каждый данный моментъ обнаруживаетъ себя одной и той же единой и цѣльной сущностью.

Пушкину предстоялъ длинный путь борьбы съ самимъ собой, переработки отдѣльных частныхъ сужденій, подавленія многихъ страстныхъ порывовъ, длинный путь самоограниченія и самоотреченія. И этотъ путь былъ тѣмъ труднѣе, что въ самомъ поэтѣ не выкристаллизовалось твердыхъ и опредѣленныхъ убѣжденій. Смутныя предчувствія, не совсѣмъ ясныя идеи, которыя скорѣе можно отнести къ эмоциональнымъ, чѣмъ къ чисто-теоретическимъ переживаніямъ, могли лишь опредѣлить общее направленіе духовной эволюціи поэта, сказавшееся въ стихотвореніяхъ пименовскаго цикла, но, конечно, не были въ состояніи замѣнить законченное мирозерцаніе и сыграть его могущественную роль въ преодоленіи индивидуалистическихъ стремленій.

А сюда слѣдуетъ еще присоединить и исключительно суровыя внѣшнія обстоятельства жизни поэта. Въ знакъ своего глубокаго уваженія къ генію царь Николай окружилъ его цѣпью двойной цензуры, усиленнаго надзора и постоянно „держалъ его при себѣ“, очевидно, какъ „умнѣйшаго чело-вѣка Россіи“. Пушкину было отказано даже въ тѣхъ возможностяхъ культурной работы и независимости, которыми пользовались русскіе обыватели. Та виньетка, которая безпрепятственно проходила на книгѣ бездарности, возбуждала цензурныя тревоги на его сборникѣ, свобода передвиженія, которой пользовался пошехонецъ, была ему воспрещена и пр., Всѣ попытки объективно-цѣнной дѣятельности разбивались, какъ о каменную стѣну, о жандармское тупоуміе правящихъ, о скиѣскіе нравы и дикую некультурность общества. Каждое начинаніе, каждая мечта о безкорыстномъ служеніи „пѣвца, призваннаго небомъ“, несли ему лишь горькія разочарованія, обиды и оскорбленія. Не мудрено, что при такихъ условіяхъ мысль забросить всякую заботу объ общественно-полезной работѣ и всецѣло замкнуться въ тѣсномъ кругу личныхъ интересовъ, „себѣ лишь самому служить и угождать“—эта мысль все настойчивѣе и настойчивѣе овладѣвала по-этомъ и казалась единственно благоразумной.

Отвѣчая неумолчному ропоту его собственной души, жаждавшей тихаго покоя и счастья, сама жизнь, казалось, кричала ему: оставь всякіе помыслы о другихъ, о Россіи, о борьбѣ за „просвѣщеніе“. Тутъ ты ничего не можешь сдѣлать. Спасай себя самого, позаботься о себѣ. Отойди отъ зла и сотвори благо“.

И подъ вліяніемъ этихъ двухъ силъ — силы внутренняго, неугасимаго и—въ извѣстныхъ предѣлахъ и формахъ—вполнѣ законнаго стремленія къ счастью, къ устройству личной жизни и силы внѣшнихъ обстоятельствъ, безжалостно разрушавшихъ всѣ иллюзіи насчетъ культурнаго подвига,—въ поэтѣ пробуждались прежнія рѣзко-эгоистическія и эгоцен-



трическія настроенія, подчасъ совершенно заглушавшія пи-  
меновскія, возвышенныя переживанія и отливавшіяся въ  
такія рѣзкія формы, какъ стихотвореніе 1836 г. „Изъ  
VI Пиндемонте“:

Иныя, лучшія мнѣ дороги права,  
Иная, лучшая потребна мнѣ свобода...  
Зависѣть отъ властей, зависѣть отъ народа—  
Не все ли намъ равно? Богъ съ ними!.. *Никому*  
*Отчета не давать; себѣ лишь самому*  
*Служить и угождать; для власти, для ливреи*  
Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи;  
*По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ;*  
*Дивясь божественнымъ природы красотамъ,*  
*И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья*  
*Безмолвно утонать въ восторгахъ умиленья—*  
*Вотъ счастье, вотъ права!.. (VI, 213).*

Поскольку это стихотвореніе отстаиваетъ первенствующее  
значеніе личной независимости, „самостоянье челоувѣка, за-  
логъ величія его“, постольку оно безусловно согласуется съ  
идеей объективнаго назначенія земной жизни личности и  
вполнѣ послѣдовательно вытекаетъ изъ него. Можно только  
удивляться, откуда взялись у русскаго челоувѣка эти англій-  
скія точки зрѣнія, но нельзя ничего возразить противъ нихъ.  
Но пьеса идетъ гораздо дальше: она намѣчаетъ идеаль  
счастья, и этотъ идеаль, гдѣ центромъ является эгоистическое  
наслажденіе, не только подлежитъ суровой моральной кри-  
тикѣ, но и противорѣчитъ общимъ воззрѣніямъ поэта по  
этому предмету.

Легко замѣтить, что эти формулы совершенно несо-  
гласны и съ тезисомъ 1831-го года: „на свѣтѣ счастья нѣтъ,  
а *есть покой и воля*“, и съ общими программами его во-  
ображаемой жизни въ деревнѣ, гдѣ наиболѣе почетное  
мѣсто отводится „трусамъ поэтическимъ“, заботѣ о крестья-  
нахъ и пр. Тутъ счастье: „покой и воля“, „самостоянье“ —

лишь *залогъ величія* чловѣка, которое достигается въ процессѣ объективно-цѣннаго созиданія, внѣшняя обстановка для *трудоу* жизни; тамъ оно—и форма и содержаніе: личная независимость нужна для наиболѣе интенсивнаго личнаго наслажденія жизнью. Правда, теоретически объ эти формы рѣшенія вопроса о назначеніи чловѣка не отчетливо разграничивались въ сознаніи Пушкина, но эмоционально онѣ принадлежали къ двумъ рѣзко отличнымъ рядамъ переживаній. Если сельскія мечтанія поэта, полныя тихой и ясной покорности, смутно восчувствующія религиозное начало жизни, тѣсно примыкають къ идеалистической реабилитаціи быта, данной въ типѣ Бѣлкина, въ „Капитанской дочкѣ“ (ср. А. Григорьева), связываются психологически съ бодрымъ и яснымъ пріятіемъ міра, съ перспективой исполненія „завѣщаннаго долга“: „отрѣшить воловъ отъ плуга на послѣдней бороздѣ“, то настроеніе Пиндемонте воскрешають эгоцентрическія тенденціи Алеко и Кавказскаго Плѣнника <sup>1)</sup>).

Временами эти настроенія усиливаются, всецѣло охватываютъ поэта, разрушають въ немъ всѣ возрѣнія, приобрѣтенныя съ такимъ трудомъ. Въ немъ постоянно происходитъ борьба между эгоцентрическимъ и объективнымъ переживаніемъ жизни, между идеями и настроеніями „Памятника“ и Пиндемонте, „Стансовъ“ и стихотворенія „Даръ напрасный, даръ случайный“ и пр. И минутами послѣднія одолѣвають первыя:

Напрасно я бѣгу къ Сіонскимъ высотамъ—

Грѣхъ гонится за мною по пятамъ.

(II, 189, 1833 г.).

Набросавъ пятого іюля строфы Пиндемонте, полныя эгоистическаго настроенія, онъ уже двадцать второго перелагаетъ въ великолѣпные стихи прекрасную великопостную молитву Ефрема Сирина, которая

---

<sup>1)</sup> Подробный анализъ связи „историзма“ Пушкина съ его возрѣніями на бытъ и назначеніе чловѣка авторъ надѣется представить въ ближайшихъ очеркахъ, посвященныхъ изслѣдованію эстетическаго и этическаго развитія поэта.

Всѣхъ чаще мнѣ приходитъ на уста—  
И падшаго свѣжить невѣдомою силой:  
„Владыко дней моихъ! Духъ праздности унылой,  
„Любоначалія, змѣи сокрытой сей,  
„И празднословія не дай душѣ моей;  
„Но дай мнѣ зрѣть мои, о Боже, прегрѣшенья,  
„Да братъ мой отъ меня не приметъ осужденья  
„И духъ смиренія, терпѣнія, любви  
„И цѣломудрія мнѣ въ сердцѣ оживи“.  
(II, 213, 1836 г.).

Такъ борются въ немъ противорѣчивыя тенденціи, и въ процессѣ этого боренія передъ нимъ встаютъ проблемы, уже не разъ продуманные, возникаютъ настроенія, уже не разъ пережитыя. Проблемы эти вновь перерѣшаются, настроенія вновь переоцѣниваются. И однимъ изъ самыхъ яркихъ, крупнѣйшихъ памятниковъ этой переоцѣнки является прекраснѣйшая и оригинальнѣйшая изъ поэмъ Пушкина— гениальный „Мѣдный всадникъ“.

Нѣкоторыя особенности этой вещи,—замѣчаетъ Брюсовъ— несоотвѣтствіе отдѣльныхъ эпизодовъ безхитростной основной темѣ, введеніе элемента сверхъестественнаго, нерѣдко приподнятый и торжественный тонъ повѣствованія, — все это „заставило критику, съ ея первыхъ шаговъ, искать въ „Мѣд. вс.“ *второго, внутреннюю смысла, видѣть въ образахъ Евгенія и Петра воплощенія, символы двухъ началъ* (курсивъ нашъ). Было предложено много разнообразнѣйшихъ толкованій повѣсти, но всѣхъ ихъ, какъ намъ кажется, можно свести къ тремъ типамъ“.

„Одни, въ числѣ ихъ Бѣлинскій, видѣли смыслъ повѣсти въ сопоставленіи коллективной воли и воли единичной, личности и неизбежнаго хода исторіи“.

„Другіе, мысль которыхъ всѣхъ отчетливѣе выразилъ Д. Мережковскій, видѣли въ двухъ герояхъ „Мѣднаго всадника“ представителей двухъ изначальныхъ силъ, борющихся въ

европейской цивилизации: язычества и христианства, отречения отъ своего я въ Богѣ и обожествленія своего я въ героизмѣ“.

Третьи наконецъ, (сюда относится и самъ Вал. Брюсовъ. Б. Э.) видѣли въ Петрѣ воплощеніе самодержавія, а „злбномъ“ шопотѣ Евгенія — мятежь противъ деспотизма“<sup>1)</sup>.

Дальнѣйшее изложеніе покажетъ, къ какому изъ этихъ мнѣній примыкаемъ мы сами, а пока намъ важно отмѣтить, что вся русская критика признавала и признаетъ „второй, внутренній смыслъ“ поэмы. Внѣшній сюжетъ произведенія только знакъ для изображенія какой-то глубокой, внутренней трагедіи, въ пониманіи которой истолкователи расходятся самымъ рѣзкимъ образомъ. Внѣшній стимулъ—отвѣтъ на вызовъ Мицкевича<sup>2)</sup> — только послѣдній толчокъ для творческаго возсозданія тайныхъ мукъ, „шума внутренней тревоги“, подъ бременемъ которой изнемогалъ поэтъ. Въ другомъ мѣстѣ мы постараемся выяснитъ, насколько сознательнъ былъ процессъ этой символизаци, слѣды которой мы вообще можемъ замѣтитъ въ прекраснѣйшихъ изъ реалистическихъ произведеній Пушкина. Теперь же мы займемся анализомъ „второго, внутренняго смысла“ „Мѣднаго всад.“, поскольку въ немъ, въ процессѣ ли абсолютно сознательнаго или же безсознательнаго творчества, раскрылись тѣ или иныя тенденціи развитія его гениальнаго сознанія. Впрочемъ, уже сейчасъ мы съ полнымъ правомъ можемъ подчеркнуть, что именно въ „Мѣд. вс.“ выраженіе общихъ идей гораздо сознательнѣе, чѣмъ въ другихъ пьесахъ.

Приступая къ разбору поэмы, мы легко можемъ замѣтитъ, что въ ней мы имѣемъ дѣло съ знакомыми уже для

<sup>1)</sup> Венгеровъ, „Пушкинъ“, т. III, стр. 456.

<sup>2)</sup> J. Tretiak: Mickiewicz i Puszkín. Warszawa. 1906 г. (Реферирована книга въ VII вып. „Пушк. и его сов.“, стр. 79—109, С. Браиловскимъ).

насть главными дѣйствующими лицами и событіями; Евгений—Мѣдный Всадникъ — наводненіе даютъ при первомъ же взглядѣ на нихъ довольно полный аналогъ троичности: Борисъ Годуновъ—Пимень—народное движеніе и Алеко—Старый Цыганъ—стихійная страсть Земфиры. Такимъ образомъ, не предрѣшая заранѣе характера внутренней связи между ними, мы смѣло можемъ въ анализѣ „Мѣднаго всадника“ воспользоваться тѣми же методами, какъ и при изслѣдованіи „Цыганъ“ и „Бориса Годунова“. Тамъ, чтобы выяснитъ сущность основной антитезы, мы прибѣгали первоначально къ уясненію существенныхъ чертъ главныхъ героевъ и субъективной ихъ значимости, а затѣмъ уже переходили къ характеристикѣ ихъ соотношенія. Этотъ приемъ мы примѣнимъ къ истолкованію „Мѣднаго всадника“.

Сопоставляя „Родословную моего героя“ съ законченной поэмой, мы убѣждаемся сразу въ двухъ вещахъ: съ одной стороны, въ томъ, что характеристика героя подвергалась значительнымъ измѣненіямъ, съ другой стороны, въ томъ, что съ самаго начала, когда цѣлое пьесы еще только намѣчалось, основной замыселъ ея былъ полонъ субъективныхъ и даже автобіографическихъ чертъ, что поэма выростала на почвѣ личныхъ, мучительныхъ переживаній. Въ самомъ дѣлѣ, тема сопоставленія исхудалаго потомка нѣкогда знатнаго рода петровскому Петербургу съ его нивелирующей чиновничьей цивилизаціей и придворной знатью новаго стиля была для Пушкина чрезвычайно близкой и соотвѣтствовала тому противорѣчію, которое такъ мучительно ощущалось имъ въ пору его петербургской жизни въ штатѣ царя Николая. Здѣсь могли выразитъ его завѣтныя, столь часто проскальзывавшія и въ его прозѣ, и въ его поэзіи мысли. Здѣсь могла уясниться и такъ или иначе субъективно рѣшиться проблема отношенія дворянства къ государству, могъ быть поэтически воплощенъ тотъ вызовъ бюрократическому произволу и чиновничьей гордости, который онъ постоянно посылалъ пе-

тербургскому свѣту, опираясь на свое „шестисотлѣтнее дворянство“ и своеобразно по щербатовски понятаго Монтескье<sup>1)</sup>).

И, тѣмъ не менѣе, поэтъ постепенно отказался отъ этой темы. Въ самой поэмѣ шестисотлѣтнее дворянство героя почти не подчеркнуто; о немъ лишь вскользь брошено замѣчаніе да и то съ оговорками: прозваніе героя

... быть можетъ и блистало  
И подъ перомъ Карамзина  
Въ родныхъ преданьяхъ прозвучало,  
Но нынѣ свѣтомъ и молвой  
Оно забыто. Нашъ герой  
Живетъ въ Коломнѣ, гдѣ-то служить,  
*Дичится знатныхъ и не тужитъ*  
*Ни о покойницѣ роднѣ*  
*Ни о забытой старинѣ.*

(IV, 252).

Въ послѣднихъ строкахъ поэтъ уничтожаетъ какъ бы весь смыслъ и значеніе первыхъ. Въ нихъ отрѣзана психологическая возможность построить антитезу на древнемъ происхожденіи, опереться въ „шопотѣ“ противъ Мѣднаго Всадника на историческую традицію.

Точно также отказался Пушкинъ и отъ намѣренія представить своего героя богатымъ или, по крайней мѣрѣ, состоятельнымъ человѣкомъ, независимымъ петербургскимъ франтомъ, съ фамиліей во вкусѣ тогдашняго романтизма: Зоринъ, Рулинъ и пр. (Ср. варианты: Въ своемъ роскошномъ кабинетѣ. Въ то время Рулинъ молодой сидѣлъ...; Тогда, по каменной площадкѣ пескомъ усыпанныхъ сѣней... Въ своемъ безмолвномъ кабинетѣ Въ то время Зоринъ молодой сидѣлъ... т. IV, стр. 373—374).

<sup>1)</sup> О непосредственномъ знакомствѣ Пушкина съ Монтескье свидѣлствуетъ не доразрѣзанный экземпляръ сочиненій этого мыслителя въ его библіотекѣ. Ср. также свидѣт. А. Н. Вульфа, Майковъ, 176, Пушк. и его совр., IX—X, 293.

Въ окончательной редакціи своей поэмы Пушкинъ отнялъ отъ героя идеальную силу родовитости и практическую, житейскую мощь состоятельности. Его герой обнищалъ въ буквальномъ смыслѣ этого слова и въ то же время лишился послѣдняго оружія и устойчивости, сдѣлался смиренной пѣшкой, „столичнымъ гражданиномъ, какихъ встрѣчаете вы тѣмъ“ (IV, 367).

Каковъ же смыслъ этого преобразования? Значеніе его въ обобщеніи. Обнищавши, герой потерялъ свою исключительность, сталъ универсальнѣе и потому гораздо существеннѣе. Потерявъ въ личной значимости, онъ выигралъ въ отношеніи соціальной цѣнности представителя многаго множества „столичныхъ гражданъ“, имя которымъ легіонъ. Этотъ фактъ подмѣтилъ еще Анненковъ, („Матеріалы“, 375 г.) и, опираясь на него, объяснилъ постепенное видоизмѣненіе облика Евгенія чисто-художественными соображеніями поэта, тѣмъ, что „всякая остановка на частномъ лицѣ была бы тутъ примѣтна и противохудожественна“, и Пушкинъ „по глубокому пониманію эстетическихъ законовъ даже старался ослабить и тѣ легкія очертанія, которыми онъ обрисовалъ Евгенія“ (IV, 243). Объясненіе это безусловно правильно, но не полно. Оно справедливо лишь въ предѣлахъ *данной композиціи* поэмы, поскольку мы говоримъ объ осуществленномъ замыслѣ. Но вѣдь мы не знаемъ, какою даль еще неясно различалъ Пушкинъ, когда онъ набрасывалъ первыя строфы „Родословной“. Само собой понятно, что тогда онъ могъ еще такъ повернуть тему, что именно „по глубокому пониманію эстетическихъ законовъ“ ему пришлось бы поднять своего героя и въ родовитости, и въ состоятельности, и въ духовной одаренности.

Необходимость и закономерность обобщенія основного образа, обобщенія, при которомъ онъ сталъ представителемъ столичнаго множества, дѣлается понятной только въ томъ случаѣ, если мы признаемъ, что оно является отраженіемъ

обобщенія самой идеи произведенія, что характеристика героя произведенія эволюционируетъ вмѣстѣ съ его темой. И, дѣйствительно, нѣтъ никакого сомнѣнія, что видоизмѣненію типа Евгенія соотвѣтствовало въ процессѣ созиданія видоизмѣненіе всего замысла: очевидно, что проблема, которую Пушкинъ замышлялъ поставить въ „Родословной“, сильно разнится отъ проблемы, воплощенной въ „Мѣдномъ Всадникѣ“. Можно даже сказать, что, кромѣ брошеннаго вскользь замѣчанія о происхожденіи Евгенія, въ законченной поэмѣ не осталось и слѣда отъ первоначальнаго плана, такъ что объясненіе эволюціи образа Евгенія цензурными условіями при наличности одной и той же темы, какъ это думаетъ П. Морозовъ (IV, 239), слѣдуетъ признать психологически невозможнымъ: настроенія „Родословной“ настолько основательно исчезли изъ поэмы, что является совершенно непонятнымъ, какъ поэтъ могъ бы создать такое произведеніе, оставаясь при старомъ заданіи.

Что же сдѣлалось съ темой? Отвѣтъ на этотъ вопросъ не подлежитъ никакому сомнѣнію: она также обобщилась, потеряла значительную долю своей исторической конкретности, какъ и образъ самого героя. Относительно частный вопросъ, отвѣчающій опредѣленному мѣсту и времени, замѣнился болѣе общей проблемой, выходящей за предѣлы опредѣленныхъ историческихъ рамокъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, нужно дать подробный анализъ всей поэмы и показать, что при такомъ поворотѣ замысла она не утратила своего субъективнаго значенія, что, измѣнивъ тему, поэтъ остался все же въ сферѣ субъективно важныхъ и дѣйственныхъ идей и переживаній.

Итакъ, носителемъ какой идеи сдѣлался герой произведенія. лишившись родовитости, т. е. психологической возможности выступить въ качествѣ потомка судьбой обиженныхъ родовъ? Какое же начало могъ представлять въ противопоставленіи съ Петромъ этотъ



Гражданинъ столичный,  
Какихъ встрѣчаемъ всюду тьму,  
Ни по лицу, ни по уму  
Отъ нашей братьи не отличный,  
Благопристойный и простой,  
А впрочемъ—малый дѣловой <sup>1)</sup>?

Недоумѣніе наше можетъ выясниться только изъ разбора думъ и мечтаній, идеологіи бѣднаго чиновника. Вотъ онъ впервые появляется на сценѣ поэмы:

И такъ, домой пришедъ, Евгений  
Стряхнулъ шинель, раздѣлся, легъ—  
Но долго онъ заснуть не могъ  
Въ волненьи разныхъ размышлений.  
О чемъ же думалъ онъ? О томъ,  
Что былъ онъ бѣденъ; что трудомъ  
Онъ долженъ былъ себѣ доставить  
И независимость и честь;  
Что могъ бы Богъ ему прибавить  
Ума и денегъ, что вѣдь есть  
Такіе праздные счастливы,  
Ума недальняго лѣнивцы,  
Которымъ жизнь куда легка!

Но это же „волненье разныхъ размышлений“ гораздо лучше и многозначительнѣе передано въ невошедшемъ въ окончательный текстъ вариантѣ, гдѣ дана и положительная программа незатѣйливыхъ его мечтаній:

Тутъ онъ разнѣжилъ сердечно  
И размечтался какъ поэтъ.  
„Жениться? Что-жь? Зачѣмъ же нѣтъ,  
„И въ самомъ дѣлѣ? Я устрою

---

<sup>1)</sup> Это — послѣдняя строфа „Родословной“, показывающая, что видоизмѣненіе образа и темы совершилось уже въ процессѣ созиданія этого варианта, почему онъ и остался незаконченнымъ. Увидѣвъ, что тема измѣнилась, Пушкинъ бросилъ первый набросокъ и началъ новый.

„Себѣ смиренный уголокъ,  
 „И въ немъ Парашу успокою.  
 „Кровать, два стула, *щей юршонъ*  
 „*Да самъ большой...* чего мнѣ болѣ?  
 „Не будемъ прихотей мы знать;  
 „По воскресеньямъ лѣтомъ въ полѣ  
 „Съ Парашей буду я гулять;  
 „Мѣстечко выпрошу; Парашѣ  
 „Препоручу хозяйство наше.  
 „И воспитаніе ребятъ...  
 „И станемъ жить, и такъ до гроба  
 „Рука съ рукой дойдемъ мы оба,  
 „И внуки насъ похоронять“.

(IV, вар., стр. 375).

Эти двѣ картины „разныхъ размышленій“, которыя мы имѣемъ полное право не только сопоставить, но и связать, — такъ едины онѣ по тону и настроенію, — ясно указываютъ, представителемъ чего является Евгений. Онъ — носитель идеала мѣщанскаго городского счастья, маленькаго личнаго довольства въ тѣсныхъ предѣлахъ семейнаго круга, идеологъ сѣренькаго буржуазнаго покоя и узкой независимости.

Строго говоря, на этой оцѣнкѣ сходятся представители всѣхъ трехъ вышеперечисленныхъ направленій (прекрасно формулировалъ ее П. В. Анненковъ. „Идеалы Пушкина“, „В. Евр.“ 1880 г., № 6). Лишь въ послѣднее время Д. С. Мережковскій попытался дополнить ее существенными замѣчаниями.

Въ „Мѣдномъ всадникѣ“ — говоритъ онъ: „вѣчная противоположность двухъ героевъ, двухъ началъ: Тазита и Галуба, Стараго Цыгана и Алеко, Татьяны и Онѣгина... Съ одной стороны, малое счастье малаго, невѣдомаго коломенскаго чиновника, напоминающаго смиренныхъ героевъ Достоевскаго и Гоголя, съ другой — сверхчеловѣческое видѣніе героя“. И далѣе: по поводу шопота Евгения: „Судь малаго

надъ великимъ произнесенъ... Вызовъ брошенъ, и спокойствіе горделиваго истукана нарушено...“<sup>1)</sup>).

Съ этой точки зрѣнія Евгеній призванъ судить и приговаривать Мѣднаго Всадника, онъ тотъ „малый“, передъ кѣмъ приходятъ въ безпокойство великіе, и Мережковскій безъ всякихъ оговорокъ включаетъ его въ рядъ Стараго Цыгана, Пимена, Татьяны, Бѣлкина, Миронова и другихъ. Онъ—не только идеологъ малаго счастья, но и символъ христіанской любви къ малымъ, внутренняго самоотреченія и самоограниченія, терпѣнія и смиренномудрія.

Съ подобнымъ воззрѣніемъ трудно согласиться. Между Евгеніемъ и Старымъ Цыганомъ, простодушнымъ Бѣлкинымъ, Татьяной и другими лежитъ непроходимая пропасть. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно поставить Стараго Цыгана на мѣсто героя „Мѣднаго всадника“. Въ самомъ дѣлѣ, что бы сдѣлалъ этотъ представитель эпической мудрости при столь тяжелыхъ обстоятельствахъ? Возмутился ли бы его духъ, помутился ли бы его умъ? Нѣтъ и тысячу разъ нѣтъ. Въ стихійномъ бѣдствіи онъ увидѣлъ бы волю слѣпого рока и смиренно подчинился бы ей, ограничился бы еще болѣе и совсѣмъ ушелъ въ себя. Во всѣхъ этихъ людяхъ, отъ Стараго Цыгана до нѣжной Татьяны и простоватаго солдата Миронова живетъ какая-то смутная „любовь къ року“, огромная и мудрая сила покорности непреложному и непреодолимому. И жизнь ихъ, зачастую трудная и скорбная, не прогулка лѣтомъ по полю, а служеніе тому, что имъ кажется высшимъ.

Конечно, они не знаютъ объ этомъ, говоря точнѣе, узнаютъ объ этомъ только въ критическую минуту, но въ эту минуту они вдругъ вырастаютъ, становятся великими, становятся героями. И тогда тѣ, кто обычно относятся къ нимъ со снисходительнымъ презрѣніемъ и прямымъ неуваженіемъ, вдругъ съ смущеніемъ чувствуютъ недосыгаемую для себя

---

<sup>1)</sup> Д. Мережковскій, „Собр. сочин.“, т. XIII, 34 г.

высоту ихъ духа. Такъ выпрямляется Татьяна передъ Онѣгиньмъ: „но я другому *отдана*, я буду вѣкъ ему вѣрна“ (Можно, конечно, возмущаться этими словами, какъ проявленіемъ закоренѣлыхъ предрасудковъ, но нельзя не признать ихъ огромной моральной мощи). Такъ всталъ во весь свой ростъ невзрачный Мироновъ передъ Пугачевымъ. Такъ повелъ бы себя и Бѣлкинъ, если бы ему случилось попасть въ подобныя обстоятельства. Они не сходятъ съ ума; въ моментъ катастрофы выступаетъ наружу ихъ могучая духовная стойкость, и, конечно, никто изъ нихъ не обнаружилъ бы той позорной трусости, какую проявилъ несчастный Евгенийъ: рѣшившись на борьбу, они смѣло и мужественно пошли бы до самаго конца.

Но въ процессѣ спокойной обывательской жизни они и не подозрѣваютъ о своей силѣ. Они живутъ безсознательно, стихійно, мощь ихъ еще не осознанная, непосредственная мощь нетронутаго рефлексіей цѣльнаго народнаго сознанія. И недаромъ эти герои Пушкина — представители провинціи и деревни. Городъ, особенно „искусственный“ Петербургъ, еще не разрушилъ ихъ цѣльной психики, не оторвалъ ихъ отъ народа съ его религиознымъ переживаніемъ жизни. И эта стихійная религиозность, не укладывающаяся, впрочемъ, въ рамки исторически-опредѣленныхъ вѣрованій, составляетъ незримую основу ихъ духовной и практической жизни.

Не то Евгенийъ. Это именно „столичный гражданинъ“, „какихъ встрѣчаете вы тѣмъ“. Онъ да его близкій родственникъ инженеръ Германъ, — основные городскіе образы Пушкина. Это нужно особенно подчеркнуть. Ихъ психологія не имѣетъ ничего общаго съ психологіей провинціальныхъ, еще близкихъ народу, смиренномудрыхъ героевъ поэта. Столица наложила на нихъ свой особенный отпечатокъ, разрушила цѣльность и непосредственность ихъ воли, порвала всякую связь между ними и стихійнымъ народнымъ сознаніемъ. Они гораздо болѣе свободны отъ всякихъ устарѣлыхъ предраз-

судковъ, но о́ни лишены и культурной традиціи, непре-  
рекаемыхъ завѣтовъ предковъ. Русская городская жизнь, а въ  
въ особенности жизнь „искусственного“ Петербурга не со-  
здавала своей культуры. На Западѣ городъ развивался посте-  
пенно, въ процессѣ высокаго культурнаго творчества: ратуша,  
цехъ, университетъ воспитывали горожанина въ томъ смыслѣ,  
что создавали въ его душѣ рядъ убѣжденій и вѣрованій,  
которыя казались неподлежащими критикѣ, создавали циклъ  
понятій о чести, обязанности и долгѣ, которыя принимались,  
догматически, всасывались съ молокомъ матери. Благодаря  
этому, съ одной стороны, критическая мысль не пользова-  
лась безусловнымъ господствомъ въ сознаніи городского жи-  
теля: она постоянно встрѣчала въ своихъ анализахъ пре-  
дѣлъ, его же не преjdeши, а, съ другой стороны, и сама  
воля въ своихъ устремленіяхъ духовнаго и практическаго по-  
рядковъ неуклонно наталкивалась на такія нормы, которыя  
переживались личностью какъ непрекаемо-высшее, чего  
нельзя нарушить. Во всѣхъ направленіяхъ духъ человѣче-  
скій формировался подѣ знакомъ выполнения извѣстныхъ  
заповѣдей-традицій, систематически приучаясь къ самоогра-  
ниченію во имя долга. И это придавало его волѣ огромную  
устойчивость въ минуту личнаго несчастья, а его мышленію  
внутреннюю сдержанность и благообразіе.

Совсѣмъ иначе дѣйствовалъ городъ, по преимуществу  
Петербургъ, у насъ въ Россіи. У насъ не развивалось само-  
стоятельной городской культуры, охватывавшей всѣ области  
человѣческой духовной дѣятельности, не было процесса мед-  
леннаго созиданія особой формы человѣческой жизни. Городъ-  
самостоятельный организмъ поглощался городомъ-админи-  
стративнымъ центромъ, и представитель администраціи, без-  
личный канцелярскій служитель создавалъ его идеологію.  
Отрывая личность отъ народа, разрушая въ ней сословную,  
земскую традицію, городъ не давалъ ей взамѣнъ новыхъ  
культурныхъ нормъ быта, системы новыхъ культурныхъ „пред-

разсудковъ“. Личность оказывалась вполне свободной, и какъ ея воля могла развивать свои влеченія, не встрѣчая внутреннихъ ограниченій, такъ и ея мысль могла подвергать все своему развѣдающему анализу, не наталкиваясь ни на какія запрещенія. Діалектика становилась огромной, страшной силы, силлогизмъ приобрѣталъ особенное значеніе, становился на мѣсто прежней органической выработавшейся, наполовину безсознательной нормы. Это уже обнаруживается въ Германѣ, который *отданъ* подъ безграничную и страшную власть чистой идеи, и еще сильнѣе вспыхиваетъ въ его наслѣдникахъ <sup>1)</sup> -петербургскихъ герояхъ Достоевскаго, которые не мыслятъ, а управляются мыслью. И не случайно два единственныхъ столичныхъ героя Пушкина кончаютъ сумасшествіемъ. Культурная традиція не только положительный результатъ человѣческаго творчества, но и шоры, предохраняющія мысль отъ безумныхъ скачковъ въ сторону, выравнивающія направленіе ея развитія. Человѣкъ, абсолютно свободный отъ всѣхъ предразсудковъ, стоитъ на границѣ безумія, потому что мысль, не знающая стѣсненій, не только не гарантируетъ строгой гармоничности сознанія, но и дѣйствуетъ на него разрушительно. Само собой разумѣется, что къ Евгенію это послѣднее приложимо лишь отчасти, въ своей отрицательной формѣ. Діалектика въ немъ еще отсутствуетъ.

Лишенный духовной опоры въ воспитывающихъ волю къ самоограниченію культурныхъ нормахъ быта, свободный отъ всякихъ дѣдовскихъ завѣтовъ, онъ пока еще не подпалъ подъ власть голой мысли. Его сознаніе уже потеряло свою устойчивость, но не подчинилось идеѣ. Онъ—человѣкъ съ опустошенной, пустой отъ всякой культуры душой, „нищій духомъ“, но не изъ тѣхъ, которые блаженны, а изъ тѣхъ, которые сходятъ съ ума, за которыми съ тяжелымъ топотомъ гонится Мѣдный Всадникъ.

<sup>1)</sup> См. Д. Мережковский, „Толстой и Достоевскій“, „Соб. сочин.“, т. VIII, стр. 111—12.

Евгеній—не представитель земской культуры, отъ которой онъ оторвался (вѣдь, онъ „не тужить ни о покойницѣхъ роднѣхъ, ни о забытой старинѣ“), ни городской, которой у насъ не было; онъ—представитель космополитической, мертвой въ культурномъ смыслѣ, только цивилизующей бюрократіи,—чиновникъ прежде и больше всего. Его жизнь—не служеніе, а служба въ самомъ буквальномъ, прозаическомъ смыслѣ этого слова; его трудъ—не творческое созиданіе, въ чемъ бы оно не выражалось, а автоматическая переписка и исполненіе мертвыхъ, безразличныхъ бумагъ; его смиреніе—униженная робость („мѣстечко выпрошу“) передъ грознымъ начальникомъ, которому, впрочемъ, зарвавшись (сойдя съ ума!), можно наговорить дерзостей, а не сознательное подчиненіе высшей силѣ; и, соотвѣтственно этому, его идеалы не выходятъ за предѣлы мечтаній о легкой жизни.

Въ этомъ легко убѣдиться, проанализировавъ подробнѣе его размышленія. Въ нихъ прежде всего поражаетъ отсутствіе сознанія необходимости труда, непониманіе его цѣнности и обязательности для человѣка. Евгеній скорбитъ о томъ, что „трудомъ онъ долженъ былъ себѣ доставить и независимость и честь“, и съ завистью поглядываетъ на „праздныхъ счастливецевъ, ума недалнаго, лѣнивцевъ, которымъ жизнь куда легка“. Вотъ къ кому бы ему хотѣлось быть. Тутъ, если не его идеаль, то, по крайней мѣрѣ, великое искушеніе. Искушеніе настолько серьезное, что его старшій братъ, болѣе рѣшительный и страстный Германъ, перешагнетъ ради быстраго и легкаго обогащенія черезъ обманъ, надругательство надъ человѣческимъ чувствомъ и почти убійство, чтобы затѣмъ пасть подъ тяжестью принятаго на себя преступленія.

Оба они—и Евгеній и Германъ—относятся къ процессу строительства личной жизни нѣсколько по-чичиковски. Медленное, трудовое созиданіе хотя бы матеріальнаго блага кажется имъ тяжелой и обидной обузой, такъ какъ оба они не уважаютъ труда, не постигаютъ цѣнности жизни, какъ

исполненія обязанности и длительного творчества, которое вообще чуждо ихъ чиновничьей психикѣ. И въ одномъ эта свобода отъ традицій и презрѣніе къ трудовой жизни рождаютъ безумное рѣшеніе однимъ прыжкомъ, хотя бы и черезъ преступленіе, перескочить изъ царства суровой необходимости въ царство свободной праздности, а въ душѣ другого, болѣе робкаго и забитаго, поселяютъ жалкую зависть къ счастливымъ, отъ которой онъ спасається въ трусливыхъ мечтаніяхъ о счастливой жизни соотвѣтственно своимъ средствамъ.

Мы сказали „трусливыхъ“ не нечаянно. Трусость, боязнь жизни характерна для Евгенія. Въдъ его мечтанія вовсе не соотвѣтствуютъ его идеалу. Изучая жизнь Миронова, Гриневыхъ, Бѣлкина, мечту Татьяны:

Сейчасъ отдать я рада,  
Всю эту ветошь маскарада,  
Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ.  
За полку книгъ, за дикій садъ,  
За наше бѣдное жилище... (IV, 205),

—и самого Пушкина („Поля, садъ, крестьяне, книги, труды поэтическіе и т. д.“), мы видимъ, что здѣсь скромность требованій психически мотивируется не робостью, а чѣмъ-то совсѣмъ инымъ. Мироновъ, Гриневы, Бѣлкинъ (если оставить безъ вниманія его трогательныя, достойныя всякаго уваженія стремленія къ писательству) вполне довольствуются тѣмъ, что у нихъ есть. Люди національнаго русскаго быта, они и не представляютъ себѣ возможности жить иначе, чѣмъ жили ихъ отцы. Въ тихомъ бытіи, подъ знакомъ вѣковой традиціи, они осуществляютъ сполна всѣ свои стремленія и желанія и органически не могутъ ни тяготиться своимъ существованіемъ по завѣтамъ предковъ, ни тѣмъ болѣе завидовать кому-либо.

Татьяна и самъ Пушкинъ стремятся въ деревню, потому что тяготеются блескомъ, шумомъ и чадомъ свѣтскаго маскарада, потому что имъ кажется, что только тамъ они смогутъ



осуществить свой идеаль осмысленной, честной и трудовой жизни. Ихъ требованія скромны не потому, что они не надѣются на большее, но потому, что именно это соотвѣтствуетъ ихъ вкусамъ, убѣжденіямъ и вѣрованіямъ.

Не то Евгений. Ему бы, конечно, хотѣлось гораздо бѣльшаго, чѣмъ тѣ картины, которыя рисуетъ его воображеніе. Передъ нимъ, какъ и передъ Чичиковымъ, проносятся соблазнительныя видѣнія праздной и легкой жизни богатаго лѣнивца, но онъ гонитъ ихъ прочь, такъ какъ не видитъ никакой возможности реализовать ихъ для себя и своей семьи. Ему и въ голову не приходитъ мысль объ упорной борьбѣ за лучшія формы существованія, о мужественномъ завоєваніи иного благого жребія; свое наличное положеніе онъ принимаетъ за величину постоянную, и, стоя на этой мертвой точкѣ, комбинируетъ всѣ свои планы о счастьѣ. Въ его жизненной программѣ не чувствуется никакой надежды хотя бы на матеріальный прогрессъ; нѣтъ мечты о покореніи и пріобрѣтеніи, а жалкая попытка хоть какъ-нибудь, хоть кое какъ урвать отъ жизни кусочекъ счастья, *выпросить мстечко*, устроить *смиранный уголокъ* и, не зная прихотей, довольствоваться лѣтними, воскресными прогулками въ полѣ. Это—чисто-петербургскій, чисто-чиновничій *savoir vivre*, глубоко враждебный всякой культурѣ, унижительный для человѣческаго достоинства, ничтожный и растлѣвающий душу, мертвый идеаль премудраго пискаря.

Евгений боится жизни и не рискуетъ вступить съ ней въ бой. Напротивъ, онъ тщательно отгораживается отъ всѣхъ и вся, ищетъ покоя и невозмутимости, дрожа отъ страха, прячется въ свою нору. Но эта боязнь не случайна, она тѣсно связана съ его возрѣніями на самую сущность жизни, съ его отношеніемъ къ труду, наслажденію, обязанности и долгу. Это не только боязнь, но и своеобразное скрытое неприятіе міра.

Строго говоря, укладъ жизни празднаго счастливица и укладъ жизни маленькаго чиновника, изъ которыхъ первый

является для Евгения недостижимой мечтой, объектомъ робкой зависти, а второй—возможной и исполнимой программой личного существованія,—чрезвычайно сходны между собой. Сходны они не только въ томъ, что за ними обоими не чувствуется никакого иного стремленія, кромѣ стремленія къ личному благу, не видно признанія обязанности и долга, подчиненія чувственныхъ влеченій своего я чему-нибудь высшему, но и потому—и это главное—что сама проблема личного блага ставится ими совершенно одинаково. Даже въ предѣлахъ осуществленія *своего* счастья представители этихъ укладовъ думаютъ обойтись безъ борьбы. Они не видятъ и не хотятъ видѣть, что процессъ общей жизни вовсе не направленъ къ ихъ удовлетворенію, что это удовлетвореніе должно быть вырвано изъ когтей универсальной необходимости дѣятельностью смѣлой и увѣренной воли и что это ограниченіе индивидуальнаго влеченія должно быть покорно признано и положено въ основу всего эгоистическаго поведенія личности. Евгений не дѣлаетъ даже этой уступки объективному воззрѣнію на міръ. Его желаніе, его стремленіе къ наслажденію должно удовлетворяться не въ процессѣ борьбы, цѣнности и радости которой онъ не понимаетъ,—а сейчасъ, немедленно, безъ всякаго напряженія съ его стороны. Иного счастья для него не существуетъ: разъ блаженство должно быть завоевано постепенно, привольное и благополучное житіе должно быть создано шагъ за шагомъ,—оно уже не блаженство, и жизнь лишена покоя и довольства. И если нельзя сразу зажить празднымъ лѣнливцемъ, который легко и безъ борьбы удовлетворяетъ всѣмъ своимъ самымъ пышнымъ желаніямъ, то надо просто сократить свои желанія до такой степени, чтобы они могли свободно и сразу осуществляться при наличныхъ условіяхъ. Въ своей основѣ оба уклада жизни—формы существованія „лѣнливца“, не признающаго борьбы и творчества, и предпочитающаго довольствоваться малымъ, которое само идетъ въ руки, чѣмъ завоевывать болѣе.

Идеологія Евгенія—не только эгоистическая идеологія малаго счастья, но и самая рѣзкая форма антропоцентризма вообще. Онъ не только предполагаетъ, что „человѣкъ созданъ для счастья, какъ птица для полета“, но и въ его отношеніи къ міру сквозитъ несознанное убѣжденіе, что все создано на благо личности и это благо должно какъ бы прямо валиться на нее съ неба. Его зависть—этотъ тайный ропотъ боязливой души—ясно показываетъ намъ, чего онъ хотѣлъ бы отъ міра и что вызывало его неудовольствіе. И Пушкинъ не даромъ изъ 20 строкъ, посвященныхъ характеристикѣ размышлений Евгенія, половину (10 строкъ) отвелъ описанію завистливыхъ думъ.

При лаконизмѣ „Мѣднаго всадника“ это значитъ очень много. Тутъ подчеркнута неустойчивость отношенія Евгенія къ окружающему, его колебаніе между трусливой пассивной покорностью обстоятельствамъ ради крохотнаго кусочка счастья и ропотомъ на судьбу, не давшую ему сразу большой кусокъ вождѣннаго пирога. И въ основѣ этихъ колебаній лежитъ безсознательный эгоцентризмъ общихъ возрѣній, отсутствіе крѣпкихъ традицій и понятія обязанности и долга, служенія и творчества.

Такъ изъ-подъ маски нищаго забитаго чиновника выступаетъ передъ нами знакомое лицо пресловутаго „всечеловѣка“, русскаго *le citoyen du monde*. Мы узнаемъ его, вѣчнаго бунтаря. Какъ же! онъ съ кинжаломъ выступилъ противъ стихійной страсти, онъ проклиналъ неблагодарный народъ, возставшій во имя справедливости и отвергшій знаменитое искушеніе „хлѣбами“, теперь онъ замахнулся на Мѣднаго Всадника, потомъ онъ убьетъ старуху и, разрастаясь въ фантастическомъ туманѣ петербургскаго утра, постепенно превратится въ цѣлую толпу чудовищныхъ фантастическихъ призраковъ... И повсюду судьба его одна и та же. Всегда онъ кончаетъ плохо: ему, возстающему противъ закона жизни и осужденному этимъ закономъ, выпадаетъ на долю безуміе

и смерть. И такъ и должно быть: безъ „любви къ року“ нѣтъ любви къ жизни, нѣтъ достаточной силы для самоутвержденія личности въ потокѣ космическаго бытія.

Но какое превращеніе! Какъ слинялъ и обнищаль этотъ скиталець за годы своихъ странствій! Метаморфоза, происшедшая съ нимъ, настолько значительна, что невольно возникаютъ сомнѣнія въ безупречности его родословной. Ужъ не ошибаемся ли мы, видя его происхождение отъ такихъ именитыхъ предковъ?

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, мы должны перейти отъ анализа характера Евгенія къ изслѣдованію внутреннихъ мотивовъ созданія поэмы. Проблема, на нашъ взглядъ, ставится такимъ образомъ. „Первоначальный замыселъ произведенія—тема Родословной“ явственно отмѣчена печатью субъективности, стремленіемъ поэтически выразить личную, интимную драму. Затѣмъ замыселъ видоизмѣнился: идея пьесы сдѣлалась универсальнѣе, тема подверглась обобщенію. Что же произошло въ этотъ моментъ съ внутренней мотиваціей творчества? Утратило ли оно свою субъективную значимость или нѣтъ, перешелъ ли поэтъ къ воплощенію объективныхъ образовъ или онъ попрежнему остался при выраженіи личныхъ переживаній? И если общій тонъ творчества не измѣнился, то почему поэтъ избралъ носителемъ своей собственной драмы ничтожнаго чиновника, а не какого-нибудь героя по типу Алеко?

Таковы тѣ „*roughs*“, которые должны разрѣшить наши сомнѣнія относительно генезиса Евгенія. И, забѣгая впередъ, мы можемъ сказать, что чудесной эволюціи пушкинскаго героя-индивидуалиста соотвѣтствуетъ эволюція личныхъ вкусовъ поэта и его художественной манеры.

Пушкинъ самъ описаль эту эволюцію:

Но, муза! Прошлое забудь.

Какія бь чувства ни таились

Тогда во мнѣ—теперь ихъ нѣтъ:

Они прошли иль измѣнились...  
Миръ вамъ, тревоги прошлыхъ лѣтъ!  
Въ ту пору мнѣ казались нужны  
Пустыни, волнь края жемчужны,  
И моря шумъ, и груды скаль,  
И гордой дѣвы идеаль,  
И безыменныя страданья..  
Другіе дни, другіе сны;  
Смирились вы, моей весны  
Высокопарныя мечтанья,  
И въ поэтической бокаль  
Воды я много подмѣшалъ.  
Иныя нужны мнѣ картины:  
Люблю песчаный косогоръ,  
Передъ избушкой двѣ рябины,  
Калитку, сломанный заборъ,  
На небѣ сѣренькія тучи,  
Передъ гумномъ соломы кучи—  
Да прудъ подъ сѣнью ивъ густыхъ,  
Раздолье утокъ молодыхъ;  
Теперь мила мнѣ балалайка,  
Да пьяный топоть трепака  
Передъ порогомъ кабака;  
Мой идеаль теперь—хозяйка,  
Мои желанія—покой,  
*Да шей горшокъ, да самъ большой.*

(„Евг. Он.“, „Странствіе,“ XV, XVI,  
курсивъ Пушкина).

Мы выписали эту длинную цитату, искренность и справедливость которой подтверждается значительнымъ количествомъ біографическихъ данныхъ, потому, что она прекрасно объясняетъ намъ, что именно произошло съ Алеко за послѣднія десять лѣтъ жизни поэта. Прозаизмъ наложилъ свою печать не только на литературнаго героя Пушкина, но и на

него самого. „Смирились вы, моей весны высокопарныя мечтанья—воскликаетъ поэтъ:—и въ поэтический бокаль воды я много подмѣшалъ“. Il n'est de bonheur que dans les voies communes—пишетъ онъ другу въ 31 году (VIII, 235)—и упорно и настойчиво стремится на эти торные пути. Но счастье торныхъ дорогъ имѣетъ совершенно особый характеръ. Тутъ нечего мечтать о смѣлыхъ порывахъ и полной свободѣ, о яркости и красочности существованія, о дикой прелести степей и торжественномъ величїи горъ. На voies communes счастье сѣренькое, обывательское, опутанное мелкими заботами и безцвѣтными радостями. Въ лучшемъ случаѣ, это—мирное и тихое житіе, въ худшемъ—жалкое прозябаніе, изнурительная погоня за кускомъ хлѣба.

Конечно, и въ этомъ счастьѣ есть здоровый и крѣпкій элементъ. Торныя дороги нельзя отвергнуть цѣликомъ. Вѣдь ихъ прокладываетъ—именно потому, что онѣ торныя—не отдѣльная заблуждающаяся личность, а сама исторія. Но, намѣчая эти пути, исторія вовсе не дѣлаетъ ихъ самоцѣлью. Напротивъ, осуществляя высшія объективныя цѣнности, которыя не имѣютъ ничего общаго съ человѣческимъ благомъ и страданіемъ, историческій процессъ создаетъ торныя дороги лишь какъ средство для объективнаго творчества, какъ извѣстную форму приспособленія человѣка къ жизни, которая должна быть наполнена содержаніемъ совершенно иного порядка. И только въ качествѣ такой формы, какъ залогъ величїя человѣческаго, достигаемаго сознательнымъ или безсознательнымъ объективно-цѣннымъ творчествомъ, счастье торныхъ дорогъ получаетъ полное оправданіе и передъ самой личностью и передъ исторіей. Если же человѣкъ переживаетъ это счастье какъ самоцѣль, очерчиваетъ имъ кругъ своего существованія, то оно утрачиваетъ свою законность и становится враждебной процессу общей жизни идеологіей эгоцентризма, жалкой по ничтожности своихъ требованій и глубоко-антикультурной по своей сущности.

Остепенившійся, утомленный Пушкинъ принялъ и благо-словилъ это счастье именно какъ форму независимой жизни уважающаго себя работника; это пріятіе было у него тѣсно связано съ идеалистической оцѣнкой быта вообще и сельской жизни въ частности. Но, разъ пріявъ его, полюбивъ скромное бытіе „мѣщанина“, онъ, подъ вліяніемъ индивидуалистическихъ настроеній, сдѣлалъ изъ своего новаго блага самоцѣль и сталъ снова передъ той же проблемой эгоистическаго счастья личности, передъ которой онъ остановился въ юности.

Строго говоря, врядъ ли онъ и вообще опредѣленно различалъ эти формы отношенія къ вопросу личной жизни. Онѣ сливались для него воедино, причемъ преобладающее значеніе пріобрѣтала то одна, то другая изъ нихъ. И въ первомъ случаѣ получались его собственные программы осмысленной трудовой жизни въ деревнѣ, за которыми виднѣлись образы Татьяны и Маши, Гриневыхъ и Мироновыхъ, во второмъ— программа Евгенія. Въ его міровоззрѣніе Пушкинъ вложилъ эгоцентрическія переживанія зрѣлаго возраста совершенно такъ же, какъ нѣкогда въ образѣ Алеко онъ воплотилъ бурные порывы своей неистойвой молодости. Разница между этими героями является отраженіемъ различія между эгоистическими стремленіями и вкусами молодого и взрослога Пушкина. Когда ему „казались нужны пустыни, волнъ края жемчужны, и моря шумъ, и груды скалъ, и гордой дѣвы идеаль, и безы-менныя страданья“,—тогда онъ создалъ драму Алеко, поставилъ проблему счастья въ эффектной, красочной обстановкѣ дикой степи и экзотическаго табора цыганъ. Теперь, когда ему сдѣлались близки сѣренькія тучи, избушка, сломанный заборъ, когда его идеаломъ стала „хозяйка“, и желанія ограничили скромной формулой: „покой, да шей горшокъ, да самъ большой“, теперь онъ вызываетъ къ жизни сѣрый образъ Евгенія, создаетъ „Мѣднаго Всадника“—трагедію сѣраго и далеко не романтическаго Петербурга. И подобно тому, какъ раньше онъ вкладывалъ въ уста яркаго Алеко свои

завѣтныя думы, такъ и теперь онъ заставляетъ Евгенія повторить въ буквальныхъ выраженіяхъ основной пунктъ своей собственной программы: хозяйка, покой, да шей горшокъ, да самъ большой.

Но почему же, все-таки, Пушкинъ остановился на фигурѣ жалкаго и невзрачнаго чиновника? Неужели же онъ не могъ найти „мѣщанина“ болѣе яркаго и крѣпкаго? Здѣсь прежде всего должно отмѣтить, что при созданіи „Мѣднаго Всадника“ Пушкинъ былъ гораздо болѣе затрудненъ въ выборѣ героя, чѣмъ тогда, когда онъ набрасывалъ „Цыганъ“. Въ ту пору Пушкинъ могъ довольствоваться лишь блѣднымъ очеркомъ характера, отвлеченнымъ, оторваннымъ отъ опредѣленныхъ мѣстныхъ условій образомъ. Couleur locale требовался ему лишь въ обстановкѣ, самъ герой могъ быть отвлеченной схемой, безжизненнымъ носителемъ извѣстной суммы страстей, настроеній и мыслей. Благодаря этому *выборъ* героя не былъ затруднителенъ. Строго говоря, такого выбора, если подъ нимъ понимать эстетическое усвоеніе образовъ дѣйствительности, и не происходило. Все ограничивалось художественнымъ оживленіемъ опредѣленнаго психологическаго заданія. Въ процессѣ творчества рѣшалась опредѣленная задача безъ именованныхъ чиселъ и, въ силу этого, безъ вниманія къ фактическимъ условіямъ мѣста и времени.

Но совершенно иначе обстояло дѣло при созданіи „Мѣднаго Всадника“. Великій мастеръ реализма не могъ уже удовлетвориться призрачной схемой: ему былъ необходимъ полный характеръ, конкретный образъ, и этотъ образъ онъ могъ усвоить только изъ чиновничьей среды. Въ самомъ дѣлѣ: мы уже видѣли, чѣмъ отличается Евгенийъ отъ провинціальныхъ, деревенскихъ героевъ Пушкина. Поставить на мѣсто Евгенія одного изъ нихъ значило для поэта либо исказить эмоциональный и идейный обликъ этихъ послѣднихъ, либо измѣнить самую тему произведенія. Съ другой стороны, и интеллигенція едва ли могла снабдить его нужнымъ матеріаломъ.



Въ тридцатыхъ годахъ люди алекинскаго склада уже отходили въ область прошлаго, замѣняясь интеллигентами совѣмъ иного направленія: „лишними людьми“. „Просвѣщенный эгоизмъ“ дореволюціонной эпохи исчезъ; онъ уже не облакался удачной прихотью, а, беззащѣнный и откровенный, парадировалъ на общественной аренѣ, щеголяя своимъ невѣжествомъ и слѣпымъ исполненіемъ воли грознаго начальства. Съ „индивидуалистическими“ настроеніями дѣйствительной жизни случилось то же самое, что и съ литературнымъ героемъ поэта и его собственными переживаніями. Они перемѣстились въ инныя общественныя группы и соотвѣтственно этому сами потускнѣли и облиняли.

Пушкинъ, со своимъ гениальнымъ художественнымъ тактомъ, бессознательно учелъ этотъ фактъ и остановилъ свой выборъ на мелкомъ петербургскомъ чиновникѣ. Только здѣсь, въ этой свободной отъ всякихъ культурно-бытовыхъ традицій, искусственно, указами созданной средѣ скромныхъ и сѣрыхъ людишекъ, могъ укрыться тотъ бытовой индивидуализмъ, мотивы котораго онъ находилъ въ себѣ самомъ. Онъ первый приподнялъ завѣсу надъ жизнью этого особаго „класса“ или „сословія“ и показалъ, какія богатыя возможности скрываются въ его самосознаніи именно потому, что оно оторвано отъ роднаго, вѣковаго преданія и свободно отъ всякихъ предрасудковъ старины и подлинной культуры мысли. И что художественное чутье не обмануло его,—это подтверждается фактами дальнѣйшей исторіи литературы: нѣкоторыми произведеніями Гоголя и Достоевскаго, гдѣ нашла свое выраженіе драма чиновничьей души.

Конечно, даже и тутъ онъ могъ остановиться на болѣе крупной фигурѣ. И, если этого все-таки не случилось, то невольно возникаетъ вопросъ: не имѣемъ ли мы и здѣсь дѣло съ тѣмъ же фактомъ, какъ и при созданіи „Цыганъ“? Бѣлинскій замѣтилъ, что „желая создать апоѳеозу Алеко“, Пушкинъ создалъ въ „Цыганахъ“ каррикутуру на него. Быть можетъ,

то же бессознательное, невольное умаление личности героя имѣло мѣсто и въ „Мѣдномъ Всадникѣ“. Определенное антииндивидуалистическое настроеніе настолько овладѣло поэтомъ въ процессѣ творчества, что онъ, самъ того не замѣчая, уни- зиль и слегка окаррикуриль своего героя.

Какъ бы тамъ ни было, но послѣ всего вышесказаннаго не подлежитъ сомнѣнію, что въ драмѣ Евгенія Пушкинъ вновь поставилъ на обсужденіе проблему эгоистическаго счастья личности, и намъ остается теперь посмотрѣть, какъ онъ раз- рѣшилъ ее.

Мы уже знаемъ, каковъ былъ исходъ степной идилліи Алеко. Но такъ же кончилась и петербургская идиллія Евгенія. Тамъ стихійная страсть Земфиры, здѣсь мощь разъяренныхъ стихій разрушили картинный домикъ личнаго блаженства. Эгоистическое наслажденіе жизнью не можетъ быть хоть сколько-нибудь прочно. Враждебныя ему, роковыя силы не медлятъ въ нападеніи на самую неприступно-огражденную крѣпость счастливица и такъ или иначе доканаютъ его. И всюду страсти роковыя и отъ судебъ защиты нѣтъ—этотъ итогъ „Цыганъ“, по крайней мѣрѣ, въ своемъ второмъ утвер- жденіи, смѣло могъ быть поставленъ и подъ первой частью „Мѣднаго Всадника“.

Въ самомъ дѣлѣ: Евгеній даже не успѣлъ принятъ за осуществленіе своихъ плановъ, какъ разразившееся внезапно наводненіе уничтожило всѣ его надежды. Оглушенный, рас- терявшійся, „страшно блѣдный“, онъ замеръ передъ ужас- ной картиной:

Его отчаянные взоры  
На край одинъ наведены  
Недвижно были. Словно горы  
Изъ возмущенной глубины  
Вставали волны тамъ и злились,  
Тамъ буря выла, тамъ носились  
Обломки... Боже, Боже! Тамъ—

Увы! близехонько къ волнамъ,  
Почти у самага залива,  
Заборъ некрашенный, да ива  
И ветхій домикъ: тамъ онъ,  
Вдова и дочь, его Параша,  
Его мечта... *Или во снѣ*  
*Онъ это видитъ? Иль вся наша*  
*И жизнь—ничто, какъ сонъ пустой,*  
*Насмѣшка рока надъ землей?*  
И онъ какъ будто околдованъ,  
Какъ будто къ мрамору прикованъ,  
Сойти не можетъ! *Вкругъ него*  
*Вода и больше ничего.*

(IV, 255, курс. нашъ).

Въ этомъ потрясающемъ видѣніи—центръ и начало всей пьесы. Да, вотъ оно — итоговое созерцаніе эгоцентризма: жизнь какъ бессмысленное, ужасное по своей нелѣпости наводненіе. Человѣкъ забылъ объ объективныхъ цѣляхъ всеобщаго бытія, свое крохотное счастье, свою маленькую радость и наслажденіе онъ сдѣлалъ цѣлью всего совершающагося, и теперъ онъ стоитъ, „оглушенный шумомъ внутренней тревоги“, передъ бушующимъ океаномъ жизни, гдѣ плывутъ „обломки“ его мечтаній и надеждъ. „Вкругъ него вода—и больше ничего“, и въ этой водѣ въ дикомъ безпорядкѣ, въ чудовищномъ смѣшеніи несутся передъ нимъ „обломки хижинъ, бревна, кровли, товаръ запасливой торговли, пожитки блѣдной нищеты, грозой снесенные мосты, гробы съ размытаго кладбища“... Всюду полный хаосъ, полное разрушеніе, среди этого хаоса и разрушенія, подъ вой вѣтра и шумъ пѣнящихся волнъ, въ человѣкѣ рождается безумное желаніе сбросить съ себя оковы разумности и слиться съ безудержной вакханаліей стихій, самому сдѣлаться сильнымъ и вольнымъ, „какъ вихорь, роющій поля, ломающій лѣса“. Именно здѣсь, въ этомъ созѣр-

цаніи жизни, какъ дикаго и нелѣпаго, безсмысленно-жестокаго въ своей ярости, могучаго потока кроются источники той странной любви къ безумію и гибели, которая нашла свое выраженіе въ пѣснѣ Вальсингама „объ упоеніи въ бою и бездны мрачной на краю, и въ разъяренномъ океанѣ средь грозныхъ волнъ и бурной тьмы, и въ аравійскомъ ураганѣ, и въ дуновеніи чумы“. Потому что основа этихъ переживаній въ отчаяніи безъ предѣла, въ воспріятіи міра, какъ великаго хаоса, гдѣ нѣтъ ни разумности, ни стройности, ни небесной гармоніи. А что, какъ не такое отчаяніе, какъ не послѣднее непріятіе міра звучитъ въ вопросѣ Евгенія,—основномъ вопросѣ пессимистическаго воззрѣнія, придающемъ такое несомнѣнное универсальное значеніе всему созерцанію жалкаго чиновника:

*Иль вся наша*

*И жизнь—ничто, какъ сонъ пустой,*

*Насмѣшка рока надъ землей?*

Къ этому вопросу Пушкинъ подходилъ не разъ въ своей жизни, потому что это неизбежный выводъ изъ созерцанія міра подъ знакомъ человѣческаго блага, Онъ поставилъ его въ „Цыганахъ“, въ цѣломъ циклѣ прекрасныхъ стихотвореній, и теперь онъ устами Евгенія снова бросаетъ его, словно вызовъ всему окружающему. Евгенийъ ждетъ отвѣта, но откуда же онъ можетъ получить его? Подъ нимъ бушующія волны, гдѣ среди пѣны несутся обломки, надъ нимъ сѣрое, застланное тучами петербургское небо, пустое и страшное небо атеистической души. Да, кто отвѣтитъ ему, вопрошающему?..

И обращень къ нему спиною,

Въ колебимой вышинѣ,

Надъ возмущенною Невою

Стоитъ съ простертою рукою

Кумиръ на бронзовомъ конѣ.

Здѣсь отвѣтъ, но Евгенийъ не можетъ понять его и сходить съ ума. Этимъ кончается первая часть драмы.

## VII.

Каково же содержаніе этого отвѣта, каково, иными словами, значеніе второго символа поэмы—Мѣднаго Всадника?

Уже самый образъ: не конкретная личность, не историческая фигура, но „кумиръ на бронзовомъ конѣ“ указываетъ, что здѣсь налицо извѣстное отвлеченіе, выдѣленіе опредѣленной суммы качествъ изъ живого и многообразнаго явленія. Не самъ Петръ, но часть его большая, какой то Мѣдный Всадникъ оживленъ въ поэмѣ, и, согласно этому, все изображеніе его строго выдержано въ особыхъ тонахъ.

„Во всѣхъ сценахъ повѣсти, гдѣ является Мѣдный всадникъ,—говоритъ Валер. Брюсовъ,—изображенъ онъ какъ существо высшее, не знающее себѣ ничего равнаго. На своемъ бронзовомъ конѣ, онъ всегда стоитъ въ вышинѣ; онъ одинъ остается спокойнымъ въ часъ всеобщаго бѣдствія, когда кругомъ „все опустѣло“, „все побѣжало“, все „въ трепетѣ“... Говоря объ этомъ кумирѣ, высящемся надъ огражденной скалой, Пушкинъ, всегда столь сдержанный, не останавливается передъ самыми смѣлыми эпитетами: это — и „властелинъ Судьбы“, и „державецъ полуміра“, и (въ черновыхъ наброскахъ) „страшный Царь“, и „мощный Царь“, „мужъ Судьбы“, „владыка полуміра“<sup>1)</sup>).

Этими смѣлыми эпитетами Пушкинъ поднимаетъ Всадника на неколебимую высоту. Онъ отвлекаетъ отъ историческаго Петра какіе-то поразившіе его признаки и придаетъ имъ необыкновенную, сверхъестественную мощь, благодаря чему русскій императоръ—„человѣкъ высокаго роста, въ зеленомъ кафтанѣ“ перестаетъ быть человѣкомъ, а становится воплощеніемъ могучаго безличнаго начала.

Критики расходятся въ опредѣленіи этого начала точно также или соотвѣтственно тому, какъ они не соглашаются въ характеристикѣ Евгенія. Для однихъ: Всадникъ—вопло-

<sup>1)</sup> Венгер., III, 460.

щеніе героизма, челоуѣкобогъ, для другихъ—историческая необходимость, для третьихъ—самодержавіе.

Мы остановимся на этомъ послѣднемъ мнѣніи, такъ какъ въ настоящее время оно получило неожиданное подкрѣпленіе въ статьяxъ проф. Третьяка и Вал. Брюсова. Подчеркивая то обстоятельство, что „Пушкинъ всегда видѣлъ въ Петрѣ и крайнее проявленіе самовластія, граничащее съ деспотизмомъ“, что „въ „Мѣдномъ Всадникѣ“, тѣ же черты, мощи и самовластія, доведены до послѣднихъ предѣловъ“, Брюсовъ указываетъ далѣе, что, заставляя Всадника, неколебимаго передъ стихійнымъ бѣдствіемъ, покинуть свою скалу изъ-за бунта ничтожнаго чиновника, поэтъ тѣмъ самымъ какъ бы говорить: „Да, я не вѣрю больше въ борьбу съ деспотизмомъ силами стихійнаго мятежа; я вижу всю его бесплодность. Но я не измѣнилъ высокимъ идеаламъ свободы. Я, попрежнему, увѣренъ, что не вѣченъ кумиръ съ мѣдною главою, какъ ни ужасенъ онъ въ окрестной мглѣ, какъ ни вознесенъ онъ „въ неколебимой вышинѣ“. Свобода возникнетъ въ глубинахъ челоуѣческаго духа, и „огражденная скала“ должна будетъ опустѣть“. Еще проще, примитивнѣе формула проф. Третьяка: „Мѣдный всадникъ“ есть отвѣтъ на вызовъ Мицкевича. „Этотъ отвѣтъ приблизительно таковъ: „Правда, я былъ и остаюсь провозвѣстникомъ свободы, врагомъ тиранніи, но не явился ли бы я сумасшедшимъ, выступая на открытую борьбу съ послѣдней? Желая жить въ Россіи, необходимо подчиниться всемогущей идеѣ государства, иначе она будетъ преслѣдовать меня, какъ безумнаго Евгенія“<sup>1)</sup>. Не трудно, однако, замѣтить, что обѣ эти формулы далеко не полны и потому страдаютъ нѣкоторой сбивчивостью. Такъ, напримѣръ, Третьякъ свой проектъ пушкинскаго отвѣта начинаетъ съ заявленія: „я провозвѣстникъ свободы и врагъ

---

<sup>1)</sup> Не имѣя подъ руками подлинника, цитируемъ по реферату г. Браилловскаго, на котораго и возлагаемъ отвѣтственность за точность въ передачѣ этой формулы. „Пушкинъ и его совр.“, VII, 101.

тиранніи“, а кончаетъ признаніемъ необходимости подчиниться „всемогущей идее государства“. Выходитъ такъ, будто Пушкинъ возставалъ во имя свободы не противъ деспотизма, а противъ государственности. Безсознательно проф. Третьякъ подмѣнилъ свою первоначальную антитезу: личность—деспотизмъ гораздо болѣе широкой: личность—государство.

Но если проф. Третьякъ безсознательно расширилъ тему, то Вал. Брюсовъ въ своей окончательной формулировкѣ сузилъ ее до крайности: онъ началъ съ указанія на то, что Пушкинъ неоднократно задумывался надъ *значеніемъ* самодержавія и Петра для Россіи, и очень тонко объяснилъ съ этой точки зрѣнія нѣкоторыя мѣста поэмы, а кончилъ формулой: бунтъ противъ деспотизма.

Причина этой неясности обѣихъ статей, на нашъ взглядъ, заключается въ недостаточной опредѣленности основного понятія. Самодержавіе есть лишь извѣстная форма для активнаго проявленія государственной воли, форма, которая можетъ быть наполнена самымъ различнымъ содержаніемъ. Самодержецъ можетъ быть деспотомъ, самодуромъ, если угодно, цесаремъ, обожествляющимъ своего я и его влеченіе, и онъ же можетъ быть реформаторомъ, чудотворцемъ, исполнителемъ великой исторической миссіи. И, какъ только мы формулируемъ вопросъ такимъ образомъ, то становится совершенно ясно — хотя бы изъ статьи Брюсова, — что Пушкинъ въ Мѣдномъ Всадникѣ олицетворялъ не только чисто-политическій принципъ, но и опредѣленные положительные черты русскаго государя, оцѣниваемыя въ исторической перспективѣ.

Мы уже видѣли, что Пушкинъ строго отличалъ въ историческомъ дѣятелѣ личныя, случайныя качества отъ стремленій и заслугъ, объективно цѣнныхъ. Такъ судилъ онъ въ „19-омъ октября“ Александра I-го, такъ судилъ онъ себя самого въ „Памятникѣ“, такъ судилъ онъ и Петра въ замѣткѣ, которую мы процитируемъ еще разъ:

„Достойна удивленія разность между государственными учреждениями Петра Великаго и временными его указами. Первые суть плоды ума обширнаго, исполненнаго доброжелательства и мудрости, вторые нерѣдко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутомъ. Первые были для вѣчности, или, по крайней мѣрѣ, для будущаго,—вторые вырвались у нетерпѣливаго самовластнаго помѣщика“ (VII, 600).

Тутъ въ удивительно мѣткихъ и точныхъ выраженіяхъ очерчено то противорѣчіе въ личности Петра, которое Пушкинъ сразу же почувствовалъ и которое мучило его въ процессѣ творчества. Передъ нимъ всегда стояли два Петра: одинъ—великій реформаторъ, спасшій Россію надъ бездною (такъ прекрасно объясняетъ Брюсовъ строфу: „О, мощный властелинъ судьбы! Не такъ ли ты надъ самой бездною, на высотѣ, уздой желѣзною Россію поднялъ на дыбы!?“), другой—самодуръ, который пишетъ свои указы кнутомъ на спинахъ подданныхъ. И чѣмъ больше поэтъ углублялся въ историческія изученія, тѣмъ ярче и глубже становилась эта двуликость великаго императора. Сквозь призму своего установившагося воззрѣнія на Петра I Пушкинъ видѣлъ или думалъ, что видитъ, двойное лицо: геніальнаго создателя государства и старый восточный типъ „бича Божія“. Пушкинъ такъ и умеръ, не достигши синтеза, не изобразивъ историческаго Петра. Анненковъ предполагаетъ, что его смущали цензурныя соображенія, но намъ думается, что у Пушкина прямо могло не хватить творческихъ силъ для выполненія этой колоссальной задачи. Но, если онъ не былъ въ состояніи дать художественное воплощеніе „двуликаго“ Петра, то онъ могъ обрисовать и обрисовалъ въ Мѣдномъ Всадникѣ одинъ изъ его ликовъ. Именно съ художественной точки зрѣнія мысль воспользоваться Фальконетовой статуей слѣдуетъ признать геніально удачною. Вмѣсто того, чтобы одно-сторонне изображать конкретную историческую фигуру, подкрашивать или чернить живой образъ и тѣмъ создавать не



свободное отъ предвзятости и тенденціи историческое произведение, Пушкинъ оживилъ „кумиръ на бронзовомъ конѣ“, въ которомъ нѣкоторая отвлеченность и символичность были даны а priori. Благодаря этому самый процессъ творчества остался, вполнѣ свободнымъ: поэту не надо было исправлять созидающа, но изображать исправленное.

Какой же ликъ Петра воплощенъ въ Мѣдномъ Всадникѣ? Кто это такой: тотъ ли, кто созидаль „для вѣчности, или по крайней мѣрѣ исторіи“,—или тотъ, кто писалъ указы кнутомъ? „Человѣкъ высокаго роста, въ зеленомъ кафтанѣ, съ глиняной трубкой во рту“, „нетерпѣливый самовластный помѣщикъ“ или „мужъ Судьбы“, чудотворецъ, Великій Плотникъ? Фельдфебель на тяжеловозѣ <sup>1)</sup> или же... или „Мѣдный Всадникъ“?

Отвѣтъ, строго говоря, заключается въ самомъ вопросѣ. Человѣкъ въ зеленомъ кафтанѣ не можетъ быть символизированъ въ твореніи Фальконета. Это была бы нестерпимая ложь, ложь преступная, потому что самый памятникъ такое великое художественное произведение, что исказить его или воспользоваться имъ для выраженія иныхъ идей, чѣмъ тѣ, которыя вложилъ въ него строитель, было бы непростительнымъ преступленіемъ.

И поэтъ не пошелъ противъ ваятеля. Не самодержецъ, не божественный кесарь, но чудотворный строитель Петербурга, зачинатель петербургскаго періода русской исторіи выведенъ въ поэмѣ. На него возложена отвѣтственность за возникновеніе новой столицы, онъ виновникъ всѣхъ бѣдствій, вызванныхъ этимъ событіемъ, въ немъ олицетворена та историческая сила, которая ввела Россію въ круговоротъ европейской жизни, словно „спущенный корабль,

---

<sup>1)</sup> Очень любопытно отмѣтить здѣсь мнѣніе о Николаѣ I, которое Пушкинъ занесъ въ дневникъ и едва ли не самъ высказалъ: „Il y a beaucoup de pragmatique en lui et un peu de Pierre le Grand“. Опредѣленіе дѣйствительно мѣткое и очень хорошо формулирующее два „начала“ (VI, 562, отъ 21/V 1834 г.),

при стукѣ топора и громѣ пушекъ“. Такимъ онъ изображень въ Вступленіи, такимъ онъ присутствуетъ при возмущеніи стихій, такъ — и это всего важнѣе — понимаетъ его Евгений. Въдь и Евгений возстаётъ противъ царя не за его самодержавіе, не за его „крутой и кровавый переворотъ“, впрочемъ, благодѣтельный и плодотворный какъ для Россіи, такъ и для человѣчества. Онъ ненавидитъ *строителя Петербурга*, того, кто такъ опредѣленно обрисованъ во Вступленіи. И всѣ тѣ смѣлые эпитеты, которые примѣнилъ Пушкинъ къ своему Мѣдному Всаднику: „мощный властелинъ Судьбы“, „мужъ Судьбы“, „владыка полуміра“—преслѣдуютъ одну цѣль: представить Петра рѣшителемъ историческаго движенія, чтобы и читатель, подобно Евгению, почувствовалъ въ немъ повелителя рока, несущаго на себѣ всю отвѣтственность за безличный историческій процессъ.

Самодержавная власть, какъ признакъ Мѣднаго Всадника, нужна была поэту лишь потому, что она обусловила колоссальный размахъ воли чудотворца, и что только благодаря ей Петръ могъ быть названъ Властителемъ Судьбы безъ нарушенія внутренней правды поэмы.

Такимъ образомъ, и Пушкинъ и Евгений видятъ въ Петрѣ по преимуществу создателя Петербурга, историческую силу. Пока они не расходятся между собой: образъ великаго преобразователя, возсозданный въ поэмѣ самимъ Пушкинымъ, тождествененъ съ тѣмъ образомъ, который носитъ въ своей груди Евгений. И тутъ и тамъ это, прежде всего, вершитель исторіи. Но остаются ли они единомышленниками и въ дальнѣйшей оцѣнкѣ Мѣднаго Всадника? Проклинаетъ ли поэтъ Петра за созданіе Петербурга точно такъ же, какъ Евгений, или нѣтъ? На этотъ вопросъ отвѣчаетъ Вступленіе. Слѣдуя за сатирой Мицкевича, поэтъ шагъ за шагомъ противопоставляетъ его насмѣшливому „нѣтъ“ свое восторженное „да“, создавая въ результатѣ „апоѳеозу Петра Великаго, самую смѣлую, самую грандіозную, какая только могла придти въ голову поэту,

вполнѣ достойному быть пѣвцомъ великаго преобразователя Россіи“ (Бѣлинскій). Но этимъ диэирамбомъ Пушкинъ отвѣчалъ не одному Мицкевичу, но и себѣ самому, своему Евгению. Сравните то, что видѣлъ Евгений, съ яркой картиной Вступленія, и передъ вами окажутся два совершенно различныхъ созерцанія жизни. Съ одной стороны, жалкій чиновникъ, ограничившій свой кругозоръ видѣніями маленькаго личнаго счастья, стоитъ растерянный, передъ бурнымъ хаосомъ, съ другой—историкъ, проникновенно взирающій въ глубь вѣковъ, созерцаетъ цѣлесообразный и плодотворный процессъ строительства государственной и народной жизни. Тамъ впечатлѣніе бессмысленности, слѣпой произвольности, нелѣпости, здѣсь—разумности, стройности и необходимости. Тамъ „строитель“ — безобразный тиранъ, свирѣпый деспотъ, онъ — здѣсь мощный властелинъ судьбы, спасшій Россію надъ бездной.

На чемъ же покоится эта противоположность созерцаній и оцѣнокъ? Очевидно, что на различіи исходныхъ точекъ зрѣнія. Только отрѣшившись отъ чѣловѣческой мѣры, признавъ объективно-историческіе критеріи, можно постичь внутренній смыслъ Петровскаго переворота. Петербургъ, погубившій личное счастье Евгения, нуженъ для славы націи, для торжества просвѣщенія, для мощи государства. И пока челоуѣкъ не признаетъ ничего, кромѣ своего счастья, онъ не можетъ оцѣнить Мѣднаго Всадника, а Мѣдный Всадникъ, съ своей стороны, не можетъ не наносить ему ударъ за ударомъ, потому что его цѣль—не индивидуальное благо, а осуществленіе высшихъ цѣнностей.

„Смирися, гордый челоуѣкъ“—вотъ тотъ отвѣтъ, который могъ услышать Евгений изъ устъ Мѣднаго Всадника и который услышалъ Бѣлинскій:

„Мы понимаемъ смущенной душою,—пишетъ онъ,—что не произволь, а разумная воля олицетворены въ этомъ Мѣдномъ Всадникѣ, который съ непоколебимой вышины, съ

распростертою рукою, какъ бы любителю городомъ. *И намъ чудится*, что, среди хаоса и тьмы этого разрушенія, изъ его мѣдныхъ устъ исходитъ творящее „да будетъ“! а простертая рука гордо повелѣваетъ утихнуть разъяреннымъ стихіямъ... *И смиреннымъ сердцемъ признаемъ* мы торжество общаго надъ частнымъ, не отказываясь отъ нашего сочувствія къ страданію этого частнаго... *При взглядѣ на Великана*, гордо и непоколебимо возносящагося среди всеобщей гибели и разрушенія и какъ бы символически осуществляющаго собою несокрушимость его творенія,—мы, *хотя и не безъ содроганія сердца, но сознаемъ*, что этотъ бронзовый гигантъ не могъ уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь народа и государства; что за него историческая необходимость, и что его взглядъ на насъ есть уже его оправданіе...“ (курсивъ нашъ).

Мы нарочно привели эту длинную цитату, потому что здѣсь рѣчь идетъ не о *мнѣніяхъ* Бѣлинскаго, связанныхъ съ его личнымъ міровоззрѣніемъ, а о томъ *впечатленіи*, которое онъ получилъ отъ созерцанія Мѣднаго Всадника въ поэмѣ Пушкина. Это свидѣтельство чрезвычайно важно: если принципиальныя оцѣнки Бѣлинскаго едва ли могутъ быть авторитетными для настоящаго времени, то точность его прямого воспріятія почти безспорна.

Евгеній не могъ „смиреннымъ сердцемъ признать торжество общаго надъ частнымъ“, потому что въ его сердцѣ не было подлиннаго смиренія: онъ не понималъ, что, кромѣ его личнаго блага, есть еще нѣчто такое, ради чего это благо должно быть принесено въ жертву. И съ этой точки зрѣнія для него Мѣдный Всадникъ оказался такой же нелѣпой и бессмысленной силой, какъ и разъяренныя стихіи, съ той только разницей, что на него падала отвѣтственность за всѣ несчастія.

И въ то время, какъ самъ поэтъ, сумѣвшій подняться до незаинтересованнаго созерцанія внутренней объективной цѣ-

лесообразности историческаго событія, создаетъ во Вступленіи полную ясной радости картину возникающей „изъ тьмы лѣсовъ, изъ топи благи“ новой Россіи, Евгеній въ концѣ поэмы шлетъ проклятіе этой Россіи въ лицѣ ея творца — Мѣднаго Всадника.

Это составляетъ вторую часть драмы, еще болѣе символическую, чѣмъ первая. Въ ней Мѣдный Всадникъ окончательно облачается фантастической пеленой и возвеличеніе достигаетъ своего апогея въ знаменитомъ описаніи:

Ужасень онъ въ окрестной мглѣ!

Какая дума на челѣ!

Какая сила въ немъ сокрыта!

А въ семь конѣ какой огонь!

Куда ты скачешь, гордый конь,

И гдѣ опустишь ты копыта?

О мощный властелинъ Судьбы!

Не такъ ли ты надъ самой бездной,

На высотѣ, уздой желѣзной

Россію поднялъ на дыбы?

И когда эта колоссальная фигура, „мгновенно гнѣвомъ возгоря“, обращаетъ тихонько свое лицо къ злобно дрожащему Евгенію и несется за нимъ на звонко скачущемъ конѣ, то мы чувствуемъ, что эта высоко-драматическая сцена имѣетъ какое-то огромное символическое значеніе.

Г. Третьякъ безхитростно думаетъ, что здѣсь Пушкинъ выразилъ сознаніе невозможности бороться съ самодержавіемъ въ Россіи. Вал. Брюсовъ, не безъ вліянія Д. Мережковскаго, объясняетъ этотъ моментъ поэмы гораздо замысловатѣе. Тутъ онъ видитъ въ нѣкоторомъ родѣ даже торжество бѣднаго чиновника. Кумиръ на бронзовомъ конѣ оставался неколебимъ и спокоенъ при возмущеніи стихій, но онъ вострепнулся, какъ только до него долетѣлъ злобный шепотъ Евгенія. Такъ и должно быть: стихійный мятежъ ничего не можетъ сдѣлать противъ самодержавія, но „свобода воз-

никнетъ въ глубинахъ чловѣческаго духа и „огражденная скала“ должна будетъ опустѣть“.

Однако, такое объясненіе, помимо своей внутренней сбивчивости, не можетъ быть принято еще и потому, что оно идетъ въ разрѣзъ съ общимъ тономъ поэмы и ея финала, съ ясно выраженнымъ сознаниемъ безнадежности и безумія попытки Евгенія возмутиться. Если поддерживать точку зрѣнія Евгенія, то поэма не можетъ возбудить никакой надежды на побѣду надъ Мѣднымъ Всадникомъ, но, напротивъ, поселяетъ въ душѣ отчаяніе и ужасъ.

Вѣдь и самъ бѣдный Евгеній призналъ тщетность своей попытки:

И съ той поры, когда случалось  
Идти той площадью ему,  
Въ его лицѣ изображалось  
Смятенъе. Къ сердцу своему  
Онъ прижималъ поспѣшно руку,  
Какъ бы его смиряя муку;  
Картузъ изношенный снималъ,  
Смущенныхъ глазъ не подымалъ  
И шель сторонкой.

Какое ужъ тутъ можетъ чудиться торжество свободы, которая возникнетъ „въ глубинѣ чловѣческой души“, если самая робкая попытка къ протесту приводитъ къ еще болѣе худшему рабству?!

Г. Третьякъ ближе къ истинѣ, когда говоритъ о крайнемъ пессимизмѣ поэмы. Онъ только слишкомъ сужаетъ идею произведенія, желая сдѣлать изъ него исключительно оправданіе русскаго поэта передъ польскимъ. Не самодержца видитъ Евгеній въ Петрѣ, а чудотворнаго строителя. Онъ шлетъ свое проклятіе Властелину Судьбы, погубившему его счастье при созданіи новой Россіи. Его возстаніе — возстаніе эгоиста во имя личнаго блага противъ необходимаго объективно-цѣннаго историческаго процесса. И какъ только онъ

шепнулъ злобное слово бунта, тотчасъ ужасъ потрясъ его душу: за своей спиною онъ почувствовалъ грозное движеніе гиганта; спокойная ночь наполнилась какъ будто грома грохотаньемъ, и онъ кинулся бѣжать, слыша позади тяжелый топотъ настигающаго колосса.

Такъ и должно быть. Кто, замкнувшись въ узкомъ кругѣ личныхъ интересовъ, отвергъ подчиненіе своего „я“ высшему и взбунтовался противъ Судьбы, тотъ сразу же начинаетъ чувствовать за собою ея тяжелую поступь. Движеніе жизни, направленное къ осуществленію сверхъ-человѣчески-цѣннаго, представляется ему безобразнымъ водоворотомъ, гдѣ гибнетъ его мечта, а ея законъ, ея необходимость грознымъ привидѣніемъ, стремящимся его раздавить. Его уши наполняетъ чудовищный шумъ и звонъ совершающагося, хаосъ звуковъ, которые несутъ ему угрозы.

Этотъ безобразный ужасающій шумъ и звонъ напоминаетъ намъ другой шумъ и звонъ, который тоже слышалъ Пушкинъ, но Пушкинъ-пророкъ:

Моихъ ушей коснулся онъ,—  
И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ,  
И внялъ я неба содроганье,  
И горній ангеловъ полеть,  
И гадъ морскихъ подводный ходъ,  
И дольней лозы прозябанье.

Сравните два эти воспріятія шума и звона вселенной: ясное и стройное слуховое созерцаніе (именно *созерцаніе*) Пророка и безумную галлюцинацію Евгенія. Здѣсь — полярная противоположность двухъ міроощущеній, и основа ея въ различіи переживанія своего собственнаго я. Съ одной стороны, Пророкъ, томимый духовной жаждой, готовый на жертву, забывающій себя ради глагола о высшей волѣ, съ другой — ничтожный чиновникъ, сосредоточившійся на личномъ счастьѣ и отвергающій всякую иную цѣнность. И передъ однимъ — радостный образъ возникающей новой жизни,

картина вселенскаго бытія, передъ другимъ—бредовое видѣніе сумасшедшаго.

„Мѣдный Всадникъ“, до извѣстной степени, итоговое произведеніе Пушкина. То пессимистическое, съ точки зрѣнія личнаго счастья, созерцаніе жизни, которое сопровождало поэта приблизительно съ 1823—24 года, фиксируясь въ цѣлый рядъ вопрошающихъ стихотвореній („Даръ напрасный, даръ случайный, жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дана?“—отъ 1828 г.; „Жизни мышья бѣготня, что тревожишь ты меня?“—отъ 1830 г.), перешло въ „Мѣдномъ Всадникѣ“ въ открытое отрицаніе: „Иль вся наша и жизнь ничто, какъ сонъ пустой, насмѣшка рока надъ землей?“ и въ бунтъ противъ этого насмѣшливаго рока. И соотвѣтственно этому и наводящій тоску „однозвучный жизни шумъ“, „Парки бабье лепетанье, спящей ночи трепетанье“ превратились въ ужащающій грохотъ тяжело-звонкаго скаканья гиганта. Здѣсь даже можно отмѣтить чрезвычайно любопытную эволюцію того слухового образа, который лежитъ въ основѣ знаменитой сцены поэмы и является отраженіемъ опредѣленнаго момента пессимистическаго настроенія.

Но наряду съ этимъ мрачнымъ воззрѣніемъ на жизнь, въ произведеніи дано и другое, при которомъ все укладывается въ стройную и полную глубокаго смысла картину, а кумирь на бронзовомъ конѣ перестаетъ быть дикимъ тираномъ, губящимъ человѣческое счастье, а становится подлиннымъ чудотворнымъ строителемъ безъ всякихъ ковычекъ.

И въ этой двойственности освѣщенія пьесы кроется причина трудности ея истолкованія. Но мы уже видѣли, что эта двойственность красной нитью проходитъ черезъ цѣлый рядъ произведеній поэта. Она сквозитъ въ „Цыганахъ“, гдѣ взгляды и настроенія Алеко и Стараго Цыгана постоянно перекрываютъ другъ друга, въ изображеніи народа въ „Борисѣ Годуновѣ“, въ настроеніяхъ Ямбовъ и „Памятника“, въ оцѣнкѣ Петра Великаго и пр. и пр. И всюду эта двойственность



говорить одно и то же: жизнь, рассматриваемая съ точки зрѣнія человѣческаго блага—ничто, какъ сонъ пустой, на-смѣшка рока надъ землей; историческіе дѣятели: великій преобразователь, возстающій народъ — бессмысленны, жестоки и нелѣпы; необходимый выводъ изъ эгоцентрическаго міровоззрѣнія—непріятіе міра. Чтобы понять смыслъ и цѣнность совершающагося, нужно отречься отъ человѣческой мѣры, смиреннымъ сердцемъ признать торжество общаго надъ частнымъ, покориться судьбѣ во имя высшаго. Нужно очиститься самоотреченіемъ, и тогда міръ предстанетъ передъ человѣкомъ во всей своей гармоничной красотѣ. Процессъ жизни стремится къ объективнымъ цѣлямъ и, чтобы понять его, надо забыть о человѣческихъ цѣляхъ и отдаться безкорыстному созерцанію.

Эти идеи составляютъ внутреннее содержаніе и „Мѣднаго Всадника“. Болѣе того, какъ разъ въ этой поэмѣ проблема поставлена въ своей наиболѣе чистой формѣ. Съ одной стороны, и главный герой изображенъ исключительно идеологомъ личнаго счастья, носителемъ эгоистической воли, безъ всякихъ украшеній въ благородно-индивидуалистическомъ жанрѣ,—съ другой стороны, и та сила, которой онъ противопоставленъ, то же опредѣлена совершенно недвусмысленно, какъ строгая историческая необходимость, олицетворенная въ чудотворномъ строителѣ. Въ Евгеніи нѣтъ ничего вызывающаго, ничего такого, за что онъ можетъ быть наказанъ съ точки зрѣнія бытовой морали,—въ „Мѣдномъ Всадникѣ“ нѣтъ ни капли обычнаго морализма. Про бѣднаго чиновника никакъ нельзя сказать, что Богъ его покаралъ за какіе-нибудь грѣхи, вродѣ страстности Алеко или жестокаго лукавства цареубійцы,—о Властелинѣ судьбы нельзя предположить, чтобы онъ разыгрывалъ роль праведнаго судіи, карающаго порокъ и награждающаго добродѣтель. Одинъ гибнетъ исключительно какъ представитель человѣческаго начала, другой губитъ исключительно потому, что олицетво-

ряетъ объективный процессъ исторіи, не считающійся съ судьбой отдѣльныхъ особей. И благодаря этому поэма пріобрѣтаетъ особенно безнадежный характеръ: казалось, были приняты всѣ мѣры, чтобы не попасться навстрѣчу Мѣдному Всаднику, уберечься отъ рока, и все же ничего не вышло: премудрый пискарь все-таки попалъ въ бѣду.

Опредѣленности идеи и героевъ произведенія соотвѣтствуетъ концентрація его драматическаго дѣйствія: въ поэмѣ нѣтъ ничего лишняго, ни одного вставнаго эпизода; все вниманіе сосредоточено на двухъ герояхъ и ихъ встрѣчѣ. И въ этой чистотѣ драматизма поэмы—источникъ преобладающаго вліянія на читателя ея внутренняго символическаго значенія, а не внѣшняго содержанія. Введи, напримѣръ, Пушкинъ въ поэму описаніе гибели Параши, и впечатлѣніе отъ нея было бы совсѣмъ иное: она захватывала бы насъ своимъ бытовымъ трагизмомъ.

Такимъ образомъ, „Мѣдный Всадникъ“ входитъ въ циклъ тѣхъ произведеній поэта, въ которыя онъ вкладывалъ самыя мучительныя свои сомнѣнія и исканія. И въ постепенной эволюціи основныхъ образовъ этихъ произведеній: отъ Стараго Цыгана, слѣпо покорнаго слѣпой Судьбѣ, черезъ Пимена, представителя стихійнаго народнаго смиренномудрія, къ Мѣдному Всаднику, непосредственному олицетворенію объективно-цѣлесообразной исторической необходимости, — отъ романтическаго, безудержно-страстнаго Алеко къ скромному Евгенію въ постепенной смѣнѣ этихъ героевъ отражается личная эволюція Пушкина.

---

Глубоко ошибаются тѣ, кто думаетъ, что Пушкину несвойственно было олицетворять въ своихъ созданіяхъ такія отвлеченныя идеи, какъ „язычество“ и „христіанство“, или „историческая необходимость“ и „участъ индивидуальностей“.

Можно говорить о томъ, что Пушкинъ вообще былъ мало способенъ къ отвлеченному мышленію, а тѣмъ болѣе къ художественному воплощенію абстрактныхъ идей, но утверждать, что чисто-политическая идея самодержавія была ближе и доступнѣе его пониманію, чѣмъ основныя идеи даже не философскаго, а просто общечеловѣческаго мышленія о мірѣ,—значить обнаруживать плохое пониманіе духовнаго облика поэта. Напротивъ, именно эти идеи занимали его гораздо болѣе, чѣмъ различныя политическія разсужденія. Достаточно, напримѣръ, сравнить его отвѣтъ Чаадаеву, про который г. Гершензонъ пишетъ, что „если бы изъ всего, созданнаго Пушкинымъ, до насъ дошло только письмо, написанное имъ по полученіи отъ Чаадаева оттиска статьи изъ „Телескопа“,—этихъ трехъ страницъ было бы достаточно, чтобы признать его замѣчательнѣйшимъ человѣкомъ тогдашней Россіи: такъ много въ нихъ ума, такъ высоко и пламенно дышащее въ нихъ чувство <sup>1)</sup>“,—достаточно сравнить эти блестящія „три страницы“ съ дѣтскими размышленіями поэта на чисто-политическія темы, чтобы увидѣть, въ чемъ его сила и его слабость.

Мудрецу—Пушкину такіа, какъ ихъ называетъ Вал. Брюсовъ, „отвлеченныя идеи“, какъ идея Судьбы, личнаго счастья, исторіи, народа, мірскаго суда, были гораздо ближе, чѣмъ тезисы въ стилѣ Монтескье. Здѣсь онъ, какъ и всякій гений, чувствовалъ себя въ своемъ собственномъ царствѣ, потому что все это входило въ кругъ его собственныхъ переживаній, въ кругъ его собственнаго міроощущенія.

И среди этихъ отвлеченностей идея Рока всегда особенно тревожила сердце поэта. Съ тѣхъ поръ, какъ въ слишкомъ греческой формулѣ „Цыганъ“: „и всюду страсти роковыя, и

---

<sup>1)</sup> Гершензонъ, „Чаадаевъ“, стр. 144.: Пушкинъ „сразу уловилъ самую сердцевину ученія Чаадаева—идею имманентнаго дѣйствія духа Божія въ исторіи челоуѣчества—и возражаетъ ему, становясь на его собственную точку зрѣнія“.

отъ судебъ защиты нѣтъ“, — въ пессимистическомъ разочарованіи въ цѣнности жизни—онъ впервые *пережилъ и почувствовалъ* сверхчеловѣческую необходимость всего совершающагося, роковой характеръ событій исторической и личной жизни, съ тѣхъ поръ, какъ онъ впервые (это было, вѣроятно же всего, въ Одессѣ) услышалъ за своей спиною тяжело-звонкое скаканье Мѣднаго Всадника,—стремленіе къ преодолѣнію боязни передъ Судьбой и чувство возмущенія противъ нея легло въ основу его дальнѣйшаго самовоспитанія. И своимъ гениальнымъ чутьемъ онъ вполне правильно понялъ, что достигъ этого примиренія съ Рокомъ, остановить преслѣдованіе Колосса можно только при отреченіи отъ себя самого во имя высшаго, черезъ освобожденіе отъ слишкомъ человѣческой мѣры въ оцѣнкахъ міра, что пріятіе міра можетъ совершиться подъ знакомъ объективно-цѣннаго.

Эту форму созерцанія дала ему исторія. Слѣпой и безсмысленный рокъ, съ которымъ нельзя помириться, замѣнился для него не Богомъ, таинственно царящимъ надъ міромъ или въ мірѣ, не внутренней разумностью космического цѣлаго, но цѣлесообразной необходимостью исторического процесса. Пріятіе міра было дано ему не въ религиозномъ или натурфилософскомъ созерцаніи вселенной, но въ историческомъ воззрѣніи на жизнь человѣчества.

„Согласно тому, какъ меня учитъ самая сущность моей природы, все необходимое, созерцаемое съ высоты и въ смыслѣ великаго порядка, есть вмѣстѣ съ тѣмъ полезное. Должно не только сносить, но и любить его. Amor fati, любовь къ року глубочайшее начало моей природы“—говорить Ницше.

Къ этой-то любви къ року, достигаемой созерцаніемъ необходимаго съ высоты и въ смыслѣ великаго порядка, а не съ точки зрѣнія человѣческаго блага и стремился Пушкинъ, какъ только—въ пору созданія „Цыганъ“ — онъ ощутилъ господство Судьбы надъ жизнью. Конечно, ему при-

шлось много бороться съ самимъ собою, и не всегда эта борьба бывала успѣшна. Топотъ Мѣднаго Всадника не переставалъ раздаваться за нимъ, то стихая и превращаясь въ „однозвучный жизни шумъ“, въ „Парки бабье лепетанье, сонной ночи трепетанье“, въ „жизни мышью бѣготню“, то снова разрастаясь до грохотанья грома.

Но, тѣмъ не менѣе, не прервись такъ внезапно жизнь поэта, онъ пришелъ бы къ полной побѣдѣ, къ глубокому, ясному міровоззрѣнію гетевского склада, но исполненному оригинальнаго и чисто-русскаго содержанія. Въ этомъ насъ убѣждаютъ и все возрастающая ясность въ постановкѣ основной проблемы, и попытки поэта къ конкретному „примиренію съ дѣйствительностью“ и главное — органическое развитіе его художественнаго таланта.

Любовь къ року была нужна не только самому поэту, но и его поэзіи, потому что лишь на почвѣ такого объективнаго пріятія міра его реалистическое творчество могло найти для себя соотвѣтствующій матеріалъ: неба содроганье, и горній ангеловъ полеть, и гадъ морскихъ подводный ходъ, и дольней лозы прозябанье,—и необходимую свободу отношенія къ этому матеріалу.

И, достигнувъ послѣднихъ высотъ объективнаго созерцанія жизни, Пушкинъ въ то же время овладѣлъ бы вполне сокровищемъ той „мудрой вечерней любви“ къ людямъ, которая уже сквозитъ въ сельскихъ сценахъ „Онѣгина“ и господствуетъ въ „Повѣстяхъ Бѣлкина“ и „Капитанской дочкѣ“, той любви, о которой пророчествовалъ Достоевскій, говоря въ свѣтлую минуту о судьбѣ утратившаго вѣру человечества („Подростокъ“): „Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и въ той мѣрѣ, въ какой постоянно бы сознавали свою преходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнюю любовью“. „Пусть завтра послѣдній день мой,—но думалъ бы каждый, смотря на заходящее солнце,—все равно, я умру, но останутся всѣ они, а послѣ нихъ дѣти

ихъ“... „О, они торопились бы любить, чтобы затушить великую грусть въ своихъ сердцахъ. Встрѣчаясь, смотрѣли бы другъ на друга глубокимъ и осмысленнымъ взглядомъ, и во взглядахъ ихъ была бы любовь и грусть“.

**Борисъ Энгельгардтъ.**

## Опытъ анализа осеннихъ мотивовъ въ творчествѣ Пушкина.

### I.

„Осень подходит. Это любимое мое время—здоровье мое обыкновенно крѣпнеть—пора моихъ литературныхъ трудовъ настааетъ“ <sup>1)</sup>, читаемъ мы въ одномъ изъ Пушкинскихъ писемъ, которое, какъ всѣ вообще письма Пушкина, великолѣпно объясняетъ и черты его характера, и его привязанности, и увлеченія, и планы работъ, и взгляды на искусство.

Письма Пушкина кромѣ ихъ автобіографическаго значенія имѣютъ огромную литературную цѣнность. „Взыскательный художникъ“, такъ тщательно работавшій надъ русскимъ стихомъ, относившійся съ такой строгостью къ каждой своей строчкѣ, умѣвшій обдумывать каждое слово—взыскателемъ и въ письмахъ своихъ, доказательствомъ чему служатъ черновики и неоднократныя поправки.

Въ письмахъ та же простота и прямота.

„Это любимое мое время“ <sup>2)</sup>, „мнѣ и стихи въ голову не лѣзутъ, хотя осень чудная и дождь, и снѣгъ, и по колѣно грязь“ <sup>3)</sup>, „погода у насъ портится, кажется, осень наступаетъ не на шутку. Авось разпишусь“ <sup>4)</sup>, „эдакъ я и осень мою прогуляю“ <sup>5)</sup>. „Осень начинается. Авось засяду“ <sup>6)</sup>.

<sup>1)</sup> Переписка подъ ред. В. И. Саитова № 472.

<sup>2)</sup> Переписка № 472.

<sup>3)</sup> Переписка № 481.

<sup>4)</sup> Переписка № 936.

<sup>5)</sup> Переписка № 929.

<sup>6)</sup> Переписка № 931.

Этo' въ письмахъ, а вотъ и въ стихахъ такъ же просто и ясно:

Въ мои осенніе досуги,  
Въ тѣ дни, какъ люблю мнѣ писать,  
Вы мнѣ совѣтуете, други,  
Разсказъ забытый продолжать.

Или:

Теперь моя пора...

или:

И съ каждой осенью я разцвѣтаю вновь;  
Здоровью моему полезень русскій холодъ;

или:

Сказать вамъ *откровенно*  
Изъ годовыхъ временъ я радъ лишь ей одной.

Вотъ это „откровенно“ и замѣчательно въ Пушкинѣ. Эта откровенность сближаетъ слова простого дружескаго письма со словами художественными, гениальными. Нѣтъ ни одной метафоры, ни одного эпитета въ приведенныхъ выше стихахъ, „здѣсь, какъ писалъ Гоголь, нѣтъ краснорѣчія, здѣсь одна поэзія: никакого наружнаго блеска, все просто, все прилично“.

Съ обыкновенной для Пушкина прямою онъ просто заявляетъ, что любить осень и такъ же просто, что не любить весны:

Теперь моя пора: я не люблю весны.

Любимую часть „годового времени“ Пушкинъ почти всегда проводилъ среди природы.

9-го Августа 1824-го года онъ явился, высланный изъ Одессы, въ Михайловское, гдѣ его ожидало столкновение съ отцомъ. „Это пахнетъ, пишетъ онъ Жуковскому, палачемъ и каторгой“<sup>1)</sup>... „Спаси меня хоть крѣпостью, хоть Соловецкимъ

<sup>1)</sup> Переписка № 111.



монастырем“ <sup>1)</sup>, а фонь-Адеркаса онъ въ официальной бумагѣ просить: „рѣшаюсь для его спокойствія и своего собственнаго просить Его Императорское Величество да соизволить меня перевести въ одну изъ своихъ крѣпостей“ <sup>2)</sup>.

Легко понять мрачный характеръ этихъ словъ. Пребываніе въ Михайловскомъ было вынужденнымъ. Говоря про свое заточеніе, Пушкинъ писалъ, что ему „душно“ въ Михайловскомъ. Онъ мечтаетъ о „коляскѣ“, т. е. побѣгѣ въ Европу. „Если царь дастъ мнѣ свободу, пишеть онъ позже, въ 1826 году, то я мѣсяца не останусь. Когда воображаю Лондонъ, чугунныя дороги, то мое *глухое* Михайловское наводитъ на меня тоску и бѣшенство... удраль въ Парижъ и никогда въ проклятую Русь не воротится—ай-да умница“ <sup>3)</sup>.

Но въ томъ же письмѣ есть замѣчательное свидѣтельство объ истинной любви къ родинѣ: „Я, конечно, презираю отечество мое съ головы до ногъ—но мнѣ досадно, если иностранецъ раздѣляетъ со мною это чувство“ <sup>4)</sup>. Въ „глухомъ“ Михайловскомъ Пушкинъ томился, ему было дѣйствительно „душно“. Онъ былъ „на привязи“. „Ты, который не на привязи, какъ ты можешь оставаться въ Россіи?“ <sup>5)</sup>—спрашиваетъ онъ Вяземскаго. „Къ довершенію благополучія, начался дождь, съ тѣмъ, конечно, чтобы не переставать до самаго саннаго пути“ <sup>6)</sup>. „Погода ужасная“ <sup>7)</sup>. Княжевичу Пушкинъ пишеть въ 1824 году: „здѣсь нѣтъ ни моря, ни голубова неба полудня, ни Италіанской оперы, ни васъ, друзья мои. Уединеніе мое совершенно, праздность торжественна“ <sup>8)</sup>. Онъ одинъ въ Михайловскомъ, вдали отъ друзей. „У насъ очень дождикъ шумить, вѣтеръ шумить, лѣсъ шумить, шумно, а

<sup>1)</sup> Переписка № 103.

<sup>2)</sup> Пер. № 102.

<sup>3)</sup> Пер. № 257.

<sup>4), 5)</sup> Пер. № 257.

<sup>6)</sup> Пер. № 477.

<sup>7)</sup> Пер. № 478.

<sup>8)</sup> Пер. № 112.

скучно“ <sup>1)</sup>), пишетъ онъ Плетневу въ 1825 году. Что-то жуткое и унылое въ этихъ словахъ, въ этомъ троекратномъ „шумить“; и потомъ мы знаемъ, что это „откровенно“. „Шумно, а скучно“. „Жаль что я не буду его шаферомъ“ <sup>2)</sup>). Помните Пушкинъ друзей, съ простымъ любопытствомъ разспрашиваетъ Плетнева: „женится ли Дельвигъ? Опиши мнѣ всю церемонію“ <sup>3)</sup>).

Письма Пушкина носятъ иной разъ характеръ разговора. Въ письмахъ его встаетъ жизнь и слышится иногда въ многочисленныхъ вопросахъ его живая рѣчь.

Это вынужденное пребываніе въ „глухомъ“ Михайловскомъ окончилось 8-го сентября 1826 года, когда Пушкинъ, по приказанію Николая I, привезенъ былъ въ Москву.

Черезъ два мѣсяца онъ опять вернулся въ Михайловское. „Есть какое то поэтическое наслажденіе возвратиться вольнымъ въ тюрьму“ <sup>4)</sup>), пишетъ Пушкинъ Вяземскому 9-го ноября 1826 года.

Затѣмъ въ 1827 году онъ опять пріѣзжалъ въ Михайловское на два мѣсяца. Осенью 1828-го и 1829-го года былъ въ Малинникахъ, осень 1830-го года провель въ Болдинѣ, гдѣ писалъ больше всего. „Скажу тебѣ, что въ Болдинѣ писалъ, какъ давно уже не писалъ“ <sup>5)</sup>), читаемъ въ письмѣ къ Плетневу.

Осень 1830-го года была тревожна по заботамъ о невѣстѣ и омрачена опять вынужденнымъ пребываніемъ, вслѣдствіе бушевавшей „Колеры Морбусъ“.

„Грустно, тоска, тоска. Дѣла будущей тещи моей разстроены. Свадьба моя отлагается день отъ дня далѣе. Между тѣмъ я хладѣю, думаю о заботахъ женатаго человѣка, о прелести холостой жизни... Осень подходитъ. Это любимое мое время—здоровье мое обыкновенно крѣпнетъ—пора моихъ

---

<sup>1)</sup>, <sup>2)</sup>, <sup>3)</sup>—Переписка № 188.

<sup>4)</sup> Пер. № 282.

<sup>5)</sup> Пер. № 496.

литературныхъ трудовъ настаеть—а я долженъ хлопотать о приданомъ, да о свадьбѣ, которую сыграемъ богъ вѣсть когда. Все это не очень утѣшно. Ёду въ деревню. Богъ вѣсть буду-ли тамъ имѣть время заниматься, и душевное спокойствіе, безъ котораго ничего не произведешь кромѣ эпиграммъ на Каченовскаго... Чортъ меня догадалъ бредить о щастіи, какъ будто я для него созданъ“<sup>1)</sup>, пишетъ Пушкинъ Плетневу 31-го августа изъ Москвы, а изъ Болдина ему же пишетъ: „Теперь мрачныя мысли мои поразсѣялись, прѣхаль я въ деревню и отдыхаю, около меня Колера Морбусъ. Знаешь ли что это за звѣрь?“<sup>2)</sup>.

Есть упоеніе въ бою,  
И бездны мрачной на краю,  
. . . . .  
И въ Аравійскомъ ураганѣ,  
И въ дуновеніи Чумы

неволью припоминаются написанные въ этомъ же году, тутъ же въ Болдинѣ, стихи.

„Ты не можешь себѣ вообразить, какъ весело удрать отъ невѣсты, да и засѣсть стихи писать“<sup>3)</sup>. „Въѣздъ въ Москву запрещень, и вотъ я запертъ въ Болдинѣ“<sup>4)</sup>, пишетъ Пушкинъ своей невѣстѣ. „Въ Болдинѣ, все еще въ Болдинѣ“<sup>5)</sup>. „Итакъ, вы видите, что мое пребываніе здѣсь вынужденное“<sup>6)</sup>.

Но это *вынужденное* пребываніе ознаменовалось чрезвычайной плодovitостью поэта. „Нынѣшняя осень, пишетъ онъ Дельвигу, была дѣтородна“<sup>7)</sup>.

Въ Болдинѣ въ 1830-мъ году было написано: двѣ послѣднія главы „Евгенія Онѣгина“, „Домикъ въ Коломнѣ“,

1) Переписка № 472.

2) Пер. № 475.

3) Пер. № 475.

4) Пер. № 478.

5) Пер. № 488.

6) Пер. № 490.

7) Пер. № 483.

„Скупой Рыцарь“, „Моцартъ и Сальери“, „Пиръ во время чумы“, „Донъ-Жуанъ“, тридцать мелкихъ стихотвореній и „Повѣсти Бѣлкина“, „отъ которыхъ, какъ писалъ Пушкинъ Плетневу, Боратынскій ржетъ и бьется“. Въ 30-мъ году впервые встрѣчаемъ у Пушкина сонеты (3) и октавы—„Осень“ и упомянутый раньше „Домикъ въ Коломнѣ“.

Въ 1831-мъ году осень провелъ Пушкинъ частью въ Царскомъ Селѣ, частью въ Петербургѣ. Въ 1832-мъ году—въ Москвѣ. Въ 1833-мъ году, послѣ путешествія и собиранія матеріаловъ для исторіи Пугачева, 1-го октября онъ пріѣхалъ въ Болдино и оставался тамъ до половины ноября. Эти полтора мѣсяца пребыванія въ Болдинѣ ознаменовались созданіемъ „Мѣднаго Всадника“. Въ 1834-мъ году до октября Пушкинъ былъ въ Болдинѣ. Осенью 1835-го года, послѣ десятилѣтняго промежутка Пушкинъ въ послѣдній разъ былъ въ Михайловскомъ, о которомъ писалъ женѣ: „Въ Михайловскомъ нашель я все по старому, кромѣ того, что нѣтъ ужъ въ немъ няни моей, и что около знакомыхъ старыхъ сосенъ поднялась, во время моего отсутствія, молодая сосновая семья, на которую досадно мнѣ смотрѣть, какъ иногда досадно мнѣ видѣть молодыхъ кавалергардовъ на балахъ, на которыхъ уже не пляшу“<sup>1)</sup>).

А въ стихахъ „Вновь я посѣтилъ“ находимъ то же чувство и почти тѣ же слова:

Вотъ опальный домикъ,  
Гдѣ жилъ я съ бѣдной нянею моей.  
Уже старушки нѣтъ:  
. . . . . три сосны  
Стоять, одна по-одаль, двѣ другія  
Другъ къ дружкѣ близко.  
. . . . . здравствуй, племя  
Младое, незнакомое!

<sup>1)</sup> Переписка № 933.

Осенью этого года Пушкинъ мало работалъ. „Писать не начиналъ и не знаю, когда начну“ <sup>1)</sup>. „Я все безпокоюсь и ничего не пишу, а время идетъ“. „Ты не можешь вообразить, какъ живо работаетъ воображеніе, когда сидимъ одни между четырехъ стѣнъ или ходимъ по лѣсамъ, когда никто не мѣшаетъ намъ думать—до того, что голова закружится“ <sup>2)</sup>. „Вообрази, что до сихъ поръ я не написалъ ни строчки, а все потому, что неспокоенъ“ <sup>3)</sup>. „Ни стиховъ, ни прозы писать и не думаю“ <sup>4)</sup>.

Эта предпоследняя осень была тяжелою для поэта. Тяжелы были и свѣтскія отношенія, тяжело было и съ женой: „Все кругомъ меня говоритъ, что я старѣю“ <sup>5)</sup>. „Не замѣчай ты, мой другъ, того, что я слишкомъ замѣчаю“ <sup>6)</sup>, съ горькой улыбкой пишетъ онъ женѣ. „Что у насъ за погода. Вотъ ужъ три дня, какъ я только что гуляю, то пѣшкомъ, то верхомъ. Эдакъ я и осень мою прогуляю, и коли Богъ не пошлетъ намъ порядочныхъ морозовъ, то возвращусь къ тебѣ не сдѣлавъ ничего“ <sup>7)</sup>.

Покоя и сосредоточенности былъ лишень Пушкинъ совершенно въ этотъ годъ, тяжелый и тревожный.

„Пишу, черезъ пень колоду валю“ <sup>8)</sup>. „Для вдохновенія нужно сердечное спокойствіе, а я совсѣмъ неспокоенъ“ <sup>9)</sup>. „Такой безплодной осени отроду мнѣ не выдавалось“ <sup>10)</sup>, пишетъ онъ Плетневу въ первой половинѣ октября.

И наконецъ послѣднюю осень своей жизни Пушкинъ провелъ въ Петербургѣ.

---

<sup>1)</sup> Переписка № 929.

<sup>2)</sup> Пер. № 931.

<sup>3)</sup> Пер. № 933.

<sup>4)</sup> Пер. № 935.

<sup>5)</sup> Пер. № 933.

<sup>6)</sup> Пер. № 933.

<sup>7)</sup> Пер. № 929.

<sup>8)</sup> Пер. № 939.

<sup>9)</sup> Пер. № 939.

<sup>10)</sup> Пер. № 939.

Въ своихъ запискахъ или *mémoires*, какъ называлъ ихъ самъ Пушкинъ, онъ въ 1824 году подъ 19 ноября записываетъ: „Вышелъ изъ лица, я тотчасъ почти уѣхалъ въ Псковскую губернію моей матери. Помню, какъ обрадовался сельской жизни, русской банѣ, клубникѣ и проч., но все это нравилось мнѣ не долго. Я любилъ и доселѣ люблю шумъ и толпу“.

Въ 1826 году вернувшись обратно, вскорѣ послѣ разрѣшенія покинуть Михайловское, Пушкинъ пишетъ Плетневу: „Вотъ я въ деревнѣ. Деревня мнѣ пришлѣ какъ то по сердцу. Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встрѣча моей дворни, хамовъ и моей няни—ей Богу пріятнѣй щекотить сердце, чѣмъ слава, наслажденіе самолюбія, разсѣянности и проч.“<sup>1)</sup>

Главными пунктами деревенской жизни Пушкина были Михайловское и Болдино. Они то и отразились въ его стихахъ. Тригорское, Малинники, Голубово, Св. Горы, Михайловское и Болдино—вотъ источники, которыми пользовался Пушкинъ въ своихъ описаніяхъ природы.

Кому довелось побывать въ этихъ живописныхъ „историческихъ“ мѣстахъ, гдѣ живы еще преданія о Пушкинѣ, тотъ легко возстановитъ въ памяти при видѣ Святогорскаго монастыря и озера—монаха скитающагося, а проѣзжающій не въ объѣздъ на косогорахъ вспомнить „телѣгу жизни“, а въ прогулкѣ къ Пушкинскимъ соснамъ, которыхъ, впрочемъ, уже не существуетъ, вспомнится:

здравствуй, племя  
Младое, незнакомое! Не я  
Увижу твой могучій поздній возрастъ,  
Когда переростешь моихъ знакомцевъ.

Въ разны годы  
Подъ вашу сѣнь Михайловскія рощи,  
Являлся я!

---

<sup>1)</sup> Переписка № 282.

И „веселымъ юношей“, чтобъ обрадоваться сельской жизни и русской банѣ, и „усталымъ пришельцемъ“, „ожесточеннымъ“ отъ „борьбы неровной“, какъ въ послѣдній разъ, являлся Пушкинъ въ свое „глухое“ Михайловское.

## II.

Природа Михайловскаго и Болдина — вотъ природа подъ перомъ Пушкина.

„Здѣсь нѣтъ ни моря, ни голубова неба полудня“.

Смотри, какой здѣсь видъ: избушекъ рядъ убогой,

За ними черноземъ, равнины скать отлогой,

Надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса.

„Сѣренькія тучи покрывали небо; холодный вѣтеръ дулъ съ пожатыхъ полей“. „Въ одно ясное, холодное осеннее утро, изъ тѣхъ, какими богата наша русская осень“...

Вотъ эта „наша русская осень“ съ сѣренькими тучами, съ убогимъ рядомъ избушекъ, да съ холоднымъ вѣтромъ, да съ яснымъ осеннимъ утромъ—и есть природа у Пушкина, природа „безпорывная“, какъ называль ее Гоголь.

„При имени Пушкина,—пишетъ Гоголь,—тотчасъ осѣняетъ мысль о русскомъ національномъ поэтѣ. Въ немъ русская природа, русская душа, русскій языкъ, русскій характеръ отразились въ такой же чистотѣ, въ какой отражается ландшафтъ на выпуклой поверхности оптического стекла“.

Поэзія Пушкина, такъ мастѣрски просто и нелукаво воспѣвая неприглядную сѣверную природу, слишкомъ близка къ самой русской природѣ.

„Сочиненія Пушкина — продолжаетъ Гоголь, гдѣ дышетъ у него русская природа, такъ-же тихи и *безпорывны*, какъ русская природа. Ихъ только можетъ совершенно понять тотъ, чья душа такъ нѣжно организована и развилась въ чувствахъ, что способна понять не блестящія съ виду русскія пѣсни и русскій духъ; потому что чѣмъ предметъ обыкно-

веннѣ, тѣмъ выше нужно быть поэту, чтобы извлечь изъ него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочимъ, совершенная истина“.

Описывая унылую природу и не отвлекаясь отъ нея, а наоборотъ углубляясь и приближаясь къ ней,—только Пушкинская лира могла извлечь изъ нея то, „необыкновенное“, на что способенъ лишь „высокій поэтъ“. Природа русская—*безпорывна*, но не уныла—и это показала Пушкинъ въ своихъ стихахъ.

„Здѣсь нѣтъ ни моря, ни голубова неба полудня“.

Чуждая экзотизма, опредѣленныхъ ясныхъ красокъ, рѣзкихъ и отчетливыхъ, той сладости и яркости, что присущи югу—сѣверная призрачная природа глубже и смиреннѣй

Красою тихую, блистающей смиренно.

И языкъ Пушкина, который говоритъ объ этой природѣ, и самъ совершенно естественно становится „безпорывнымъ“ и „смирненнымъ“.

„Въ немъ, какъ будто въ лексиконѣ,—пишетъ Гоголь,—заключалось все богатство, сила и гибкость нашего языка“. „Его мелкія стихотворенія—рядъ самыхъ ослѣпительныхъ картинъ. Это тотъ ясный миръ, который такъ дышетъ чертами, знакомыми однимъ древнимъ, въ которыхъ природа выражается такъ-же живо, какъ въ струѣ какой-нибудь серебряной рѣки. Тутъ все: и наслажденіе, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдругъ объемлющая священнымъ холодомъ вдохновенія читателя. Все лаконизмъ, какимъ всегда бываетъ чистая поэзія.“

Словъ немного, но они такъ точны, что обозначаютъ все, въ каждомъ словѣ—бездна пространства; каждое слово необъятно какъ поэтъ“.

Въ послѣднихъ числахъ Сентября  
Въ деревнѣ скучно, грязь, ненастье,  
Осенній вѣтеръ, мелкій снѣгъ,



Да вой волковъ. Но то-то счастье  
Охотнику! Не зная нѣгъ,  
Въ отъѣзжемъ полѣ онъ гарцуеть,  
Вездѣ находить свой ночлеги,  
Бранится, мокнетъ и пируетъ  
Опустошительный набѣги.

До такой простоты изложенія и такой „бездны пространства“ каждаго слова доходили только древне.

И геніальная, точная и лаконическая простота Пушкина— не превзойденная мудрость его.

Ложился на поля туманъ,  
Гусей крикливыхъ караванъ  
Тянулся къ югу...

Вотъ тѣ нѣсколько словъ, которыхъ достаточно для описанія поздней осени. Тутъ есть все. Это и составляетъ сущность Пушкинскаго лаконизма и точности.

„Если должно сказать о тѣхъ достоинствахъ, которыя составляютъ принадлежность Пушкина, отличающую его отъ другихъ поэтовъ, то они заключаются въ чрезвычайной быстротѣ описанія и въ необыкновенномъ искусствѣ немногими чертами означить весь предметъ. Врядъ-ли о комъ изъ поэтовъ можно сказать, чтобы у него въ коротенькой пьесѣ вмѣщалось столько величія, простоты и силы, сколько у Пушкина“,—замѣчаетъ Гоголь.

И дѣйствительно:

Что наши лучшія желанья,  
Что наши свѣжія мечтанья  
Истлѣли быстрой чередой,  
Какъ листья осенью *тилой*.

Тутъ въ одной послѣдней строкѣ данъ полный образъ осени съ тлѣющими листьями, которые гніютъ, а послѣднее переносится на самую осень, которая имѣетъ при себѣ необычайно точный и смѣлый эпитетъ: *тилая*.

III.

„Природа выражается такъ-же живо, какъ въ струѣ какой-нибудь серебряной рѣки“, говоритъ Гоголь про Пушкина.

„Сѣренькія тучи покрывали небо; холодный вѣтеръ дулъ съ пожатыхъ полей“. Вотъ „безпорывность“ русской природы—это сѣренькія тучи. Надо было обладать тѣмъ художественнымъ чутьемъ и вкусомъ, какими награжденъ былъ Пушкинъ, чтобы въ двухъ словахъ опредѣлить всю особенность пейзажа. „Сѣренькія тучи“ — опредѣляютъ скромную, робкую природу.

• Бѣдняжка клонится безъ ропота, безъ гнѣва  
Улыбка на устахъ увянувшихъ видна...  
Играетъ на лицѣ еще багровый цвѣтъ—  
Она жива еще сегодня—завтра нѣтъ.

„Сѣренькія тучи“ зовутъ въ печальные осенніе сумерки посѣтить родовое кладбище.

Но какъ-же любо мнѣ  
Осеннею порой, въ вечерней тишинѣ,  
Въ деревнѣ посѣщать кладбище родовое,  
Гдѣ дремлютъ мертвые въ торжественномъ покоѣ.

Небо покрыто тучами; тихо и безвѣтренно, точно замолкло все. И въ этой сельской тишинѣ, на деревенскомъ кладбищѣ— есть своя „безпорывная“ торжественность, торжественность безмолвія и покоя.

Гдѣ дремлютъ мертвые въ торжественномъ покоѣ.

Эта тишина и печаль деревенскихъ сумерекъ, когда уже скроется день за край окружающихъ горъ, приводятъ домой, въ пустынную келью:

Пылай, каминъ, въ моей пустынной кельѣ;  
А ты, вино, осенней стужи другъ,  
Пролей мнѣ въ грудь отрадное похмѣлье,  
Минутное забвенье горькихъ мукъ.

И эти строки такъ близки къ словамъ одного изъ его писемъ: „У насъ очень дождикъ шумить, вѣтеръ шумить, лѣсъ шумить, шумно, а скучно“<sup>1)</sup>).

И вотъ „отрадное похмѣлье“, которое, можетъ быть, способно стать минутнымъ забвеньемъ горькихъ мукъ.

Одинокій поэтъ въ своемъ „глухомъ“ Михайловскомъ празднуетъ любезную сердцу его годовщину. „Какая глубокая и вмѣстѣ съ тѣмъ свѣтлая скорбь“, замѣчаетъ Бѣлинскій по поводу этого стихотворенія.

Это особенно замѣчательно въ Пушкинѣ. Самое мрачное изображеніе мрачныхъ картинъ согрѣто его скорбью, „глухой и свѣтлой скорбью“.

И нынѣ здѣсь, въ забытой сей глуши,  
Въ обители пустынныхъ вьюгъ и хлада.

„Когда воображаю Лондонъ, чугуныя дороги, то мое „глухое“ Михайловское наводитъ на меня тоску и бѣшенство“.

Но вотъ послѣ прогулки, когда погаснетъ короткій день, передъ этимъ-же каминомъ:

Огонь опять горитъ—то яркій свѣтъ лѣтъ,  
То тлѣетъ медленно; а я предъ нимъ читаю,  
Иль думы долгія въ душѣ моей питаю.  
И забываю міръ,—и въ сладкой тишинѣ  
Я сладко усыпленъ моимъ воображеньемъ,  
И пробуждается Поэзія во мнѣ.

И къ поэту идетъ незримый рой гостей.

Знакомцы давніе, плоды мечты моей.  
Стальные рыцари, угрюмые султаны,  
Монахи, карлики, Арапскіе Цари...

„Скажу тебѣ что въ Болдинѣ писалъ, какъ давно уже не писалъ“, признается онъ Плетневу. „Ты не можешь вообразить, какъ весело удрать отъ невѣсты, да и засѣсть стихи писать“.

---

<sup>1)</sup> Переписка № 188.

А вотъ почти такая-же картина въ пьесѣ 1815 года.

Вотъ мой каминь—подъ вечеръ темной,  
Осенней бурною порой  
Люблю подъ сѣнію укромной  
Предъ нимъ задумчиво мечтать,  
Вольтера, Виланда читать.  
Или въ минуту вдохновенья  
Небрежно стансы намарать.

Какъ просто и весело и по Пушкински мудро:  
Небрежно стансы намарать.

\* Пушкинъ любилъ это „небрежно“:

Его стихамъ небрежнымъ и простымъ...  
.....  
Трудъ небрежный мой...  
.....  
Чей гласъ пріятный и небрежный...  
.....  
И строкъ небрежныхъ очертанье...

Но вотъ опять мрачная картина. Мы знаемъ, что въ 1824 году Пушкинъ не радъ былъ своему пребыванію въ деревнѣ. Ему было душно въ Михайловскомъ.

И окружавшую его обстановку онъ передалъ въ слѣдующихъ стихахъ:

Ненастный день потухъ; ненастной ночи мгла  
По небу стелется одеждою свинцовой;  
Какъ привидѣніе, за рощею сосновой  
Луна туманная взошла...  
Все мрачную тоску на душу мнѣ наводитъ.

А домашнюю обстановку мы знаемъ: „Отецъ мой, пишетъ Пушкинъ Жуковскому, воспользуясь отсутствіемъ свидѣтелей выбѣгаетъ и всему дому объявляетъ, что я его билъ, хотѣлъ бить, замахнулся, могъ прибить. Передъ тобой не оправдываюсь, но чего-же онъ хочетъ отъ меня съ уголовнымъ своимъ

обвиненіемъ? Рудниковъ сибирскихъ и лишенія чести. Спаси меня хоть крѣпостью, хоть Соловецкимъ монастыремъ, не говорю тебѣ о томъ, что терпятъ за меня братья и сестра <sup>1)</sup>).

Все мрачную тоску на душу мнѣ наводитъ.

И въ параллель этому сѣверному пейзажу поэту рисуются „иные берега, иныя волны“.

Далеко, тамъ, луна въ сіяніи восходитъ;  
Тамъ воздухъ напоенъ вечерней теплотой;  
Тамъ море движется роскошной пеленой  
Подъ голубыми небесами...

А здѣсь:

Какъ привидѣніе, за рощею сосновой  
Луна туманная взошла.

Потухъ ненастный день, но вслѣдъ ему встаетъ ненастной ночи мгла.

И это противоположеніе лунѣ, всходящей въ сіяніи, морю, голубому небу.

„Здѣсь нѣтъ ни моря, ни голубова неба полудня“.

Въ приведенныхъ покуда стихахъ—природа „безпорывна“, но не уныла и не жестока. Но есть у Пушкина пьеса, въ которой „унылая пора“ рисуется въ мрачныхъ тонахъ. Мрачные образы встаютъ передъ глазами поэта, и онъ, не смотря на всю свою „свѣтлость“ становится жестокъ. Черная, мрачная осень встаетъ, и жестокіе внушаетъ образы поэту.

„Пушкинъ питаль особое сочувствіе къ этому времени года. Это чувство едва ли не русское. Мы любимъ уныніе въ природѣ, равно какъ въ музыкѣ и поэзи“, замѣчаетъ Шевыревъ.

Попробуй, сладимъ ли съ проклятою хандрой.  
Смотри какой здѣсь видъ: избушекъ рядъ убогой,  
За ними черноземъ, равнины скать отлогой,  
Надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса.

---

<sup>1)</sup> Переписка № 103.

И вотъ картина унылаго и убогаго сѣвера:

На дворѣ у низкаго забора  
Два бѣдныхъ деревца стоятъ въ отраду взора,  
Два только деревца, и то изъ нихъ одно  
Дождливой осенью совсѣмъ обнажено,  
А листья на другомъ размокли и, желтѣя,  
Чтобъ лужу засорить, ждуть перваго Борea.  
И только. На дворѣ живой собаки нѣтъ.  
Вотъ, правда, мужичокъ; за нимъ двѣ бабы вслѣдъ;  
Безъ шапки онъ; несетъ подъ мышкой гробъ ребенка,  
И кличетъ издали лѣниваго попенка,  
Чтобъ тотъ отца позваль, да церковь отворилъ:  
Скорѣй, ждaть некогда, давно бѣ ужъ схоронилъ!

Пьеса начинается „двумя бѣдными деревцами“ и, постепенно развиваясь и все болѣе и болѣе омрачаясь, приходитъ къ суровому и до ужаса жуткому концу:

Скорѣй, ждaть некогда, давно-бѣ ужъ схоронилъ!

Завершительныя строки какъ бы предваряетъ сначала лаконическое:

*И только*

и вслѣдъ за нимъ:

. . . живой собаки нѣтъ,

и дальше, собираясь рассказать самое главное, поэтъ, будто забывъ замѣчаетъ:

Вотъ, правда, мужичокъ; за нимъ двѣ бабы вслѣдъ;  
Безъ шапки онъ:

и послѣ этого—такъ удивительно нѣжно и жестоко:

Несетъ подъ мышкой гробъ ребенка.

La petite Marie est morte,  
Et son cercueil est si peu long  
Qu'il tient sous le bras qui l'emporte  
Comme un étui de violon.

вспоминаются стихи Теофиля Готье. Но послѣдній не удержался и подчеркнул: *такъ коротокъ*; и не удержался отъ сравненія короткаго гроба дѣвочки съ футляромъ отъ скрипки.

Если бы въ данной пьесѣ было бы что либо подобное, то впечатлѣнiе, конечно, ослабло бы.

И лаконизмъ Пушкина дѣйствуетъ здѣсь со всей жестокостью и суровостью:

И кличетъ издали лѣниваго попенка,  
Чтобъ тотъ отца позваль.

Обратимъ вниманiе на слова *чтобъ тотъ отца*; эти т, б, т, т, тц—холодно и сухо звучать при произношенiи.

Они какъ бы задерживаютъ слова. Вслѣдъ за ними, начинаясь съ *да*, слѣдуетъ:

да церковь отвориль.

Шевыревъ указываетъ на употребленiе въ этой пьесѣ словъ „простонародныхъ“.

Эти „простонародныя слова“ и *да* въ предпослѣдней строкѣ еще болѣе типичны для „унылой поры“ и унылаго содержанiя пьесы.

Погребенiе ребенка, погребенiе безъ слезъ, безъ жалости, но со скрытой внутренней трагичностью, жуткое по простотѣ и откровенности—требуетъ соотвѣтствующаго изложенiя, которое мы и имѣемъ въ данной пьесѣ.

Это стихотворенiе чуть ли не единственное у Пушкина—мрачное и унылое.

И завершающей его стихъ:

Скорѣй, ждать некогда, давно бъ ужъ скоронилъ!

является соотвѣтствующимъ завершенiемъ всего жуткаго и унылаго стихотворенiя, проникнутаго „глубокой скорбью“ автора.

И тѣмъ сильнѣе дѣйствуетъ оно на внимательнаго читателя.

IV.

Въ смерти есть торжественность и мудрость.

Передъ лживой и суетной жизнью она величественна и строга въ покоѣ своемъ и безмолвіи.

Умираніе природы—торжественно и пышно.

Щедро разцвѣчена богатыми красками „унылая пора“.

Передъ жертвоприношеніемъ всегда слѣдуетъ торжество, и самое жертвоприношеніе обставляется торжественно и пышно.

Настала осень золотая.

Природа трепетно блѣдна,

Какъ жертва пышно убрана.

Но, какъ приличествуетъ смерти, здѣсь не яркія и слѣпительныя краски, а строгія и подобающія торжеству.

„Багрець и золото“—вотъ надлежащіе цвѣта.

Уже румяна осень носить

Снопъ златые на гумно,

Шумящи красножелты листья

Разстались всюду по тропамъ.

Такъ воспроизводитъ „унылую пору“ пѣвецъ Екатерины.

Осень дѣйствуе́тъ на зрительное чувство поэта, и онъ подбираетъ наиболѣе яркіе и точные эпитеты.

*Румяна, златые, красножелты*—вотъ то, что должно было быть побѣждено Пушкинскимъ „багрецомъ и золотомъ“.

Роняетъ лѣсъ багряный свой уборъ.

Восторженность Пушкина, такъ разцвѣтившая „унылую пору“, единственна въ циклѣ осеннихъ мотивовъ его творчества.

Подъемъ, характеризующій четверостишье, является какъ бы завершающимъ воспѣваніе осени и восторги передъ ея пышностью.

Унылая пора, очей очарованье,

Пріятна мнѣ твоя прощальная краса—

Люблю я пышное природы увяданье

Въ багрець и въ золото одѣтые лѣса.

Энергія стиховъ этого четверостишья замѣчательна. Но въ глаза бросается и другая особенность—



*унылая* пора, но она *очей очарованье*, въ то время какъ *очарованье* не свойственно слову *унылая*;

*пріятна* и что же — *прощальная краса*; опять таки *прощальная краса* и *пріятна*;

*увяданье* природы и—*пышно*.

Но вотъ эти несвойственныя существительнымъ опредѣленія и дѣлають четверостишье удивительно тонкимъ и строго осеннимъ.

Въ этомъ вѣдь и заключается вся особенность „унылой поры“.

Умираніе ея пышно, а прощальная краса ея—

Какъ жертва пышно убрана.

Кромѣ того характеризующимъ звукомъ является *а*, и не только въ рифмахъ

очарованье

увяданье

краса

лѣса

но и въ первыхъ двухъ стихахъ:

УнылАЯ пОрА, Очей ОчАрОвАнье,

ПріятнА мнѣ твОЯ прощАльнАЯ крАсА—

Этотъ звукъ *А* придаетъ имъ „внутренній блескъ“ и музыкальность. Также чаруетъ слухъ:

*очей очарованье*.

„Багрець и золото“, богато разцвѣтивъ осенній обнажающійся лѣсъ, точно передъ жертвоприношеніемъ торжественно и пышно убравшись, дѣйствительно служатъ *очей очарованьемъ*.

## V.

Пьесу „Осень“ интересно сопоставить съ другими пьесами того же содержанія въ русской поэзіи.

Самой близкой слѣдуетъ считать „Эклогу“ Богдановича и затѣмъ уже „Осень во время взятія Очакова“ Державина, примыкающую къ ней своимъ истиннымъ реализмомъ.

Любопытно прослѣдить общіе мотивы „Эклоги“ Богдановича, „Осени“ Державина, „Осени“ и отрывка изъ „Евгенія Онѣгина“ Пушкина, и „Осени“ Боратынскаго:

## БОГДАНОВИЧЪ.

## ДЕРЖАВИНЪ.

## ПУШКИНЪ—„Осень“.

ПУШКИНЪ—отр. изъ  
„Евг. Онѣг.“.

## БОРАТЫНСКИЙ.

Уже осенніе морозы гонятъ  
лѣто.

Спустилъ съдой Эоль  
Борея  
Съ цѣпей чугунныхъ изъ  
пещерь.  
Ужасныя крылѣ расши-  
ривъ,  
Махнулъ по свѣту бога-  
тырь.

Октябрь ужъ наступилъ...  
Дохнулъ осенній хладъ,  
дорога промерзаетъ...  
И первые морозы...

Ужъ небо осенью дышало...  
Встаеъ заря во мглѣ хо-  
лодной...

Уже морозъ бросаетъ по  
утрамъ  
Свои серебристые узоры.

И поле, зеленью приятною  
одѣто,  
Теряетъ прежній видъ,  
Теряетъ всѣ красы.

Ложился на поля туманъ...  
На нивахъ шумъ работъ  
умолкъ.

Сѣдая мгла вѣется вокругъ  
холмовъ;  
Росой затоплены равнины.

Проходятъ радости, прохо-  
дятъ тѣ часы,  
Въ который пастухи средъ  
рощей обитали.  
Уже стада ходить на па-  
ству перестали.

На утренней зарѣ пастухъ  
Не гонитъ ужъ коровъ  
изъ хлѣва,  
И въ часъ полуденный  
въ кружокъ  
Ихъ не зоветъ его ро-  
жокъ.

Умолкли птицъ живые го-  
лоса.

Не лѣтній дождь идетъ и  
не изъ прежнихъ тучъ  
Свѣтило съ высоты пуска-  
етъ слабый лучъ.

Погналъ стадами воздухъ  
синій...  
Сгустилъ туманы въ  
облака  
Давнулъ—и облака раз-  
сѣлись  
Пустился дождь и возшу-  
мѣлъ.

И рѣдкій солнца лучъ...

Ужъ рѣже солнышко бли-  
стало,  
Короче становился день.

Замедля свой восходъ,  
Сіянемъ хладнымъ солн-  
це блещетъ,  
И лучъ его въ зеркалѣ  
зыбкомъ водъ  
Невѣрнымъ золотомъ тре-  
пещетъ.

Холодный дуетъ вѣтръ, зе-  
фиръ уже не вѣетъ.

Спустилъ сѣдой Эоль  
Борея  
Съ цѣпей чугунныхъ изъ  
пещерь.

Въ ихъ сѣняхъ вѣтра  
шумъ.

Пробудится ненастливый  
Эоль  
Предъ нимъ помчится  
прахъ летучій,  
Качаяся завоетъ роща..

Летить съ деревьевъ листь,  
и вянетъ, и желтѣетъ.

Шумящи, красножелты  
листья  
Разстлались всюду по  
тропамъ.

Ужъ роща отряхаетъ  
Последніе листь съ на-  
гихъ своихъ вѣтвей.

Лѣсовъ таинственная сѣнь  
Съ печальнымъ шумомъ  
обнажалась.

Желтѣетъ сѣнь кудрявая  
дубовъ  
И красенъ круглый листь  
осины..  
Доль  
Покроетъ листь ея паду-  
чій.  
Волшебнаго шептанья  
полный лѣсъ,  
Златочешуйчатая воды!

Ловецки раздаются роги.

Сосѣдъ мой поспѣшаетъ  
Въ отъѣзжія поля съ  
охотою своей!

И выжлятъ лай и гулъ  
гремитъ.

И будить лай собакъ ус-  
нувшія дубравы.

Запасшися крестьянинъ  
хлѣбомъ,  
Ѣсть добры щи и пиво  
пить.

Припасъ оратай много  
блага;  
Отрадное тепло въ его  
избѣ,  
Хлѣбъ, соль и пѣнистая  
брага.

Уже осенніе морозы гонять лѣто,  
вяло выражено у Богдановича... Державинъ призвалъ на  
помощь миеологию, а Пушкинъ строго и просто то же самое  
выразилъ въ трехъ словахъ:

Октябрь ужъ наступилъ.

Боратынскій не ограничился мѣткимъ заявленьемъ и при-  
бавилъ новый мотивъ—серебристые узоры, брошенные инеемъ  
на поля.

И такъ вѣрны себѣ поэты во всѣхъ стихахъ приведен-  
ныхъ пьесъ.

Роднить и сближаетъ по внѣшнему признаку пьесы Богда-  
новича, Державина и Пушкина *двоекратное* повтореніе слова—  
„уже“.

У Богдановича:

Уже осенніе морозы гонять лѣто...

Уже стада ходить на паству перестали...

У Державина:

Уже румяна осень носить...

Уже стада толпятся птичьи...

У Пушкина:

Октябрь ужъ наступилъ, ужъ роща отряхаетъ...

и:

Ужъ небо осенью дышало,

Ужъ рѣже солнышко блистало...

Общаго же съ Державинскимъ отрывкомъ—восторженное  
воспѣваніе „унылой поры“ и „прозаическая“ простота“ опи-  
санія сельской природы и жизни.

Стихи Державина какъ бы предвосхищаютъ Пушкинскую  
„Осень“ и Пушкинскую простоту.

Мы знаемъ, какъ относился Пушкинъ къ творчеству Дер-  
жавина, и знаемъ, что считалъ онъ слабымъ въ немъ, но  
должны помнить, однако, что между Пушкинымъ и Держа-  
винымъ есть не мало зависимости и сходства.

Черты, заложенные въ талантѣ Державина, развились съ необыкновеннымъ величіемъ и удивительной мощью въ мудромъ и простомъ гениі Пушкіна.

VI.

Цвѣты послѣдніе милѣй  
Роскошныхъ первенцевъ полей,  
признается поэтъ.

Не стану я жалѣть о розахъ,  
Увявшихъ легкою весной;  
Мнѣ милъ и виноградъ на лозахъ.

Щедрая осень приноситъ съ собою полную кошницу „отраднаго винограда“. Просыпается время работъ, пѣсенъ и веселья тамъ, гдѣ и море и голубое небо полудня.

Уже по изобильномъ лѣтѣ  
Достигнетъ солнце, гдѣ Вѣсы  
Равняютъ день и ночь на свѣтѣ  
И слѣдомъ лѣтнія красы.  
Приспѣетъ по трудахъ отрада,  
Какъ сладостный изъ *винограда*  
Потоками прольется сокъ.

Такъ воспѣваетъ осень, время сбора винограда, гениальный Ломоносовъ.

Уже румяна осень носитьъ  
Снопъ златые на гумно,  
И роскошь *винограду* просить  
Рукою жадной на вино.

Воскликаетъ Державинъ.

А вотъ осенній мотивъ винограда на лирѣ Пушкіна:

Отрада осени златой,  
Продолговатый •и прозрачный,  
Какъ персты дѣвы молодой.

Словно Ломоносовъ и Державинъ думали, мучались, старались, какъ бы это выразить, одинъ стихомъ, котораго не „сломишь“—

(Какъ слонъ на стопы опершись.

Его не сломишь, какъ не рвись,)

по словамъ Вяземскаго, а другой хоть и легче, да не такъ отчетливо все же; а вотъ пришелъ Пушкинъ и, взявъ тотъ же мотивъ, создалъ строки, легкія и прекрасныя.

## VII.

Описаніе городской осени оставилъ Пушкинъ въ своемъ „Мѣдномъ Всадникѣ“.

Въ неокончательной редакціи начала поэмы читаемъ:

Надъ Петербургомъ омраченнымъ

Осенній вѣтеръ тучи гналъ..

Среди бѣгущихъ облаковъ

Луны совсѣмъ не видно было..

И буйный вихоръ выль уныло,

Клубя подолъ сирень ночныхъ

И заглушая часовыхъ.

„Тутъ не знаешь чему дивиться, пишетъ Бѣлинскій,—громადной ли грандіозности описанія или его почти прозаической простотѣ“.

Извѣстно, что описаніе наводненія вплоть до самой словесной обработки заимствовано Пушкинымъ изъ книги Берха. Но повѣствованіе Берха подъ перомъ геніальнаго Пушкина превратилось въ „величайшую поэзію“.

Печалень будетъ мой разсказъ,  
предупреждаетъ поэтъ.

Надъ Петербургомъ омраченнымъ...

Краски сгущаются. „Унылая пора“ омрачена бѣлыми „горами“ вздымающихся волнъ. Мощь и энергія сопутствуютъ всему описанію наводненія, выдержанному въ мрачныхъ тонахъ.

Надъ омраченнѣмъ Петроградомъ  
Дышалъ ноябрь осеннимъ хладомъ;

Ужъ было поздно и темно;  
Сердито бился дождь въ окно  
И вѣтеръ дулъ, печально воя.

Чтобъ вѣтеръ выль не такъ уныло  
И чтобы дождь въ окно стучалъ  
Не такъ сердито.

Какъ дождь ему въ лицо хлесталъ,  
Какъ вѣтеръ буйно завывая...

Такова осенняя ночь въ ужасную пору наводненія.

А вотъ описаніе ранней петербургской осени, мѣткое и типичное:

Дни лѣта

Клонились къ осени. Дышалъ  
Ненастный вѣтеръ. Мрачный валь  
Плескалъ на пристань, ропща пени  
И бясь о гладкія ступени,  
Какъ челобитчикъ у дверей.

и еще:

Мрачно было;

Дождь капалъ; вѣтеръ выль уныло—  
И съ нимъ вдали, во тмѣ ночной,  
Перекликался часовой...

Описаніе осени въ „Мѣдномъ Всадникѣ“, вмѣщающееся въ нѣсколькихъ стихахъ (26) — сравнительно съ объемомъ всего повѣствованія (464) не очень обширно.

Но мы имѣемъ характерное отраженіе осенней поры съ ночнымъ вѣтромъ, съ которымъ перекликается часовой, и въ семи словахъ петербургскую сырую осень съ мелкимъ сѣющимъ дождемъ —

Мрачно было,  
Дождь капалъ, вѣтеръ выль уныло.

Мрачный отѣнокъ повѣсти подкрѣпляется неоднократнымъ повтореніемъ слова—мрачный.

Надъ *омраченнымъ* Петроградомъ...

*Мрачный* валъ

Плескалъ на пристань.

*Мрачно* было.

### VIII.

Въ письмахъ Пушкина мы имѣемъ замѣчанія, касающіяся осени, замѣчанія короткія и точныя.

Въ письмѣ къ Княжевичу онъ опредѣляетъ не только природу Михайловскаго, но вообще русскую сѣверную природу: „здѣсь нѣтъ ни моря, ни голубова неба полудня“. „Сѣренькія тучи покрывали небо“.

Осенніе мотивы нѣсколькими чертами запечатлѣны, но больше имѣемъ общихъ замѣчаній вродѣ: „Что у насъ за погода“, <sup>1)</sup> „Погода стоитъ прекрасная“, <sup>2)</sup> „Осень чудная“<sup>3)</sup>. А вотъ и хмурится осень: „Погода у насъ портится кажется, осень наступаетъ не на шутку“, <sup>4)</sup> „У насъ очень дождикъ шумить“, <sup>5)</sup> „Къ довершенію благополучія начался дождь съ тѣмъ, конечно, чтобы не переставать до самаго саннаго пути“, <sup>6)</sup> „Погода была ужасная. Въ лужицахъ была буря. Болота волновались бѣлыми волнами“, <sup>7)</sup> „Въ деревнѣ встрѣтилъ меня первый снѣгъ и теперь дворъ передъ моимъ окошкомъ бѣлешенекъ“. <sup>8)</sup>

---

<sup>1)</sup> Переписка № 929.

<sup>2)</sup> Пер. № 742.

<sup>3)</sup> Пер. № 481.

<sup>4)</sup> Пер. № 936.

<sup>5)</sup> Пер. № 188.

<sup>6)</sup> Пер. № 477.

<sup>7)</sup> Пер. № 736.

<sup>8)</sup> Пер. № 866.



Описание природы въ письмахъ Пушкина занимають не послѣднее мѣсто. Они очень важны для изученія „простоты“ Пушкина. Мѣткое замѣчаніе изъ какого нибудь письма нерѣдко можемъ встрѣтить въ одномъ изъ его стихотвореній.

IX.

Для анализа „унылой поры“ описанія отдѣльныхъ моментовъ осени имѣють не маловажное значеніе. Такъ напр.:

Небо—*хмурое*, порой даже *грозное*, рѣдко блѣдно озаряемое днемъ солнышкомъ, а ночью всегда блѣдною призракною луною.

Ужь *небо* осенью дышало,  
Ужь *рѣже* солнышко блистало.  
Сводъ небесный *поблѣднѣлъ*.

*День* былъ осенній и *пасмурный*...  
*Сѣренькія тучи* покрывали *небо*...  
И *млой* волнистою покрыты *небеса*...  
Надъ ними *сѣрыхъ тучъ* *пустая* полоса...  
Лишь въ осень хладную *безмѣсячной* порой...

Ненастной ночи *мла*  
*По небу* стелется одеждою *свинцовой*...

Солнце — *рѣдко* показывается на *поблѣднѣвшемъ* *небо-склонѣ*.

Улетаютъ *ясны* дни.  
Ужь *рѣже* солнышко блистало.  
И *рѣдкій* солнца лучъ...

Луна — *блѣдная* и *туманная* восходитъ изъ за темной рощи.

И озаренъ луною *блѣдной*...  
Смотря въ окно на тучи, бѣгушія мимо луны...  
Какъ *привидѣніе* за рощею сосновой  
Луна *туманная* взошла.

И солнце и луна скрыты за туманомъ, мглою и облаками—

И туманъ и непогоды  
Осень поздняя несетъ.

**Туманъ** — *стелется, ложится на поля, стоитъ на нивахъ.*

Въ багровомъ облакъ, *одъяна туманомъ,*  
На камнѣ гробовомъ уныла тѣнь сидить.

*Стелется туманъ ненастный...*

*Ложился на поля туманъ...*

*Стоитъ туманъ на нивахъ пожелтѣлыхъ...*

*Лѣсъ кудрявый постыдѣлъ.*

**Дождь** — сердитый бьется, стучитъ, хлещетъ.

*Сердито бился дождь въ окно.*

И чтобы дождь въ окно *стучалъ*

Не такъ *сердито...*

Какъ дождь ему въ лицо *хлесталъ...*

*Дождь капалъ.*

**Вѣтеръ** — исключительно динамиченъ; онъ шумитъ, воетъ, свиститъ, буйно завываетъ и даже совершаетъ набѣги, холодный и ненастный.

(листья) ждуть перваго *Борея...*

Въ ихъ сѣняхъ вѣтра шумъ...

Въ деревнѣ скучно, грязь, ненастье,  
*Осенній вѣтеръ...*

Такъ *бури* осени холодной  
Въ болото обращаютъ *лугъ.*

И вѣтеръ *дулъ* печально воя...

Чтобъ вѣтеръ *вылъ* не такъ *уныло...*

Вѣтеръ *выль уныло*  
И съ нимъ вдали во тмѣ ночной  
Перекликался часовой.  
Слушая *вой* осенняго вѣтра  
*Холодный* вѣтеръ дулъ съ пожатыхъ полей...  
*Дышалъ ненастный* вѣтеръ...  
Какъ вѣтеръ *буйно завывая*...  
Въ обители *пустынныхъ вьюгъ* и хлада...  
И вѣтра *поздняю осенніе набѣги*...  
И слышится *миновенный вѣтра свистъ*...

**Холодъ**—постоянный *спутникъ осени*. Онъ дышетъ, *поражаетъ послѣдніе листья, остуживаетъ ручьи* и становится даже *стужью*.

Ужъ осень *холодомъ дохнула*...  
*Дохнулъ* осенній *хладъ*...  
*Дышалъ Ноябрь* осеннимъ *хладомъ*...  
Лишь въ *осень хладную*...  
Встаетъ заря во *млть холодной*...  
*Холодный вѣтеръ* дулъ съ пожатыхъ полей...  
Въ одно ясное, *холодное утро*...  
И волнь *осенній хладъ*...  
Ужъ осени *холодною рукою*...  
Такъ *позднимъ хладомъ пораженный*...  
*Хладенъ ручеекъ* игривый...  
Здоровью моему *полезенъ русскій холодъ*...  
Въ обители *пустынныхъ вьюгъ* и *хлада*...  
Осенней *стужи* другъ...

**Первые морозы**—*прохватываютъ землю, сребрятъ поля.*

уже земля

*Прохвачена морозомъ по утрамъ...*

и *первые морозы...*

*Сребритъ морозъ увянувшее поле...*

дорога *промерзаетъ...*

Но прудъ уже *застылъ...*

Какъ звонко подъ его блистающимъ копытомъ

Земля *промерзлая* звучитъ!

И звонко подъ его копытомъ

Земля *промерзлая* звучитъ!

Осень у Пушкина *мрачную* отгѣнка—

Попробуй сладимъ ли съ проклятою *хандрой...*

Когда вершины горъ *тягитъ* сырая *тма.*

Подъ вечеръ осенью *ненастной...*

подъ вечеръ *темной*

Осенней *бурною* порой.

пріѣду я

Въ началѣ *мрачномъ* Октября.

Ужъ было поздно и *темно...*

*Мрачный* валь

Плескалъ на пристань. *Мрачно* было...

*Ненастной* ночи мгла...

Все *мрачную* тоску на душу мнѣ наводитъ.

Пушкинская осень только мѣстами просвѣтлена, только мѣстами озарена багрецомъ и золотомъ, и багрянымъ уборомъ падающихъ листьевъ. Большею частью же она уныла и мрачна.

Мраченъ иной разъ даже

Листопадъ—

Лѣсовъ таинственная сѣнь  
Съ *печальнымъ* шумомъ обнажалась.  
И то изъ нихъ одно (деревцо)  
Дождливой осенью совсѣмъ обнажено.  
Такъ позднимъ *хладомъ пораженной*  
Какъ бури слышенъ зимній свистъ,  
Одинъ на вѣткѣ обнаженной  
*Трепещетъ* запоздалый листь.  
Уже дубрава отряхнула  
*Послѣдній* листь.

ужъ роца отряхаетъ  
*Послѣдніе* листьы съ нагихъ своихъ вѣтвей.  
*Истлѣли.*  
Какъ листьа осенью гнилой.  
Такъ бури  
обнажаютъ лѣсъ вокругъ...

*Погибшихъ* осенью *листвова.*  
Ужъ осени холодною рукою  
Главы березъ и липъ обнажены.  
Закружились бѣсы разны  
Будто листьа въ Ноябрьрѣ.  
Тамъ день и ночь кружится *мертвый* листь...

*Нарушаютъ* этотъ мрачный листопадъ—

Въ *баирецъ* и въ *золото* одѣтые лѣса...  
Роняетъ лѣсъ *баиряный* свой *уборъ.*

„Холодный вѣтеръ дуль, унося *красные и желтые листьа*  
со встрѣчныхъ деревьевъ“.

Листопадъ—необходимый спутникъ осени. Имъ она омрачена, имъ она разцвѣчена. Описанію его Пушкинъ посвятилъ много стиховъ.

Количество стиховъ строго пропорціоально даннымъ природы.

Поэтъ жалуется на то, что *солнце* рѣдко показывается осенью, и про солнце онъ говоритъ только въ *трехъ* стихахъ и *одной* строкѣ въ „Станц. смотрителѣ“.

Осеннюю ночь называетъ онъ „безмѣсячной“ и осенней *лунѣ* посвящены *четыре* стиха и *одна* строка въ „Кап. Дочкѣ“. *Дождя*, исключая „Мѣдн. Всадн.“, гдѣ ему посвящено—*пять* стиховъ, *не* находимъ въ описаніи „унылой поры“. Есть лишь указаніе:

*Дождливой* осенью совсѣмъ обнажены.

Пушкинская осень холодна и морозна. *Первымъ морозамъ* удѣлено поэтомъ *десять* стиховъ и *одна* строка въ „Бар. Крестьянкѣ“.

Поздняя осень по словамъ поэта несетъ „и туманъ, и непогоды“. И *туману* посвящено *одинадцать* стиховъ.

Поэтъ любитъ называть пору осени „хладной“ и описанію *холода* удѣлено двѣнадцать стиховъ и *по одной* строкѣ въ „Станц. Смотр.“ и въ „Бар. Крест.“.

Особой щедростью поэта ознаменованъ *вѣтеръ*, холодный и воющій, особенно часто. *Вѣтру* принадлежитъ *восемь-надцать* стиховъ и *по одной* строкѣ въ „Станц. Смотр.“, „Кап. Дочкѣ“. И наконецъ *листопадъ* занимаетъ *двадцать одинъ* стихъ и *два* строки въ „Станц. Смотр.“.

Четыре этапа осенняго дня также находимъ въ кругѣ „унылой поры“. *Блѣдное* и *холодное* встаетъ

#### Осеннее утро.

На *утренней зарѣ* пастухъ

*Не юнитъ* ужъ коровъ изъ хлѣва.

Въ одно *ясное холодное утро* изъ тѣхъ какими богата  
наша русская осень

При *блѣдномъ свѣтѣ* осеняго *утра*.

уже земля  
прохвачена *морозомъ по утрамъ*.

Съ небесъ уже скатилась ночь и тѣнь  
Взошла заря, сіяетъ *блѣдный день*.

И *блѣдный день* ужъ настаетъ.

### День

обращаетъ на себя вниманіе поэта особенно своею *крат-*  
*ковременностью* и *пасмурнымъ небомъ*.

Сіяетъ *блѣдный день*...

Ужъ *рѣже солнышко* блистало...

И *рѣдкій* солнца *лучь*...

И въ *часъ полуденный* въ кружокъ  
Ихъ *не зоветъ* его рожокъ.

День былъ осенній и *пасмурный*.

*Короче* становился *день*...

Но гаснетъ *краткій* *день*...

*Проглянетъ* день какъ будто *по неволѣ*  
И *скроется* за край *окружныхъ горъ*.

*Проглянетъ* день и *ужь темно*.

*Ненастный день* *потухъ*...

На смѣну ему встаетъ *темный* и *ненастный*

### Вечеръ.

Но какъ же любо мнѣ  
Осеннею порой, въ *вечерней тишинѣ*,  
Въ деревнѣ посѣщать *кладбище родовое*...

Встаетъ *заря во миль холодной;*  
На нивахъ шумъ работъ умолкъ;  
Съ своей волчихою голодной  
Выходить на дорогу волкъ.

но гаснетъ краткій день и въ *каминъ* забытомъ *огонь*  
опять *юрить*:

Вотъ мой каминъ—подъ *вечерь темной*  
Осенней бурною порой  
Люблю подъ сѣнію укромной  
Предъ нимъ задумчиво мечтать.  
Подъ *вечерь осенью ненастной...*

„*Однажды вечеромъ* сидѣлъ я дома, одинъ, слушая вой  
осенняго вѣтра и смотря въ окно на тучи, бѣгущія мимо  
луны.“

#### Ночь

*мрачная изрѣдка* озаряемая *призрачной луною.*

Взойдетъ ли *ночь съ осеннею луною...*

Стелется туманъ *ненастной*  
*Ночи въ дремлющей тѣни.*

Лишь въ осень хладную, *безмѣсячной порой*  
Когда вершины горъ тягчить сырая тма.

Ужъ было поздно и *темно*  
Сердито бился дождь въ окно—

*Мрачно было,*  
Дождь капалъ, вѣтеръ вылъ уныло...

И озаренъ *луною блѣдной.*

*Ненастной ночи мла*  
По небу стелется одеждою свинцовой;  
Какъ *привидѣніе*, за рощею сосновой  
*Луна туманная* взошла...



Х.

Обращаясь къ словесной обработкѣ осеннихъ мотивовъ—стиху и размѣрамъ, замѣтимъ, что больше всего употреблялъ Пушкинъ *четырёхстопный ямбъ* (13 разъ). Поэмы „Цыганы“, „Братья Разбойники“, „Графъ Нулинъ“, „Евгеній Онѣгинъ“, „Мѣдный Всадникъ“ написаны также *четырёхстопнымъ ямбомъ*.

Затѣмъ идетъ *шестистопный ямбъ* (7 разъ).

„Осень“ написана *октавами*. Вспомнимъ заявленіе:

Четырёхстопный ямбъ мнѣ надоѣлъ.

Затѣмъ уже *пятистопный ямбъ* съ постоянной у Пушкина *цезурой* послѣ второй стопы (3 раза).

И *хорей* (3 раза).

Рифмы въ этихъ пьесахъ различныя—и богатыя, и бѣдныя, и даже глагольныя, и отвѣчаютъ часто словамъ поэта:

Не стану ихъ надменно браковать...

А подбирать союзы да нарѣчья;

Изъ мелкой сволочи вербую рать.

Мнѣ рифмы нужны; всѣ готовъ сберечь я.

Достаточно указать, что въ 200 стихахъ—36 глагольныхъ рифмъ.

Что касается поэтического языка, то можно указать, конечно, на то, что многочисленныя поправки свидѣтельствуютъ о совершенствованіи Пушкина.

Напримѣръ, усѣченныя прилагательныя уменьшаются и совсѣмъ исчезаютъ.

Въ отрывкѣ 14-го года имѣемъ два усѣченныя прилагательныхъ, въ 16-мъ году—три усѣченныя прилагательныхъ въ одномъ отрывкѣ въ 8 стиховъ. И затѣмъ уже—только одинъ разъ въ стихѣ 30-го года.

Формы церковно-книжныя стоятъ рядомъ съ русскими полногласными. *Хладный, хладъ*, часто даже въ одной и той же пьесѣ стоятъ на ряду съ *холодный, холодъ*.

Укажемъ: „гласъ уединенный“, „главы березъ“, „отрада осени золотой“ (хотя имѣется и „Настала осень золотая“), „сребрить морозъ“, „чредой слетаетъ сонъ“ и т. д.

Есть стихи неясные вслѣдствіе дальней разстановки словъ.

Напримѣръ:

Ночи въ дремлющей тѣни

или:

Пустыхъ долинъ откликнулся вдали.

Затѣмъ можно указать еще неясность въ пьесѣ „Осеннее утро“:

Ужъ осени холодною рукою  
Главы березъ и липъ обнажены,  
Она шумить въ дубравахъ опустѣлыхъ.

Затѣмъ въ пьесѣ „Осень“ находимъ:

ужъ роща отряхаетъ  
Послѣдніе дисты съ нагихъ своихъ вѣтвей.

Здѣсь укажемъ на невозможность что-либо отряхнуть съ нагихъ вѣтвей.

Въ пьесѣ „Румяный критикъ мой“ имѣемъ стихъ:

Чтобъ лужу засорить ждуть перваго Борея.

Борей тутъ неприятно звучитъ, тѣмъ болѣе, если вспомнимъ, что вся пьеса написана „простонародными“ выраженіями.

Укажемъ на красивую особенность употребленія прилагательнаго вмѣсто нарѣчія.

Напримѣръ:

И *рѣдкій* солнца лучъ.

Или:

И слышится *миновенный* вѣтра свистъ.

Затѣмъ близкіе стихи:

И звонко подъ его блистающимъ копытомъ  
Звенить промерзлый ледъ,

читаемъ въ пьесѣ „Осень“, а въ пьесѣ „Какъ быстро въ  
полѣ вдругъ открытомъ“:

Какъ звонко подъ его копытомъ  
Земля промерзлая звучить.

Затѣмъ:

Ужъ роща отрягаетъ  
Послѣдніе листы съ нагихъ своихъ вѣтвей.

И

Уже дубрава отряхнула  
Послѣдній листъ.

Затѣмъ въ пьесѣ 15-го года:

Люблю предъ нимъ задумчиво мечтать,  
Вольтера, Виланда читать.

А въ „Осени“ 30-го года:

А я предъ нимъ читаю,  
Иль думы долгія въ душѣ моей питаю.

Въ 15-мъ году:

Или въ минуту вдохновенья  
Небрежно стансы намарать.

А въ 30-мъ году:

Я сладко усыпленъ моимъ воображеньемъ.  
И пробуждается Поэзія во мнѣ.

И наконецъ, отмѣтимъ особенную черту Пушкинской  
осени—ея *дыханіе*.

*Дышетъ осень, небо, хладъ, вѣтеръ, сѣверъ, ноябрь.*

*Ужъ осень холодомъ дохнула.*

*Онъ осматривалъ яблони, обнаженныя дыханіемъ осени.*

*Въ ихъ сѣняхъ вѣтра шумъ и свѣжее дыханье.*

Вотъ *сверь*, тучи нагоня,  
Дохнулъ, завывль.  
Дохнулъ *осенній хладъ*.  
Ужь *небо осенью дышало*.  
Дышалъ *ненастный вѣтеръ*.  
Дышалъ *ноябрь* осеннимъ хладомъ.

## XI.

Характеренъ часто встрѣчаемый у Пушкина стилистическій методъ, который выражается въ *расчленяемости* общаго положенія въ болѣе *узкія* и *опредѣленныя*.

И пробуждается Поэзія во мнѣ:  
Душа стѣсняется лирическимъ волненьемъ,  
Трепещеть, и звучить и ищетъ, какъ во снѣ,  
Излиться наконецъ свободнымъ проявленьемъ—  
И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей,  
Знакомцы давніе, плоды мечты моей.  
И мысли въ головѣ волнуются въ отвагѣ,  
И риѣмы легкія навстрѣчу имъ бѣгутъ,  
И пальцы просятъ къ перу, перо къ бумагѣ  
Минута—и стихи свободно потекутъ.

Въ первой строкѣ мы имѣемъ общее положеніе:

И пробуждается Поэзія во мнѣ.

Вторая строка суживаетъ понятіе, а затѣмъ уже звено за звеномъ мысли становятся яснѣе и опредѣленнѣе.

Словно въ большемъ кольцѣ рядъ постепенно уменьшающихся колецъ и такъ, до послѣдняго завершительнаго и самаго значительнаго стиха:

Минута—и стихи свободно потекутъ,  
который возвращается къ первому стиху:

И пробуждается Поэзія во мнѣ.

Расчленяя постепенно отрывокъ, получимъ:

поэзія—лирическое волненье

лирическое волненье—свободное проявленье  
свободное проявленье—незримый рой гостей  
незримый рой гостей—плоды мечты  
плоды мечты—волнующіяся мысли  
волнующіяся мысли—легкія рифмы  
легкія рифмы—пальцы  
пальцы—перо  
перо—бумага  
бумага—минута  
минута—стихи.

Такъ одно изъ другого вытекаетъ каждое слово и возвращается къ своему началу, образуя кольцо: поэзія—стихи.

Кромѣ этого какая точность въ стихѣ:

И пальцы просятъ къ перу, перо къ бумагѣ.

У Тургенева въ одномъ романѣ есть примѣръ такой-же удивительной точности—про одно изъ дѣйствующихъ лицъ говорится: она держала письмо въ пальцахъ.

Та-же постепенность въ первой октавѣ пьесы „Осень“.

Сначала слѣдуетъ опять общее положеніе:

Октябрь ужъ наступилъ.

Затѣмъ идетъ расчлененіе:

*Октябрь ужъ наступилъ*—роща отряхаетъ  
отряхаетъ—послѣдніе листы  
листья— съ нагихъ вѣтвей  
нагія вѣтви--дохнулъ осенній хладъ  
хладъ—дорога промерзаетъ  
дорога промерзаетъ—но еще бѣжитъ ручей за мельницу  
ручей еще бѣжитъ—но прудъ уже застылъ  
прудъ застылъ—сосѣдъ поспѣшаетъ въ поля  
въ поля—съ охотою  
съ охотою—страждутъ озими  
страждутъ—отъ бѣшенной забавы  
забава—лай собакъ

лай собакъ—будить уснувшія дубравы  
уснувшія дубравы—потому что *октябрьъ ужъ наступилъ*.

Опять послѣднія слова возвратились къ начальнымъ, образовавъ кольцо. Отъ общаго положенія, расчлениаясь и приходя къ частному выводу, которому объясненіе—въ общемъ положеніи.

Возьмемъ отрывокъ изъ „Евгенія Онѣгина“ и замѣтимъ, какъ постепенно отъ общей мысли поэтъ приходитъ къ частной:

Ужъ небо осенью дышало,  
Ужъ рѣже солнышко блистало,  
Короче становился день,  
Лѣсовъ таинственная сѣнь  
Съ печальнымъ шумомъ обнажалась  
Ложился на поля туманъ,  
Гусей прикличьихъ караванъ  
Тянулся къ югу.

Вспомнимъ кстати четыре стиха изъ пьесы „Осень“ Карамзина:

Поздніе гуси станицей  
Къ югу стремятся,  
Плавнымъ полетомъ несяся  
Въ горнихъ предѣлахъ.

Такъ отъ общаго: „ужъ небо осенью дышало“ мы доходимъ до типичнаго элемента осенняго пейзажа — цѣпи тянувшихся на югъ гусей, того характернаго, что можно увидать въ пасмурный, осенній день „съ сѣренькими тучами“ въ позднюю осень.

## ХІІ.

Достоинства, отличающія Пушкина, Гоголь полагають „въ чрезвычайной быстротѣ описанія и въ необыкновенномъ искусствѣ немногими чертами означить весь предметъ. Его эпитеты такъ *отчетисты* и смѣлы, что иногда одинъ замѣняетъ цѣлое описаніе“.

„Въ каждомъ словѣ бездна пространства, каждое слово необъятно, какъ поэтъ“.

Гоголь указалъ самую сущность эпитета въ опредѣленіи „отчетистъ“. Если эпитетъ расплывчатъ, то онъ уже теряетъ всю свою остроту, весь свой „внутренній блескъ“.

Характеръ эпитета опредѣляетъ часто самаго поэта.

Образъ и эпитетъ два инструмента для поэта.

Изученіе эпитета очень важно при опредѣленіи творчества поэта. По сравненію съ другими поэтами эпитетовъ къ осени у Пушкина много.

*Кантемиръ*—знаетъ дождливую осень.

Что *мокра* осень слѣдуетъ лѣту.

Въ другой пьесѣ:

И въ осень *мокру* дадутъ отраду  
и пріюту.

Эпитетъ *мокра* повторяется у него два раза. Стало быть онъ особенностью осени считалъ ея дождливость.

*Третьяковскій* не далъ никакого эпитета. Осень у него богата плодами:

Въ осень многій плодъ созрѣетъ  
Или:  
Осень, какъ плодомъ обогатится  
Много яблокъ, грушъ и много сливъ.

У *Ломоносова* тоже не находимъ эпитета, хотя у него есть даже пьеса подъ названіемъ „Осень“.

*Карамзинъ* даетъ эпитетъ: *блѣдная* въ пьесѣ подъ названіемъ „Осень“.

Странникъ, стоящій на холмѣ,  
Взоромъ унылымъ  
Смотритъ на *блѣдную* осень,  
Темно вздыхая.

*Державинъ* даетъ эпитетъ—*румяна* въ упомянутой уже пьесѣ.

*Востоковъ* говорить про осень:

Какъ *даровитая* осень, въ вѣнцѣ изъ колосьевъ.

Затѣмъ:

Образъ изтлѣнья, *скучную* осень

Здѣсь оставляетъ мой духъ

И:

Въ осень *сырую*, въ зиму сурову

У *Языкова* осень—*унылая*

У *Вяземскаго* въ четырехъ стихахъ, очень близкихъ къ заключительнымъ стихамъ пьесы Пушкина: „Я пережилъ свои желанья“ находимъ такой-же эпитетъ, какъ у *Языкова*:

День каждый падаетъ за мною,

Какъ близкихъ бурь послыша свистъ,

*Унылой* осени порою

Валится съ дуба мертвый листъ.

У *Лермонтова* осень *сырая*, такъ-же какъ у *Востокова*.

У *Пушкина* же осень:

златая,

золотая,

дождливая,

гнилая,

хладная,

холодная,

ненастная,

чудная (въ письмѣ)

и два раза поздняя.

Изъ девяти этихъ прилагательныхъ къ слову осень имѣемъ пять эпитетовъ, изъ которыхъ златая и холодная по два раза.

Стало быть эпитеты слѣдующіе:

1) златая, золотая,

2) хладная, холодная,

3) дождливая,

4) гнилая

5) ненастная



Количество и характеръ эпитетовъ опять-таки пропорціональны общему характеру „унылой поры“. Тутъ двѣ категоріи эпитетовъ — для *свѣтлой* осени и для *мрачной*. Для „багреца и золота“ — два эпитета, для „унылой поры“ — пять.

И характеръ осеннихъ мотивовъ, пропѣтыхъ Пушкинымъ, также характеризуются этими преобладающими эпитетами:

дождливая  
гнилая  
холодная  
и даже ненастная.

*Съренькія тучи* обложили не полуденное небо, *мертвый листъ* цѣлый день носится, схваченный воющимъ вѣтромъ, а *туманъ и ненастье* подавили *багрець и золото*, которые сквозь и *туманъ и непогоды* иной разъ ярко вспыхнуть въ цѣпи осеннихъ дней, какъ вспыхнули въ творчествѣ Пушкина.

### XIII.

Описаніе природы и въ частности осени, любовь къ ней и изученіе ея — могли имѣть два источника.

Одинъ — чисто литературный.

Мы знаемъ, что и сентиментальное и романтическое направленія рекомендовали воспѣвать природу. Новое безыскусственное описаніе природы уже установилось на Западѣ. Поэты охотно воспѣвали „унылую пору“ просто и безхитростно.

Конечно, литературныя вліянія сказались и на Пушкинѣ, но сказались они лишь въ самомъ литературномъ направленіи.

Другой источникъ — даетъ сама жизнь, внушаетъ сама природа; и любовь къ природѣ была у Пушкина. Источникъ для воспѣванія осени, конечно — жизнь и природа, окружавшія поэта. Имѣющіяся чуть-ли не въ каждомъ письмѣ замѣчанія о природѣ свидѣтельствуютъ о томъ, какъ близко

къ природѣ жилъ поэтъ, и какъ онъ умѣлъ смотрѣть на нее и замѣчать ее.

Есть *два* отношенія къ природѣ и *два* способа изображенія ея.

Художникъ смотритъ на природу, видитъ ее, отражаетъ въ своемъ творчествѣ. Таковы Гете и Пушкинъ.

Другой художникъ не смотритъ на природу, но видитъ ее и видитъ преобразенную.

Постигаетъ самую сущность стихій и даетъ ключъ къ распознаванію ея.

Инымъ достался отъ природы  
Инстинктъ пророчески слѣпой  
Они имъ чуютъ, слышать воды  
И въ темной глубинѣ земной.

Таковъ Тютчевъ.

Одинъ смотритъ на природу и видитъ ее, другой понимаетъ ее.

Одинъ умѣетъ смотрѣть и мудро-просто отражаетъ ее. Таковъ классицизмъ.

Такъ видѣли природу Гомеръ, Гете, Пушкинъ.

Но углубляясь можно услышать голосъ стихій. Его слышали Тютчевъ и Лермонтовъ.

Но слышалъ и Пушкинъ.

Я пѣлъ бы въ пламенномъ бреду,  
Я забывался бы въ чаду  
Нестройныхъ, чудныхъ грезъ.

По глубинѣ и прозрѣнію, по постиженію голоса стихій эта пьеса близко подходитъ къ Тютчевскому:

О чемъ ты воешь, вѣтръ ночной..

„Нестройныя грезы“ заставляютъ душу человѣка откликаться на „странный голосъ“, который, поетъ „про древній хаосъ, про родимой“.

Такъ гений Пушкина соприкоснулся съ прозорливымъ Тютчевымъ.

Но, конечно, не первобытную природу стихій, не природу бурь и урагановъ, „подъ которыми хаосъ шевелится“, отразило мудрое зеркало „первой любви сердца Россіи“.

*А. А. Татамшевъ.*

Стихотвореній, стиховъ, отрывковъ изъ поэмъ и прозы, черновыхъ набросковъ, касающихся осени, имѣется у Пушкина не мало:

Къ 1814 году относится — шесть стиховъ пьесы „Осгаръ“, въ которыхъ имѣемъ описаніе осенней „безмѣсячной“ ночи и одинъ стихъ пьесы „Романсъ“, гдѣ находимъ эпитетъ осени „ненастная“.

Къ 1815 году—семь стиховъ „Посланія къ Ю.“, воспѣвающихъ каминъ „подъ вечеръ темной“.

Къ 1816 году—одинъ стихъ изъ пьесы „Уныніе“, пьеса „Осеннее утро“ и восемь стиховъ изъ пьесы „Къ Наташѣ“.

Къ 1819 году одинъ стихъ изъ „Посланія Энгельгардту“ и одинъ стихъ изъ пьесы „Домовому“.

Къ 1820 году—пьеса „Виноградъ“.

Къ 1821 году—четыре стиха пьесы „Я пережилъ свои желанья“.

Къ 1822 году—два стиха изъ „Братьевъ разбойниковъ“.

Къ 1824 году—пять стиховъ пьесы „Ненастный день потухъ“, и два стиха изъ „Цыганъ“.

Къ 1825 году—два стиха пьесы „Послѣдніе цвѣты“, десять стиховъ пьесы „19-ое октября“ и девять стиховъ изъ „Графа Нулина“.

Къ 1824—1826 гг.—21 стихъ изъ „Евг. Онѣг.“.

Къ 1826 году—два стиха изъ „Евг. Онѣг.“.

Къ 1827 году—одинъ стихъ изъ „Евг. Онѣг.“.

Къ 1828 году—шесть стиховъ изъ „Евг. Онѣг.“.

Къ 1830 году—одинъ стихъ пьесы „Бѣсы“, пьеса „Румяный критикъ мой“, пьеса „Осень“, „Ужъ осень холодомъ дохнула“, „Какъ быстро въ полѣ вдругъ открытомъ“, четыре стиха изъ „Евг. Онѣг.“, затѣмъ строки изъ „Станц. смотрит.“, „Барышни-крестьян.“, „Исторіи села Горюхина“.

Къ 1832—1833 гг.—строки изъ „Дубровскаго“, стихи изъ „Мѣднаго всадника“, два отрывка изъ „Попытки вернуться къ Евг. Онѣг.“.

Къ 1834—1836 гг.—строки изъ „Капитанской дочки“.

Къ 1836 году—шесть стиховъ пьесы „Когда за городомъ задумчивъ я брожу“.

## Пушкинъ и французская юмористическая поэзія XVIII вѣка.

*(Рефератъ, читанный въ Пушкинскомъ семинаріи Петроградскаго университета, 28 марта 1913 года).*

Стендаль въ 1831 году писалъ: „Русскіе копируютъ французскіе нравы, но всегда съ опозданіемъ лѣтъ на пятьдесятъ. Нынѣ они переживаютъ вѣкъ Людовика XV“. Это замѣчаніе, сдѣланное острымъ аналитикомъ-психологомъ, быть-можетъ, отличается излишней прямолинейностью, но въ ту эпоху, когда Стендаль его произнесъ, т. е. въ эпоху Пушкина, оно имѣло значительную долю сходства съ истиной. Если нельзя огульно назвать русскихъ той эпохи просто имитаторами французовъ, то все же надо признать, что росли они въ средѣ, гдѣ все французское считалось образцовымъ. Въ области литературы это обстояло также, какъ и въ области нравовъ. Возьмемъ какой-нибудь конкретный примѣръ. Въ 1828-мъ году, то есть, въ интересующую насъ эпоху, Михаилъ Яковлевъ (одинъ изъ лицейскихъ товарищей Пушкина) издалъ *„Опытъ русской анѳологіи или избранныя Эпиграммы, Мадригалы, Эпитафіи, Надписи, Аполли и нѣкоторыя другія мелкія стихотворенія“* <sup>1)</sup>. Книга такая должна была явиться до нѣкоторой степени отпечаткомъ литературной фізіономіи вѣка. И что-же, на первой же

---

<sup>1)</sup> Въ этой книгѣ, между прочимъ, впервые появилась эпиграмма Пушкина «Русскому Геснеру» («Сочиненія Пушкина» подъ ред. П. О. Морозова — 1903 года, т. I, стр. 637).

страницъ сообщается, что книга издана въ подражаніе Французской Антологіи 1816 года; ея французской формѣ соотвѣтствуетъ такое же содержаніе. Не будемъ упирать на чисто французскій духъ <sup>9</sup>/<sub>10</sub> этой книги, но обратимъ вниманіе на то, что изъ 456 стихотвореній, напечатанныхъ тамъ,—не менѣе 80-ти—переводы съ французскаго. Я говорю не менѣе 80-ти потому, что авторы не всегда сообщаютъ о своихъ заимствованіяхъ, и розыскать всѣ оригиналы довольно трудно; и рядомъ съ этими 80-ю переводами съ французскаго имѣется лишь 5 переводовъ съ нѣмецкаго и 4—съ англійскаго. Ясно, что французское вліяніе было подавляющимъ. Если мы просмотримъ оригиналы, съ коихъ имѣются въ этой „Анеологіи“ переводы, то мы должны будемъ нѣсколько исправить заявленіе Стендаля, а именно, вмѣсто Людовика XV—поставить Людовика XVI, ибо большинство переведенныхъ стихотвореній относится къ послѣдней четверти XVIII вѣка. И это тѣмъ болѣе интересно, что указанная эпоха именами не блещетъ: кому извѣстны разные Dougneau, Hofmann, Neufchâteau, Théveneau, Malevaut, Guichard. Развѣ, что послѣднее имя нѣсколько знакомо и то лишь потому, что Пушкинъ, издѣваясь надъ Дмитріевымъ <sup>1)</sup>, заявлялъ, что этотъ лирикъ ничего кромѣ эпиграммъ, переведенныхъ изъ Гишара, предъявить на званіе классика не можетъ. Это показываетъ, что Франція вліяла на русскую литературу не въ лицѣ блестящихъ своихъ представителей, не чрезъ выдающіяся произведенія, а, напротивъ, даже самые низы французской литературы тщательно усваивались у насъ въ Россіи. Самъ Пушкинъ выступилъ какъ откровенный подражатель французской поэзіи. Уже къ воспитанію его, не говоря о домашнемъ, даже къ лицейскому, примѣшалось стремленіе подражать французамъ. Такъ, Илличевскій, перечисляя литературныхъ учителей, чтимыхъ въ лицейской средѣ, и отводя для при-

<sup>1)</sup> «Письма Пушкина», 1824 года, князю Вяземскому, Одесса, 1—2 апрѣля; соч. Пушкина подъ ред. П. О. Морозова, т. 8, стр. 62.

личія первое мѣсто русскимъ, говорить: „Не худо иногда воскрешать пѣвцовъ иноземныхъ (у нихъ учились предки наши), бесѣдовать съ умами *Расина, Вольтера, Делюля* и, заимствуя отъ нихъ красоты неподражаемыя, переносить ихъ въ свои стихотворенія“<sup>1)</sup>. Какъ видите, подъ „пѣвцами иноземными“ здѣсь разумѣются только французскіе писатели и, что важно, чтимые въ концѣ XVIII вѣка. Расинъ, превозносимый въ ущербъ Корнелю, Вольтеръ—универсальный гений, и мелочно-блестящій, дидактическій поэтъ Делюль,—подборъ именъ чрезвычайно характеренъ для эпохи. Сочетаніе это настолько необходимо, несмотря на всю разность дарованій этихъ поэтовъ и ихъ хронологическую несовѣстимость, что, значительно позже, въ 1829 году Пушкинъ въ своемъ „Домикѣ въ Коломнѣ“ буквально его воспроизводитъ:

И ты, Расинъ, безсмертный подражатель,  
Пѣвецъ влюбленныхъ женщинъ и царей!  
И ты, Вольтеръ, философъ и ругатель,  
И ты, Делюль, парнасскій муравей...

Подъ этими вліяніями Пушкинъ росъ и долго не забывалъ ихъ. По мѣрѣ же того, какъ его талантъ крѣпъ, естественно эта подражательная ученическая струя въ его творествѣ изсыкала, но для французскаго вліянія столько было путей и помимо чистой подражательности. И Пушкинъ, называя себя, въ письмѣ къ брату<sup>2)</sup> (1825 года — въ пол. февраля), „министромъ иностранныхъ дѣлъ“ на русскомъ Парнасѣ, въ сущности, лишь признавалъ надъ собою власть иностранныхъ традицій. Французское вліяніе въ Россіи отличалось отъ иныхъ иностранныхъ вліяній тѣмъ, что Германія или Англія создавали въ Россіи лишь опредѣленные идейныя увлеченія, какимъ былъ байронизмъ, въ то время какъ все французское

<sup>1)</sup> Пушкинъ подъ ред. проф. Венгерова; томъ I, стр. 418.

<sup>2)</sup> Сочин. Пушкина, подъ ред. Морозова; томъ 8, стр. 93.

было насущнымъ хлѣбомъ пушкинскихъ современниковъ, воздухомъ, которымъ они дышали. Вліяніе иныхъ странъ всегда носило характеръ новаторства, даже литературнаго бунтарства. Французское—вошло въ обиходъ, стало такимъ естественнымъ, что считалось чуть ли не за свое, родное. Изъ иныхъ странъ брались *идеи*, изъ Франціи—*традиціи*.

Исходя изъ такого взгляда было бы интересно разсмотрѣть русскую литературу Пушкинской эпохи, какъ наслѣдницу французскихъ традицій XVIII вѣка, по крайней мѣрѣ прослѣдить какое-либо теченіе этой французской поэзіи и посмотреть, какъ оно акклиматизировалось въ Россіи. Сейчасъ мы не задаемся подобными задачами. Мы остановимся на одномъ только Пушкинѣ. Какое теченіе французской литературы естественнѣе всего сопоставить съ именемъ Пушкина?

Въ то время, когда вліяніе французской литературы на Пушкина было всего сильнѣе, муза Пушкина „какъ вакханочка рѣзвилась“, тогда Баратынскій говорилъ о немъ:

...Пушкинъ молодой, сей вѣтренникъ блестящій  
Все подъ перомъ своимъ шутя животворящій.  
(Богдановичу—1827 г.)<sup>1)</sup>

Тогда всѣхъ ослѣпляли искры Пушкинской шутки, въ немъ видѣли сатирика и даже укоризненно отговаривали его отъ этой шутливости. Поэтому, не естественно ли будетъ сблизить именно шутку Пушкина съ его французскими предшественниками, не любопытно ли будетъ прослѣдить, какъ французская юмористика подготовила ему путь. Но даже при такомъ ограниченіи предмета намъ придется еще болѣе сузить наше изложеніе. Абсолютно невозможно охватить и выпукло представить весь ходъ юмористической мысли французовъ XVIII вѣка и затѣмъ указать на тѣ нити, которыя

---

<sup>1)</sup> Сочиненія Баратынскаго, подъ ред. Божерянова, т. I, стр. 71.

связываютъ различныя фазы французской юмористики съ шуткой Пушкина. Намъ придется излагать предметъ эпизодически, выбрать изъ отношенія Пушкина къ французской литературѣ нѣсколько моментовъ, быть-можетъ, случайныхъ, такъ какъ выборъ всегда дѣло вкуса.

---

Единственнымъ признаннымъ наслѣдіемъ въ области чистой лирики, оставленнымъ восемнадцатому вѣку эпохой Людовика XIV — была сатира Буало. Буало, въ сущности, очень серьезный поэтъ, какъ ни трудился надъ созданіемъ „большой поэзіи“, — ничего, кромѣ правилъ, изложенныхъ въ его диллетанскомъ *Art poétique* не оставилъ. Вся его дѣятельность свелась къ тому, что онъ, дискредитировавъ въ глазахъ придворнаго и парижскаго общества лирическую поэзію начала царствованія Людовика, дискредитировавъ такъ же и независимый юморъ *Saint-Amant'a*, *D'Assoucy*, *Scarron'a*, самъ, кромѣ сатирической поэзіи, да грубоватой юмористической поэмы, — ничего не далъ и никого не поддержалъ. Но гигантскій авторитетъ Буало окружилъ его имя исключительностью. Буало былъ законодателемъ, онъ предназначталъ путь новымъ поэтамъ, которымъ досталась трудная задача — заполнить брешь, пробитую въ поэзіи этимъ законодателемъ. Поэзія иныхъ тенденцій, чѣмъ „депреева піитика“, т. е. чѣмъ поэзія разсудочности, на первыхъ порахъ если и не окончательно отрицалась современниками, то и не имѣла для нихъ разительной силы и никѣмъ не провозглашалась, какъ „большая поэзія“ — „*grande poésie*“, о которой французы мечтаютъ и въ наше время. Я не говорю, понятно, о театрѣ, гдѣ имена Мольера и Расина казались для XVIII вѣка исчерпывающими. Въ лирикѣ признанія могъ добиться лишь тотъ, кто шелъ, хотя бы внѣшне, по стопамъ Буало. И таковой поэтъ нашелся. Это былъ Жанъ Батистъ Руссо. Напомнимъ, что Буало, собственно, явился лишь продолжателемъ Малерба.



Малербъ и былъ бы идеаломъ, ибо его оды удовлетворяли понятію о „большой“ поэзіи, если бы онъ не устарѣлъ для новаго вѣка. Вѣкъ желалъ новаго Малерба, и Жанъ Батистъ Руссо своими одами, жанромъ, на который тщетно покушался самъ учитель Буало,—шелъ навстрѣчу успѣху. Какъ истинный ученикъ Буало, а также и по условіямъ своей личной жизни (къ которымъ мы вернемся позже), онъ былъ кромѣ того сатирикомъ и сталъ однимъ изъ крупнѣйшихъ *эпиграмматистовъ* эпохи. Но любопытно, что въ своихъ эпиграммахъ онъ бралъ примѣръ не съ Буало и не съ Малерба, которые оставили довольно жалкіе образцы въ этомъ жанрѣ,—а съ поэта первой половины XVI вѣка, съ Маро. Руссо воскресилъ „*маротическій стиль*“, котораго придерживался въ большинствѣ эпиграммъ, слегка дѣланно-архаическихъ, иногда притворно-наивныхъ, искусственно-добродушныхъ. Впрочемъ и здѣсь Руссо слѣдоваль совѣту Буало, который сказалъ въ своемъ „*Art Poétique*“:

Imitons de Marot l'élégant badinage.

И качественно и количественно значеніе эпиграммъ Руссо велико. Въ сатирической поэзіи XVIII вѣка онѣ составляютъ эпоху, выдѣляясь среди множества эпиграммъ, которыми изобилуетъ начало XVIII вѣка. Вообще этому жанру посчастливилось: книга эпиграммъ Сепесэ, появившаяся въ 1717 г., эпиграммы, собранныя въ „*Recueil d'Épigammes*“ Врузен де ла Мартиніере (1720 г.), способствовали распространенію и развитію этого жанра. Въ началѣ XVIII вѣка,—въ этихъ сборникахъ и у Руссо—эпиграмма еще сохранила кое что отъ своей древней обобщающей формы—изрѣченія, но она явно уже сужала свою компетенцію сатирическими и даже лично-сатирическими задачами.

Достигнувъ сравнительнаго совершенства, эпиграмма стала обычнымъ литературнымъ оружіемъ XVIII вѣкъ—не вѣкъ литературныхъ сатиръ въ духѣ Буало. Нѣсколько короткихъ

сатиры Вольтера, да одиночныя выступленія, вродѣ малоудачныхъ, несмотря на сильную поддержку реакціонныхъ литературныхъ круговъ, сатиры Жильбера—не могутъ показаться даже исключеніемъ. Въ сущности, единственнымъ, чисто-литературнымъ средствомъ борьбы, если не говорить о средствахъ Фрерона и Комп., заимствованныхъ у нихъ позже нашимъ Булгаринымъ,—была эпиграмма. Въ этой сферѣ отличался универсальный Вольтеръ, современники считали виртуозомъ Пирона, эпиграммы котораго нынѣ кажутся чрезвычайно прѣсными и оправдывающими сужденіе о немъ Пушкина: „Пиронъ, кромѣ своей „Метрики“ (Пушкинъ хотѣлъ сказать „Метроманіи“) хорошъ только въ такихъ стихахъ, о которыхъ невозможно намекнуть, не оскорбляя благопристойности“ (Е. О. прим. ко II гл.)<sup>1)</sup>. Но виртуозомъ эпиграммы, уже въ концѣ XVIII вѣка, былъ несомнѣнно *Ecouchard Lebrun*, котораго можно, во многихъ отношеніяхъ, поставить рядомъ съ Ж. Б. Руссо. Онъ также писалъ оды, нынѣ почти забытыя, писалъ и элегіи, которыя, какъ мы увидимъ, опять таки Руссо реабилитировалъ въ глазахъ строгаго общества, но блисталъ только въ эпиграммахъ. Эпиграммы Лебрена не стилизація Руссо: онъ въ нихъ гораздо свободнѣе, естественнѣе, злѣе. Руссо въ своихъ эпиграммахъ всегда излагалъ, повѣствовалъ; Лебрень часто убиваетъ однимъ словомъ. Многія эпиграммы Лебрена *chefs d'oeuvre* краткости. Въ качествѣ образцовыхъ онѣ переводились на русскій языкъ Дмитріевымъ и др. и до нынѣ въ этихъ переводахъ фигурируютъ во всѣхъ хрестоматіяхъ, такъ напр. извѣстная эпиграмма „Я разорился отъ воровъ“, которую, кромѣ Дмитріева, пе-

<sup>1)</sup> Соч. П. подъ р. Морозова, томъ 4, стр. 305. Впрочемъ въ юности Пушкинъ не избѣжалъ вліянія Пирона. Его эпиграмма «Покойникъ Клитъ»... (1815 г.) навѣяна эпиграммой Пирона «*Damon pleure sur ses ouvrages*», гдѣ, говоря о какомъ то поэтѣ (вѣроятно Грессе), оплакивающимъ свои юныя произведенія, онъ заключаетъ:

Dieu veuille oublier ses péchés,  
Comme en ce monde on les oublie.

реводили также Измайловъ и Илличевскій. Лебрень сказалъ послѣднее слово въ эпиграмматическомъ жанрѣ. Онъ заключилъ XVIII вѣкъ, а съ вѣкомъ, въ сущности, умерла и эпиграмма. Какъ особый родъ литературы, она отсутствуетъ въ солидномъ XIX вѣкѣ, гдѣ ее замѣнило иное оружіе литературной борьбы—памфлетъ, публицистика, критика.

---

Въ тѣ же годы, когда Руссо писалъ свои кантаты, оды и эпиграммы, мирно доживалъ свой вѣкъ аббатъ Шолье. Его поэзія, недостаточно строгая съ точки зрѣнія Буало, не могла получить официальнаго признанія, да и по существу качества ея не были достаточно высоки. Но надо замѣтить, что официально признавая только Буало, свѣтское общество втайнѣ ему не сочувствовало и, такъ сказать, контрабандой прислушивалось и покровительствовало инымъ тонамъ въ поэзіи. Быть можетъ и Руссо имѣлъ успѣхъ лишь потому, что, внѣшне подчинившись традиціонной формѣ, установленной Буало, косвенно воскресилъ жанръ Маро. Великій вѣкъ Людовика XIV прошелъ, и общество, съ притворной похвалой на устахъ, принялось усердно хоронить покойника. Для общества нужна была скрытая реакція; въ нравахъ она была даже явной. Развращенная эпоха Регентства, распущенность котораго такъ оттолкнула Петра I, была противовѣсомъ ханжеству г-жи Ментенонъ. Но если французское общество легко мѣняло нравы, то въ литературѣ оно было, хотя бы внѣшне, консервативно, что особенно усугублялось существованіемъ такой официальной хранильницы традицій, какъ Академія. Открытые протесты противъ Буало мы встрѣтимъ лишь въ концѣ XVIII вѣка,—въ произведеніяхъ энциклопедистовъ, напр. Мармонтеля. Вольтеръ также допускалъ скептическое отношеніе къ авторитету этого классика, но не столь явное. Официально же традиции Буало, понятно, царили въ литературѣ, что, повторяю, было нѣкото-

рымъ лицемѣремъ, чѣмъ и можно объяснить благосклонное отношеніе къ Шолье, представителю противо-депреевскихъ теченій. Этотъ эпикуреецъ не занялъ бы особаго мѣста въ нашемъ обзорѣ юмористической поэзіи XVIII вѣка, если бы онъ своимъ снисходительнымъ отношеніемъ къ человечеству, своей проповѣдью добродушной развращенности не подготовилъ дорогу расцвѣту безпечной поэзіи, болтовнѣ, „badinage“ у, утвердившейся подъ именемъ „анакреонтизма“ и опредѣлившей характеръ юмористической поэмы XVIII вѣка. Онъ, именно популяризацией легко-эпикурейскихъ настроеній, далъ возможность воскресить популярность Лафонтена въ качествѣ не столько баснописца, сколько сказочника. Появилось теченіе поэзіи, въ которой лѣнность была первой добродѣтелью. Естественно,—поэзія эта не могла серьезно противостать солиднымъ одамъ и официально депреевскому настроенію, и, по мягкости своего общаго тона, она избрала путь наименьшаго сопротивленія, представъ передъ публикой не какъ „большая поэзія“, а какъ забава, какъ юмористика. Явился Грессе, авторъ забавныхъ сказокъ въ стихахъ (изъ нихъ главная „Vert-Vert“) и небрежныхъ посланій (напр. „Châtreuse“), робко осмѣивавшихъ духовенство. Эта робость сатирическаго элемента въ его произведеніяхъ не соответствовала назрѣвшей тогда въ обществѣ потребности въ рѣзкомъ, рѣшительномъ осмѣяніи католицизма и поэтому Грессе, несмотря на его позднѣйшія выступленія, никакъ нельзя назвать сатирическимъ писателемъ. Лишь въ одномъ менѣ популярномъ посланіи онъ показал когти и билъ хлестко; вообще же его произведенія имѣли цѣль позабавить,—это былъ „badinage“.

Но обществу хотѣлось болѣе острой пищи, и ее изготовилъ, съ необычайнымъ даже для него талантомъ, гений вѣка—*Вольтеръ*. Это была „*Pucelle*“—поэма уже чрезвычайно смѣлая для своего вѣка по своимъ сатирическимъ выпадамъ. Приготовивъ вкусное блюдо для любителей фривольныхъ произведеній,—фривольность была необходимой при-

правой подобныхъ сатиръ,—Вольтеръ уже осмѣлился нападать на представителей католическаго рая. Въ этой шутовской исторіи Орлеанской Дѣвы онъ продергиваетъ и политическій и церковный строй Франціи. Въмѣстѣ съ тѣмъ, онъ сумѣлъ остаться въ ней поэтомъ и даже именно въ ней онъ показалъ себя болѣе поэтомъ, чѣмъ въ своихъ натянутыхъ свѣтскихъ стихахъ, чѣмъ въ ложно-патетической Генриадѣ, или только желчныхъ литературныхъ сатирахъ. И недаромъ Пушкинъ считалъ „Pucelle“ лучшимъ произведеніемъ XVIII в. Мы не найдемъ другого произведенія, которое вызывало бы столь же восторженные отзывы о немъ Пушкина, къ которому онъ возвращался бы столько же разъ. Такъ, онъ писалъ Кривцову въ 1818 году (при посылкѣ Вольтеровой поэмы <sup>1)</sup>):

Когда сожмешь ты снова руку,  
Которая тебѣ дарить  
На скучный путь и на разлуку,  
Святую библию харить?  
Амуръ нашель ее въ Цитерѣ,  
Въ архивѣ шалости младой:  
По ней молись своей Венерѣ  
Благочестивою душой.

Но и позже Пушкинъ не измѣнилъ своего мнѣнія; въ письмѣ Бестужеву 1825 года <sup>2)</sup> онъ говоритъ о „лучшей поэмѣ Вольтера“, въ письмѣ Рылѣеву <sup>3)</sup>, того же 1825 года, онъ называетъ эту поэму среди образцовыхъ произведеній легкаго жанра; онъ выписываетъ изъ „Pucelle“ *длинную цитату въ повѣсти „Арапъ Петра Великаго“* <sup>4)</sup>, и въ концѣ жизни возвращается къ ней въ статьѣ „Послѣдній изъ родственниковъ Иоанны д'Аркъ“ <sup>5)</sup>, говоря про эту поэму: „разъ

<sup>1)</sup> Соч. П. подъ р. Морозова, томъ I, стр. 231.

<sup>2)</sup> Соч. П. подъ р. Морозова, томъ 8, стр. 98.

<sup>3)</sup> *ibid.*, стр. 89.

<sup>4)</sup> Замѣчу кстати, что это обстоятельство нигдѣ еще не было отмѣчено.

<sup>5)</sup> Соч. П. подъ р. Морозова, томъ 6, стр. 183—187.

въ жизни случилось ему (Вольтеру) быть истинно поэтомъ<sup>1)</sup>. Но ошибочно было бы заключать отсюда, что результатомъ увлеченія „Pucelle“ явилась „Гаврилиада“. У „Гаврилиады“ дѣйствительно имѣются прообразы во французской поэзіи, но это не „Pucelle“. Скорѣе можно съ „Pucelle“ сопоставить „Руслана и Людмилу“<sup>2)</sup>.

Какъ ни какъ „Pucelle“ была издана въ дореволюціонной Европѣ и, слѣдовательно, имѣлись границы, черезъ которыя переходить Вольтеръ не осмѣливался. Это взялъ на себя его ученикъ въ данномъ жанрѣ—Парни, при измѣнившихся цензурныхъ условіяхъ. Парни не всегда писалъ страстнымъ языкомъ, не только воспѣвалъ свою африканскую необузданную любовь. Онъ, во время революціи, пожелалъ быть сатирикомъ и написалъ рядъ произведеній, по смѣлости мысли и тона превосходившихъ все до того извѣстное. Это—„Galanteries de la Bible“, „Paradis perdu“, а главное „La Guerre des Dieux“. Въ сущности, онъ только продолжилъ Вольтера, поставилъ точку надъ і. Онъ уже нападалъ не на какихъ то святыхъ Георгіевъ, онъ осмѣивалъ христіанство въ самомъ его корнѣ. Осмѣивалъ онъ и Ветхій Завѣтъ въ своихъ „Галантныхъ приключеніяхъ изъ Библии“ и „Потерянномъ Раѣ“, но особенно осмѣивалъ Новый Завѣтъ въ „Войнѣ Боговъ“. Общность сюжета, общность тона, смѣшеніе крайней фривольности съ крайнимъ богохульствомъ, общность даже ритмики двухъ послѣднихъ поэмъ сближаетъ эти произведенія съ поэмой Пушкина „Гаврилиада“. Сатирическія поэмы Парни были заключительнымъ словомъ легкихъ поэмъ XVIII в. Онѣ могли явиться только во время республиканскаго режима—при Директоріи. Наступила реставрація, воскрешена была цензура, снова воцарилась благопристойность и, слѣдова-

---

1) Въ 1825 году Пушкинъ началъ переводить „Дѣвственницу“, но перевелъ лишь самое начало.

2) См. напр. соч. Пушкина, подъ ред. Морозова, томъ 3, стр. 606, 610 (прим. къ поэмѣ „Русланъ и Людмила“).

тельно, продолжать въ духъ поэмъ Парни было невозможно; да и вскорѣ явившійся романтизмъ занялся иными задачами въ этой сферѣ.

Разъ мы заговорили о юмористической поэмѣ XVIII вѣка и ея эпикурейскомъ характерѣ, то нельзя обойти молчаніемъ своеобразную отрасль этихъ поэмъ, пользовавшуюся особымъ успѣхомъ въ концѣ XVIII вѣка и особенно въ началѣ XIX в.— поэмы на гастрономическія темы. Изъ этихъ поэмъ лишь одна избѣжала полнаго забвенія— „*Гастрономія*“ Бершу. Эпикурейски-гастрономическіе мотивы можно прослѣдить и въ раннихъ произведеніяхъ Пушкина, но насколько мотивы эти рождались подъ непосредственнымъ вліяніемъ французскихъ поэтовъ (или подобныхъ имъ русскихъ, вродѣ Филимонова),— судить пока не беремъ.

Указанный родъ поэмъ, достигнувъ относительнаго совершенства въ поэмѣ Бершу, умеръ естественной смертью, съ той разницей, сравнительно съ сатирическими поэмами Парни, что послѣднія не оставили подражателей изъ за избытка сатирическаго элемента въ своихъ произведеніяхъ, а Бершу— изъ за недостатка этого элемента.

---

Къ XVIII вѣку относится и возрожденіе будуарной, мелко эротической поэзіи, ютившейся въ салонахъ начала царствованія Людовика XIV и также погубленной строгимъ Буало. Опять-таки мадригальный стиль существовалъ и раньше, но онъ не могъ претендовать на вниманіе и уваженіе литературныхъ круговъ. И по мѣрѣ того, какъ авторитетъ Буало падалъ, мадригальный стиль подымалъ голову, да и придворная атмосфера способствовала его расцвѣту. Г-жа Помпадуръ имѣла двухъ придворныхъ поэтовъ эротически-поздравительнаго характера, подражателей Овидія, какъ автора „Косметики“ и др. Эти два поэта—аббатъ, будущій кардиналъ Берни и Бернаръ оказали значительное вліяніе на

современниковъ. Но случайно значительнѣе было вліяніе ихъ наслѣдника—Dorat. Мы знаемъ, что Дмитріевъ сожалѣлъ о томъ, что онъ „въ юности прилѣпился къ вѣтреному Дорату“, и, надо сказать, напрасно сожалѣлъ, ибо и въ старости продолжалъ придерживаться того же мадригальнаго, доратовскаго стиля, подчиняясь также идиллически-меланхолическому тону пасторальныхъ поэтовъ—Леонара, Флоріана и др. Дора—универсальный поэтъ, воспѣвшій и оперу и балетъ и закулисныхъ нимфъ и много другого, явился настоящимъ отцомъ цѣлой плеяды мелкихъ поэтовъ конца XVIII вѣка, обогащавшихъ своими произведеніями альманахи и журналы. Это именно тѣ самые поэты, о которыхъ намъ пришлось говорить въ связи съ „Опытомъ Русской анекдотической“. Пиронъ, въ уже упомянутой „Métromanie“ отмѣтилъ довольно снисходительно это явленіе литературной жизни. До него Мольеръ неоднократно осмѣивалъ аналогичныя явленія и въ „Misanthrope“ и въ „Femmes savantes“. Это любопытно тѣмъ, что и здѣсь мы наталкиваемся на возрожденіе теченій, раздавленныхъ депревеской поэтикой. Однимъ изъ центровъ этой мелкой поэзіи XVIII вѣка былъ „*Almanach des Muses*“, ежегодникъ, основанный въ 1765 году, гдѣ дебютировалъ и Парни, и Vertin, но который наполнялся, главнымъ образомъ, героями Rivaгоl'евского памфлета „*Le petit almanach des grands hommes*“. И это мелкая поэзія мадригаловъ, басень, эпитафій, надписей, эпиграммъ, посланій, мелкихъ идиллій, вся эта „*poésie fugitive*“ одинъ моментъ оказалась господствующей въ литературѣ, наряду съ дидактическими и георгическими поэмами. Въ качествѣ таковой она была завѣщана XVIII-ымъ вѣкомъ XIX-му и долгое время держалась въ академическомъ кругу, борясь противъ романтизма. И эта мелкая поэзія часто носила характеръ юмористической. Юмористика, по примѣру прочихъ жанровъ, измельчала, превратилась въ маленькія „сказки“, эпиграммы, въ которыхъ авторы гонялись болѣе за анекдотической, чѣмъ за сатирической стороной.



Юмористикой она стала естественно, так какъ никто не рѣшался смотрѣть на нее серьезно, и ея претензіи на возвышенное значеніе были-бы очень жалки. Отсутствие же дѣйствительно „высокой поэзіи“ и открыло этой юмористикѣ широкое поле дѣйствія. Но едва обстоятельства измѣнились, едва выступили романтики съ нѣскольکو обновленными мотивами временно прекратившейся чистой лирики, какъ всѣ отвернулись отъ мелкихъ жанровъ, и эта струя изсякла. Съ нею окончательно умерли поэтическія традиціи, процвѣтавшія въ царствованіе Людовика XV, такъ называемыя традиціи XVIII вѣка.

---

Такимъ образомъ мы намѣтили три основныхъ момента разбираемой нами поэзіи. Первый—въ началѣ XVIII вѣка—возникновеніе такъ называемаго „*маротическаго*“ *стиля*, связанное съ именемъ Ж. Б. Руссо второй—смѣнившій его *стиль Грессе*, третій—*поэзія альманаховъ*, не связанная особенно ни съ какимъ виднымъ именемъ; изъ этой группы мы выберемъ достаточно характернаго представителя, имѣющаго къ тому же ближайшее соприкосновеніе съ Пушкинымъ.

Первымъ изъ трехъ является *Руссо*. Имя Rousseau указываетъ на его демократическое происхожденіе. И дѣйствительно, онъ имѣлъ, по тому времени, несчастіе быть сыномъ сапожника. Родился онъ въ 1711 году, въ Парижѣ; отецъ его былъ достаточно состоятеленъ, чтобы дать своему сыну возможность получить хорошее образованіе. Служебную карьеру Руссо началъ пажемъ у французскаго посланника въ Даніи, затѣмъ онъ служилъ секретаремъ у маршала Тальяра, съ которымъ ѣздилъ въ Англію, гдѣ познакомился съ Saint-Evremond'омъ, и наконецъ—въ вѣдомствѣ государственныхъ доходовъ.

Уже съ раннихъ лѣтъ Руссо былъ замѣченъ, какъ поэтъ. Сперва это были мелкіе стихи, въ которыхъ онъ подражалъ

стариннымъ поэтамъ, но затѣмъ рѣзко измѣнилъ направленіе и сталъ вѣрнымъ ученикомъ и сторонникомъ школы Буало-Депрео. Литературную карьеру онъ пытался сдѣлать въ качествѣ драматическаго писателя, но пьесы его, хотя и шли, особеннаго успѣха не имѣли. Ихъ неуспѣхъ онъ приписывалъ своимъ литературнымъ врагамъ, собиравшимся въ кафе *Laurent*, куда и самъ онъ иногда заглядывалъ. Враги же его были представителями новыхъ теченій въ литературѣ, представителями „современническаго“ направленія, если такъ можно назвать партію „*modernes*“, въ долгомъ спорѣ между „*modernes*“ и „*anciens*“. Во главѣ ихъ стоялъ *La-Motte Houdart*, авторъ комедій, трагедій, одъ, басенъ и т. д. Трудно сказать, насколько литературные интересы преобладали въ непріязненныхъ отношеніяхъ Руссо и Ла-Мота: правильнѣе было бы объяснить эту вражду личной конкуренціей писателей. Руссо въ это время былъ извѣстенъ, какъ ѣдкій сатирикъ, и его побаивались. Въ средствахъ борьбы съ Руссо его противники не всегда были разборчивы: они великолѣпно знали слабое мѣсто самолюбія Руссо и постоянно ставили на видъ его происхожденіе. Эти приемы только озлобляли Руссо, вообще не отличавшагося уживчивымъ характеромъ. Отношенія Руссо и Ла-Мота все обострялись, но понадобилось около десяти лѣтъ, чтобы привести ихъ къ трагическому концу. Это было около 1709 года—во время избирательной академической кампаніи. Умеръ Томасъ Корнель (братъ Пьера), и на его мѣсто явились два кандидата—какъ разъ Ламоттъ и Руссо; избранъ былъ Ламоттъ, но у нихъ еще остались кое-какіе счеты, которые и были вскорѣ сведены. Лѣтъ за десять до того, Руссо написалъ весьма рѣзкіе куплеты на Ламоттъ и его товарищey; и вотъ, во время избирательной кампаніи, среди сторонниковъ Ламотта стало распространяться продолженіе этихъ куплетовъ. Рѣзкость этого продолженія превосходила всякія границы и походила на клевету. Руссо, которому эти куплеты приписывались, былъ

публично оскорбленъ и затѣмъ привлеченъ за клевету къ суду. Первый процессъ кончился его оправданіемъ, но онъ не успокоился и началъ второй процессъ противъ Saugin'a, одного изъ друзей Ламотта; онъ обвинялъ его въ поддѣлкѣ со злостной цѣлью инкриминируемыхъ ему куплетовъ. Этотъ процессъ кончился полнымъ поражениемъ Руссо: судъ призналъ его авторомъ куплетовъ, нашелъ возведенное имъ на Сорена обвиненіе клеветническимъ и 7—IV—1712 года вынесъ резолюцію, навсегда изгоняющую Руссо изъ предѣловъ Франціи. Мало было литературныхъ процессовъ, которые бы такъ сильно занимали общественное мнѣніе, какъ процессъ Руссо. О немъ писали на протяженіи всего XVIII вѣка, и до сихъ поръ, кажется, остается невыясненнымъ вопросъ: былъ ли Руссо авторомъ этихъ куплетовъ, или же они явились злостной поддѣлкой Сорена и др.

И вотъ, съ 1712 года начались странствованія Руссо внѣ предѣловъ Франціи, закончившіяся лишь съ его смертью. Сперва онъ поселился въ Швейцаріи, гдѣ издалъ собраніе своихъ стихотвореній, найдя покровителя въ лицѣ французскаго посланника—графа du Luc. За нимъ онъ послѣдовалъ въ Вѣну, гдѣ его меценатомъ явился принцъ Евгений, но у Руссо съ нимъ произошло какое то недоразумѣніе, вслѣдствіе чего поэту пришлось переѣхать въ Брюссель. Въ это время друзьямъ Руссо удалось выхлопотать для него помилованіе, но онъ не захотѣлъ имъ воспользоваться, требуя пересмотра процесса, въ чемъ ему было отказано. Между прочимъ, въ Брюсселѣ Руссо встрѣтился съ молодымъ Вольтеромъ, сперва пылавшимъ энтузіазмомъ къ имени Руссо. Какія то личныя причины совершенно испортили отношенія двухъ поэтовъ, и въ лицѣ Вольтера Руссо нашлъ жесточайшаго врага, а достаточно извѣстно, какъ опасно было быть не въ ладахъ съ Вольтеромъ. Позже Руссо испыталь это, лишившись, по проискамъ Вольтера, матерьяльной

поддержки герцога д'Аремберга, покровительствовавшего одно время поэту. До этого Руссо ѣздилъ въ Англію, гдѣ издалъ еще разъ свои произведенія и выручилъ этимъ отъ продажи значительную сумму; но онъ ея лишился, вложивъ весь капиталъ въ предпріятіе Остъ-Индской кампаніи, потерпѣвшей крахъ. Подъ конецъ жизни Руссо отказался отъ того непримиримаго образа дѣйствій, который проявилъ въ первые годы изгнанія. Рядомъ посланій и одъ, адресованныхъ сильнымъ міра, онъ хотѣлъ заручиться ихъ благосклонностью, чтобы получить право вернуться во Францію. Въ 1738 году онъ даже самъ ѣздилъ въ Парижъ, подъ фамиліей Richer, съ цѣлью выхлопотать себѣ разрѣшеніе. Хлопоты его оказались безрезультатны; ему пришлось ни съ чѣмъ вернуться въ Брюссель, гдѣ онъ вскорѣ—въ 1741 г.—и умеръ.

---

Главное литературное наслѣдіе Руссо, составившее ему имя и давшее ему почетное мѣсто среди классиковъ, изучавшихся на школьной скамьѣ—были оды. Онѣ достаточно почитались его современниками; его оду на Фортуну перевели на русскій языкъ Ломоносовъ и Сумароковъ, что указываетъ на историческую значительность этихъ одъ. Но по понятнымъ причинамъ мы на нихъ не остановимся: искусственный паеосъ, фальшивый наборъ словъ—вся эта мишура мнимаго „восторга“ давно уже дискредитирована, и въ Пушкинскую эпоху если и прельщала кого, то только русско-классическую школу Хвостовыхъ и пр. Посланія и аллегоріи Руссо съ самаго момента ихъ появленія не пользовались благосклонностью публики. Иное было съ *кантатами*. Этотъ новый жанръ знаменуетъ начало цѣлой эпохи во французской поэзіи. Отъ этихъ кантатъ происходитъ эротическая поэзія XVIII вѣка, въ свою очередь давшая начало элегіи.

Нѣсколько ироническая переработка специфическихъ эпизодовъ изъ Овидіевыхъ Метаморфозъ и другихъ источниковъ классической мифологіи пришла какъ нельзя болѣе по вкусу

современникамъ. Послѣ Руссо поэтамъ подобнаго жанра заранѣе былъ обезпеченъ успѣхъ. Поэмы кардинала Берни, поэмы Бернара, подражавшія Овидіеву „*Arg amandi*“, поэзія Dorat и Colardeau, затѣмъ, смѣнившая ихъ, поэзія Rapin и Vertin'a—вотъ основные этапы этой эротической поэзіи. Рискаю нѣсколько удалиться отъ основной темы, мы остановимся на этихъ кантатахъ. Самъ авторъ говоритъ о нихъ, какъ о новомъ жанрѣ, заимствованномъ имъ изъ Италіи. Оттуда же имъ заимствовано было и самое названіе „кантата“, привишееся какъ во Франціи, такъ и позже въ Россіи<sup>1)</sup>. Руссо подробно объясняетъ, какъ онъ создалъ этотъ жанръ, почему онъ избралъ для кантатъ специфическую форму, почему онъ разрабатывалъ въ нихъ опредѣленные сюжеты. Имъ руководила давнишняя мечта французскихъ поэтовъ—примирить поэзію съ пѣніемъ, мечта, создававшая реформаціонныя попытки въ просодіи еще въ XVI вѣкѣ и не прекратившіяся и въ XIX вѣкѣ (отъ Баифа до Кастиль-Блаза). „*Оды для музыки или аллегорическія кантаты*“,—такъ назвалъ Руссо этотъ новый жанръ. Чтобы дать о немъ нѣкоторое представленіе, позвольте привести здѣсь, въ нашемъ переводѣ, его V кантату „*Амимона*“<sup>2)</sup>.

На брегѣ Аргоса, гдѣ медленны и властны  
 Вспѣнялися валы о груды черныхъ скаль  
 Гдѣ моря гуль царилъ безстрастный,—  
 Тамъ Амимоны плачь боговъ молилъ и звалъ;  
 Сатиръ преслѣдовалъ красотку Данаиду  
 И жалобно звала она:  
 „Нептунъ, Нептунъ, не дай меня въ обиду,  
 Ужель я дерзкому на стыдъ обречена?“

<sup>1)</sup> Напомню, что кантату о Цирцеѣ переводили Мартыновъ, Державинъ и Востоковъ; второй, кромѣ того, написалъ рядъ самостоятельныхъ кантатъ.

<sup>2)</sup> „Амимона“ существуетъ также въ переводѣ Востокова, не вполне сохраняющемъ размѣры подлинника, между тѣмъ, какъ размѣры очень важны для опредѣленія формы кантаты.

Владыка водъ, спаси, въ бѣдѣ я,  
Молю я честь мою спасти,  
Отъ покусителя злодѣя  
Мою невинность защити!..  
Увы, ужель мой зовъ безсильный  
Лишь вѣтеръ быстрый унесетъ,  
И надо мною сводъ могильный  
Волна холодная сомкнетъ.  
Владыка водъ, спаси, въ бѣдѣ я,  
Молю я честь мою спасти,  
Отъ покусителя злодѣя  
Мою невинность защити.

Услышалъ зовъ Нептунъ и со своею свитой  
Спѣшитъ явиться онъ красавицѣ защитой,  
Свидѣтель власти—съ нимъ его блестящій дворъ,—  
Такимъ же онъ предсталъ, любовью пламенѣя,  
Ведя Амура, Гименея  
Предъ Амфитриты нѣжный взоръ.  
Узрѣвъ его, Сатиръ сокрылся посрамленный...  
Красавицы смятенный видъ  
Нептуна покорилъ,—пылаетъ онъ, влюбленный,  
И дѣвъъ страстно говоритъ:

„Королевна! врагъ мятежный  
„Не опасенъ для тебя,  
„Отвѣчай лишь страсти нѣжной,  
„Покоряйся, лишь любя.  
„Счастье, радость свыше мѣры  
„Дашь любимцу своему.  
„Марсъ въ объятіяхъ Венеры  
„Позавидуетъ ему.  
„Королевна, врагъ мятежный  
„Не опасенъ для тебя,  
„Отвѣчай лишь страсти нѣжной,  
„Покоряйся лишь, любя“.

Красотка робкая—неопытна и юна.  
Противиться любви—ни воли нѣтъ, ни силъ,  
И голосъ вкрадчивый Нептуна,  
Ея защитника, ей сердце покорилъ.  
Защитника-ль? Амуръ ты снова подшутилъ,—  
Опаснѣе ли лѣсъ вспѣннаго буруна?  
Фетида, устыдась, отводитъ строгій взглядъ,  
Дорида скрылася во влажныя пещеры,  
И будутъ навсегда подобные примѣры  
Урокомъ для молодыхъ наядъ.

И притворны и умѣлы  
Всѣ любовники. Увы!  
Ждутъ васъ, дѣвы, злыя стрѣлы  
Тамъ, гдѣ ихъ не ждете вы.  
Покушенья грубой силы  
Вамъ не трудно избѣжать,  
Но отъ тѣхъ, чьи взоры милы,  
Гдѣ спасеніе сыскать?  
И притворны и умѣлы  
Всѣ любовники. Увы!  
Ждутъ васъ, дѣвы, злыя стрѣлы  
Тамъ, гдѣ ихъ не ждете вы.

Таковы эротическія произведенія Руссо. Насколько подобныя произведенія цѣнились въ свое время, покажетъ слѣдующій отзывъ, который заимствуемъ изъ „Словаря Историческаго“ 1793 года: „Кантаты его (т. е. Руссо) наполнены тѣми піитическими выраженіями, тѣмъ плавкимъ штилемъ, тѣми щастливыми оборотами, и однимъ словомъ, тѣми пріятностями, которыя составляютъ истинный характеръ сего рода стиховъ. Руссо попеременно въ нихъ то оживленъ и стремителенъ, то тихъ и трогателенъ, сообразно страстямъ, одушевляющимъ представляемыхъ въ нихъ людей.—„Признаюсь—говоритъ де-ла-Гарль, что я нахожу Руссоны кантаты гораздо въ большемъ лирическомъ духѣ писанными, нежели оды,

хотя онъ кажется въ нихъ гораздо возвышеннѣе. Въ кантатахъ его вижу я одни разительныя или нѣжныя изображенія. Вездѣ говоритъ онъ, слѣдуя воображенію своему, но нигдѣ не кажется ни обилень, ни многословень“ (часть XI—стр. 355).

---

Но еще большій для насъ интересъ представляютъ *эпиграммы* Руссо. Въ нихъ онъ воскресилъ жанръ Маро, поэта, о которомъ Буало и его современники имѣли вѣсьма смутное представленіе. Руссо воскресилъ его размѣръ—декасиллабъ, вошедшій во всеобщее употребленіе въ легкой поэзіи XVIII вѣка, воскресилъ его наивно-иронической стиль, сохранившій названіе „маротическаго“. Эпиграммы Руссо изящны и литературны. Ихъ онъ написалъ четыре книги, изъ которыхъ послѣдняя рѣдко помѣщается въ его сочиненіяхъ изъ за нескромности сюжетовъ. Но три первыя книги стали классическими. Въ этихъ эпиграммахъ, хотя и достаточно краткихъ, Руссо умѣлъ вмѣстить сюжеты обширныхъ произведеній. Но нѣтъ и обратнаго зла — излишней краткости: умѣренными эпитетами Руссо всегда даетъ характеристику дѣйствующихъ лицъ, обстановки, не оголяя анекдота до одной только остроты, до одного „*bon mot*“, какъ это дѣлали многіе другіе. Въ трехъ книгахъ этого разряда произведеній Руссо мы встрѣчаемъ не только эпиграммы въ узкомъ смыслѣ, но и „сказки“ въ стихахъ. Сюжеты — разнообразны. То онъ изображаетъ нашу жизнь, какъ театръ, гдѣ сильные міра выступаютъ на сценѣ, мы же, платные зрители, сохраняемъ за собой лишь право ихъ освистывать<sup>1)</sup>; то передъ нами проходитъ кардиналь, расплакавшійся надъ Психеей, ибо о ней повѣствуетъ исторія и холодно слушавшій о мученичествѣ св. Лаврентія, ибо объ этомъ говоритъ только Библия, и др.

---

<sup>1)</sup> Эпиграмма эта переведена кн. Вяземскимъ, но мы не приводимъ этого перевода, т. к. въ немъ сильно смягчены политическіе намеки Руссо.



характерные для времени персонажи. Эпиграммы Руссо—это цѣлая энциклопедія юмора.

Рядъ эпиграммъ Руссо былъ переведенъ кн. П. А. Вяземскимъ. Его переводы, хотя и вольные, и даже нарушающіе каноническую „маротическую“ строфу этихъ эпиграммъ, сохраняютъ, однако, духъ и размѣръ стиха подлинника. Они позволяютъ намъ нѣсколько ознакомиться по русски съ эпиграммами Руссо. Вотъ, на примѣръ, чисто-юмористическая:

#### Ошибка врача.

Шутя скрипачъ, а ремесломъ другъ хмелю,  
Съ попойки всталъ и слегъ больной въ постелю.  
Жена въ слезахъ послала за врачомъ;  
Приходитъ онъ и съ гробовымъ лицомъ,  
Вѣщаетъ вслухъ: „Сообразя догадки,  
„Здѣсь нахожу съ ознобомъ лихорадки  
„И жажды жаръ; но мудрый Гиппократъ  
„Велитъ сперва намъ жажды пылъ убавить“.  
Больной на то:—„Нѣтъ, нѣтъ, пустое, братья!  
„Сперва прошу отъ холода избавить,  
„А съ жаждой самъ управиться я радъ“.

(1821 года; изъ книги I, эп. XIII).

Хотя „pointe“—острота этой эпиграммы заключается въ отвѣтъ больного, но художественный центръ тяжести лежитъ въ изображеніи врача и его ученыхъ рѣчей съ непремѣннымъ упоминаніемъ Иппократа. Подобныя рѣчи врачей—не такая древность. Этотъ типъ врача сохранился до XIX вѣка, и во времена перевода Вяземскимъ эпиграммы былъ еще живъ. Такъ, въ позже изданной, одной медицинской книгѣ<sup>1)</sup> мы читаемъ: „Иппократъ говоритъ, что пища страждущихъ лихорадкой должна быть влажной; также совѣтуетъ онъ пить много въ воспалительныхъ или острыхъ болѣзняхъ.

<sup>1)</sup> „Домашній Лечебникъ“ кн. Енгальчева (4 изд., СПб., 1825—1826).

Опытъ всѣхъ искусныхъ врачей подтвердилъ это правило, и они всегда согласно съ природою поступаютъ въ томъ, что она требуетъ, удовлетворяя въ больныхъ непрестанную чрезвычайную жажду“. Сказанное показываетъ какой документальностью отличались эпиграммы Руссо. Возьмемъ образецъ сатирической эпиграммы:

Надменный нуль, Пигмей, крикунъ картавый,  
Ты на меня задорно лѣзешь въ бой!  
Тутъ есть резонъ: какъ Геростратъ другой  
Безславьемъ ты добиться хочешь славы!  
Но тщетенъ трудъ: я мстительнымъ стихомъ  
Не объявлю объ имени твоёмъ;  
Язви меня, на вызовъ твой не выду,  
Не раздражишь молчаніе пѣвца—  
Хочу скорѣй я претерпѣть обиду,  
Чѣмъ въ честь пустить безвѣстнаго глупца.

(1823 г. изъ книги I, эп. XV).

Но самъ Руссо не всегда слѣдовалъ этому правилу, не всегда скрывалъ имена противниковъ, и изъ нихъ первому—Houdart'у пришлось не разъ фигурировать съ полнымъ именемъ въ эпиграммахъ Руссо.

Возьмемъ образецъ его философскихъ эпиграммъ:

Съ эфирныхъ странъ огонь похитивъ смѣло,  
Япетовъ сынъ двуногихъ сотворилъ,  
И женскій полъ съ мужскимъ въ едино тѣло,  
На зло богамъ и намъ на радость слилъ;  
Но гнѣвный Зевсъ по своенравной власти,  
Разбивъ сосудъ, раскинулъ на двѣ части!  
Вотъ отчего въ порѣ мятежныхъ лѣтъ  
Пылаемъ мы сойтись съ своей двойчаткой:  
Здѣсь, здѣсь она! сонъ шепчетъ часто сладкой,  
А на яву мы признаемъ, что нѣтъ.

(1823 г. изъ книги II, эпигр. XX).

Здѣсь въ краткой аллегорической формѣ мы находимъ остроумное оправданіе Донъ-Жуанской психологіи, которой занимались столь многіе художники слова и мысли <sup>1)</sup>).

И въ своихъ эпиграммахъ, какъ и въ другихъ произведеніяхъ, Руссо все еще находился подъ вліяніемъ общаго духа школы Буало<sup>2)</sup>). Основные принципы „депреевой піитики“ — это, во-первыхъ, здравый разумъ, разсудочность:

Aimez donc la raison: que toujours vos écrits  
Empruntent d'elle seule et leûr lustre et leur prix

Во-вторыхъ — стремленіе къ полезности искусства, цѣлесообразности, поучительности:

Qu'en savantes leçons votre muse fertile  
Partout joigne au plaisant le solide et l'utile.  
Un lecteur sage fuit un vain amusement,  
Et veut mettre à profit son divertissement.

Согласно этимъ правиламъ, Руссо почти всегда, въ своихъ эпиграммахъ, преслѣдовалъ какую-либо внѣшнюю цѣль. Стремленіе быть поучительнымъ чувствуется вездѣ, и если онъ измѣнялъ этому стремленію, то почти всегда безсознательно. Къ счастью, его поучительность удалялась отъ моральнаго шаблона эпохи.

---

Знакомство Пушкина съ Жаномъ-Батистомъ Руссо началось съ раннихъ лѣтъ. Какъ „классикъ“ Руссо несомнѣнно

---

<sup>1)</sup> Кромѣ Вяземскаго, эпиграммы Руссо переводились Жуковскимъ (Для Климѣ все, какъ дважды два; Здѣсь кончилъ вѣкъ Памфилъ), Батюшковымъ (Безриемина совѣтъ), В. Л. Пушкинымъ и Илличевскимъ. Мнѣ извѣстны переводы 14 эпиграммъ Руссо, изъ нихъ нѣкоторыя до трехъ разъ. Надо замѣтить, что только три эпиграммы, въ переводѣ Вяземскаго, фигурируютъ въ изданіи его сочиненій, какъ переводъ изъ Руссо; остальные же вездѣ помѣщаются безъ всякихъ ссылокъ на оригиналь. То же самое можно сказать и относительно переводовъ Жуковскаго, Батюшкова и В. Л. Пушкина.

<sup>2)</sup> Хотя въ пониманіи эпиграмматическаго жанра онъ рѣзко разошелся съ учителемъ.

входилъ въ обязательный курсъ исторіи литературы. Но не какъ авторъ одъ привлекалъ онъ Пушкина; оды вообще въ его время не пользовались большой любовью, — извѣстна реакція противъ одъ, отмѣченная Дмитріевымъ. Въ этомъ жанрѣ ни Малербъ, ни Руссо, ни Лебрень на Пушкина вліянія имѣть не могли <sup>1)</sup>. Характерно то, что первое, что обратило на себя вниманіе Пушкина въ произведеніяхъ Руссо — это его эротическія „кантаты“. Пушкинъ въ 1814 году также написалъ „кантату“, хотя и оригинальную, но съ явнымъ воспроизведеніемъ всѣхъ особенностей формы Руссо. Это — „Леда“, — до послѣдняго времени появлявшаяся въ изданіяхъ сочиненій Пушкина, какъ „подражаніе Парни“. Что съ Парни она не имѣетъ ничего общаго, это основательно доказано въ послѣднемъ изданіи проф. С. А. Венгерова <sup>2)</sup>, и къ этому мы понятнo возвращаться не будемъ. Любопытно иное — то, что „Леда“, по содержанію явно подходящая къ серіи кантатъ Руссо, по формѣ столь же явно имитируетъ кантатную форму этого поэта. Напомню ритмическую форму „Леды“. Три эпизода, написанныхъ вольнымъ стихомъ, чередуются съ правильными стансами, изъ которыхъ первая и послѣдняя такая ритмическая группа — по три четверостишія. Стансы эти написаны „короткимъ стихомъ“. Изъ 19-ти кантатъ Руссо пять написаны абсолютно по той же формѣ (Diane, Adonis, Amytome, Les Bains de Tomeri, Calisto), остальные представляютъ близкіе варианты этой ритмической формы. Форма средних куплетовъ „Леда смѣется“ тоже встрѣчается въ кантатахъ Руссо, напр. въ 4-ой (L'Hyumen). Распредѣленіе содержанія между эпизодами „вольнаго стиха“ и стансами аналогично у Пушкина и Руссо. Точно также, какъ у Пуш-

---

<sup>1)</sup> Слѣдуетъ сдѣлать оговорку относительно послѣдняго. Революціонныя оды Lebrun'a не прошли безъ вліянія на Пушкина: есть основанія полагать, что слова изъ оды „Вольность“ о „возвышенномъ Галлѣ“, съ натяжкой нынѣ относимыя къ Шенье, относятся на самомъ дѣлѣ къ Lebrun'у, какъ автору одъ. (См. напр. Соч. П. подъ р. Морозова, т. I, стр. 562—563).

<sup>2)</sup> Соч. Пушкина, подъ ред. проф. С. Венгерова, т. I, стр. 116—118.

кина, Руссо кончалъ кантаты какой-либо сентенціей. Любопытна даже такая подробность, какъ повтореніе въ послѣдней группѣ одного четверостишія; у Руссо почти вездѣ первое и третье четверостишія стансовъ одинаковы. Комментируя это стихотвореніе Пушкина, проф. С. Венгеровъ <sup>1)</sup> предположилъ, что если сюжетъ и заимствованъ, то финаль—вполнѣ оригиналенъ. Правильнѣе было бы сказать наоборотъ, ибо мысль послѣдняго четверостишія:

Симъ примѣромъ научитесь...

повторяетъ заключительные стихи извѣстной сказки La Fontaine'a—La Clochette:

o belles, évitez

Le fond des bois, et leur vaste silence.

Форма „Леды“ давно интриговала комментаторовъ, начиная съ Бѣлинскаго, который нашель ее заимствованной у Державина, упустивъ изъ виду, что Державинъ ее взялъ у Руссо. Возражая Бѣлинскому, Майковъ <sup>2)</sup> совершенно напрасно отрицалъ общность формъ Державинскихъ кантатъ и „Леды“. Бѣлинскій былъ правъ, но онъ забылъ о первоисточникѣ. Дѣйствительно, „Персей и Андромеда“ Державина, написанная въ 1807 году, если отбросить часть, относящуюся къ современному событію (битва при Прейсишъ-Эйлау), написана, въ общемъ, въ формѣ кантатъ Руссо, но Державинъ далеко не такъ близко слѣдовалъ за образцомъ <sup>3)</sup>, какъ Пушкинъ въ своей „Ледѣ“. Гаевскій <sup>4)</sup> считалъ эту форму противо-художественной, приписывая ея изобрѣтеніе Державину и Богдановичу; и наконецъ, проф. С. Венгеровъ <sup>5)</sup>, въ своемъ послѣднемъ изданіи соч. Пушкина, высказалъ совер-

---

<sup>1)</sup> Соч. Пушкина, подъ ред. проф. С. Венгерова, т. I, стр. 116—120.

<sup>2)</sup> *ibid.*

<sup>3)</sup> Также, какъ и въ переводѣ 7-ой кантаты Ж. Б. Руссо „Цирцея“.

<sup>4)</sup> *ibid.*

<sup>5)</sup> *ibid.*

шенно особое мнѣніе: пренебрегая указаніями на неоригинальность формы, проф. С. Венгеровъ считаетъ ее „разработанной безусловно самостоятельно“, упустивъ изъ виду тѣсную связь между размѣромъ и названіемъ, отмѣченную Бѣлинскимъ, и даже допустилъ возможность того, что названіе это изобрѣтено позднѣйшими издателями сочиненій Пушкина. Такова исторія „Леды“—стихотворенія, созданнаго подъ несомнѣннымъ вліяніемъ кантатъ Руссо. Мы остановились на этой „кантатѣ“ отчасти и потому, что здѣсь Пушкинъ взялъ первый урокъ ироніи Руссо, ироніи, тщательно скрытой и загроможденной образами большой лирики. Но вліяніе кантатъ Руссо на Пушкина было мимолетнымъ; развѣ что въ его „Торжествѣ Вакха“ можно отчасти найти отголосокъ соотвѣтственной кантаты Руссо (IX—*Bacchus*), но тамъ уже форма не столь каноническая („кантатная“), и, пожалуй, вліяніе Парни рѣзче, ибо цѣлый эпизодъ переведенъ изъ его „*Déguisement de Vénus*“.

Гораздо любопытнѣе для насъ другое свидѣтельство о вліяніи Руссо: это — эпиграмма изъ „Россійскаго Музеума“ (1815 г. № 1):

Супругою твоей я такъ плѣнился  
 Что если бѣ три въ удѣлъ достались мнѣ,  
 Подобныя во всемъ твоей женѣ,  
 То даромъ двухъ я бѣ отдалъ сатанѣ,  
 Чтобъ третью лишь принять онъ согласился.

Эпиграмма эта представляетъ сокращенный переводъ VIII-ой эпиграммы (2-ой книги) Руссо (орѳографія изданія):

J'ai depuis peu vu ta femme nouvelle.  
 Qui m'a paru si modeste en son air,  
 Si bien en point, si discrete, si belle,  
 L'esprit si doux, le ton de voix si clair,  
 Bref, si parfaite et d'esprit et de chair,  
 Que, si le ciel m'en donnoit trois de même,

J'en rendrais deux au <sup>g)</sup> grand diable <sup>d. f)</sup> d'engager  
Pour l'engager á prendre la troisième.

Хотя этотъ переводъ и можно назвать критическимъ въ томъ смыслѣ, что онъ разборчиво отбрасываетъ ненужныя длинноты первыхъ строкъ, чтобы выпуклѣе выразить основную мысль, чѣмъ даже нарушаетъ правильность „маротической“ строфы,—все таки здѣсь мы имѣемъ дѣло съ мало-внимательнымъ ученическимъ подражаніемъ. Самый выборъ этой эпиграммы не обнаруживаетъ особой разборчивости лицеиста Пушкина, ибо вообще эпиграммы Руссо значительно остроумнѣе приведенной.

Хотя эта эпиграмма Пушкина, по всему вѣроятію, есть переводъ приведеннаго оригинала, но здѣсь мы должны сдѣлать оговорку, такъ какъ вопросъ этотъ далеко не устанавливается простымъ сличеніемъ текстовъ Руссо и Пушкина. Дѣло въ томъ, что въ эпоху, когда писалъ Руссо, плагіатъ не считался чѣмъ то нечестнымъ. Среди общепризнанныхъ плагіаторовъ до него былъ Мольеръ, заявлявшій: „je prends mon bien, où je le trouve“. Другой предшественникъ Руссо— d'Acceilly выразилъ свой взглядъ на плагіатъ въ слѣдующемъ стихотвореніи, переведенномъ Жуковскимъ <sup>1)</sup> (а также Илличевскимъ):

Едва лишь что сказать удастся мнѣ счастливо,  
Какъ Древность заворчитъ съ досадой: „Что за диво?  
Я то же до тебя сказала и давно!“

Смѣшна беззубая! Вольно  
Ей *послать* не притти къ невѣждѣ!  
Тогда бъ сказала я то же *прежде*.

Древность имѣла бы полное право обратиться къ Руссо съ подобнымъ заявленіемъ по поводу приведенной эпиграммы. Ее написалъ до Руссо полузабытый нынѣ поэтъ Guillaume Colletet. Вотъ текстъ первоначальной редакціи Кольтэ:

<sup>1)</sup> Въ изд. соч. Жуковского оригиналъ не указывается.

J'ay veu, puisque tu l'as voulu  
Ta maistresse, qui m'a tant plû,  
Que, si j'en avois trois de mesme,  
Sans faire trop de dédaigneux,  
J'en donnerois au Diable deux  
Afin qu'il m'ostât la troisième.

Трудно рѣшить, не встрѣтилъ ли гдѣ-нибудь молодой Пушкинъ именно эпиграмму Кольтэ. За это говорить отчасти то, что пропущенное имъ, сравнительно съ текстомъ Руссо, отсутствуетъ и у Кольтэ. Съ другой стороны, гораздо естественнѣе то, что Пушкинъ натолкнулся на эпиграмму такого распространеннаго автора, какъ Руссо, въ то время какъ текстъ Кольтэ <sup>1)</sup> могъ попасть на его глаза лишь случайно, и случайность эта маловѣроятна. Кромѣ того, можно привести, какъ аргументъ, въ пользу того, что Пушкинъ переводилъ изъ Руссо слѣдующее: во 1) Кольтэ говоритъ о *maîtresse*—любовницѣ, а Руссо и Пушкинъ—о супругѣ; во 2) у Кольтэ есть стихъ „*sans faire trop le dédaigneux*“; чего нѣтъ ни у Руссо, ни у Пушкина. Эти соображенія заставляютъ съ нѣкоторымъ вѣроятіемъ устранить имя Кольтэ изъ числа поэтовъ, съ которыми Пушкинъ имѣлъ хоть что-нибудь

---

<sup>1)</sup> Поэтъ этотъ родился въ 1598 году, ум. въ 1659 году. Былъ онъ однимъ изъ послѣднихъ и позднихъ представителей школы Ронсара. Въ качествѣ поэта онъ сотрудничалъ съ кардиналомъ Ришелье, въ которомъ нашель сильнаго покровителя. Былъ въ числѣ первыхъ членовъ-основателей Академіи. Оставилъ рядъ сборниковъ стиховъ, изъ нихъ одинъ, посвященный эпиграммамъ. Большой исторической цѣнностью обладала его рукопись, уничтоженная пожаромъ 1871 года, содержавшая жизнеописанія многихъ поэтовъ. Какъ представитель школы Ронсара, онъ былъ скоро и окончательно забытъ. Объ его имени еще напоминалъ въ XVII вѣкѣ его неудачникъ-сынъ, осмѣянный Буало, и благодаря этому послѣднему факту имя Кольтэ еще оставалось въ памяти. Ему долго пришлось ждать болѣе справедливаго признанія. Воскресилъ его имя, въ сущности, только Теофиль Готье, въ своихъ *Grotesques* 1844 года. Изъ этого уже видно, какъ мало шансовъ имѣлъ Пушкинъ встрѣтиться съ его стихотвореніями. Иное съ Руссо, изданій сочиненій котораго было очень много въ то время.



общее, но нельзя было обойти молчаніемъ факты, могшіе нѣсколько поколебать приведенныя утверждения.

Въ другихъ эпиграммахъ этой эпохи мы не найдемъ никакого слѣда того, чтобы Пушкинъ воспользовался „добрыми, старыми“ образцами Руссо <sup>1)</sup>. Онъ увлекался болѣе для него современной легкой эротической поэзіей Парни и другихъ мелкихъ поэтовъ, читалъ сказки и „добраго Лафонтэна“ и Вержье и Грекура, изъ современниковъ Руссо вспоминалъ Шолье и Лафора, забывая о классической тропинкѣ, протоптанной Руссо; и въ эпиграммахъ ранняго періода Пушкина мы не находимъ никакого слѣда вліянія Руссо. Ни его спокойно-эпическій тонъ эпиграммъ, ни метръ—декасиллабъ, или пентаметръ, эквивалентомъ которому Пушкинъ считалъ пятистопный ямбъ съ цезурой послѣ 2-ой стопы,—не появляются въ коротенькихъ, написанныхъ скорѣе въ расхожемъ стилѣ конца XVIII вѣка, эпиграммахъ юнаго Пушкина. Правда, до насъ дошла лишь незначительная часть этихъ эпиграммъ, но все же мы можемъ составить нѣкоторое сужденіе о нихъ и по дошедшимъ. Если выдѣлить изъ нихъ замѣчательную

---

<sup>1)</sup> Развѣ что въ одной эпиграммѣ 1817 года:

„Хоть впрочемъ онъ поэтъ изрядный,  
Эмилій человекъ пустой“  
— Да ты чѣмъ полонъ, шутъ нарядный?  
А понимаю: самъ собой!  
Ты полонъ дряни, милый мой!

можно видѣть вариантъ на стихъ одной эпиграммы Руссо, характеризующей какого то фата:

Tout plein de soi, de tout le reste vide.

Эта эпиграмма Пушкина можетъ насъ заинтересовать тѣмъ, что позже, въ 1829 году, Лермонтовъ ее пересказалъ въ такой, впрочемъ не блестящей формѣ:

Тотъ самый человекъ пустой,  
Кто весь исполненъ самъ собой.

Но, какъ мы видимъ, и здѣсь въ лучшемъ случаѣ очень отдаленная реминисценція стиха Руссо.

„Исторію стихотворца“, то эпиграммы можно раздѣлить на двѣ группы—узко-личныя и претендующія на общее значеніе. О второмъ родѣ мы еще поговоримъ, а здѣсь отмѣтимъ только рѣзкую грубость личныхъ эпиграммъ, лишаящую ихъ литературной остроты. Вѣдь въ концѣ-концовъ врядъ ли насъ затронуть такія выраженія, какъ „дуракъ“, „повѣсилъ уши“, и т. д. и т. д. По всему этому видно, что сознательно школы Руссо Пушкинъ еще не прошелъ. Руссо тоже бывалъ иногда рѣзокъ, но никогда не строилъ остроты своей эпиграммы на грубомъ словѣ. Вѣроятно, Пушкинъ не забывалъ этихъ эпиграммъ, но онъ и не дѣлалъ никакихъ практическихъ выводовъ изъ этого своего знанія. Смыслъ уроковъ Руссо былъ тотъ, что эпиграмма не просто остроумное слово, а художественная обработка свѣтской остроты. Эпиграмма должна въ насъ вызвать что-то большее, чѣмъ удивленіе передъ каламбуромъ, а иногда просто передъ удачнымъ ругательствомъ. Лицо, противъ котораго эпиграмма направлена, можетъ умереть; эпиграмма, какъ художественное произведеніе, умирать не можетъ. Создать законченный художественный образъ, примѣнимый и къ данному частному случаю, вызвавшему эпиграмму, поставить юморъ выше сатиры—вотъ задача жанра такъ, какъ преподавалъ ее своими произведеніями Руссо. Удачно сриемовать рѣзкое слово—это удѣлъ Лебрена, который въ своихъ подражаніяхъ жанру Руссо, остается далеко позади учителя и славенъ лишь своимъ стремительнымъ остро-словіемъ. Сочетать краткость съ требованіями эпическихъ произведеній—это была умѣло разрѣшенная Руссо задача. И въ первыхъ эпиграммахъ Пушкина мы не встрѣчаемъ слѣдовъ этого стремленія. Достаточно напомнить двухстрочную эпиграмму:

Невѣдомскій поэтъ, невѣдомый никѣмъ

Печатаетъ стихи невѣдомо зачѣмъ,

вполнѣ подходящую подъ опредѣленіе Буало „un bon

mot de deux rimes ogné“, чтобы констатировать, что и въ 1822 году Пушкинъ еще не оцѣнилъ реакціи Руссо противъ подобнаго жанра эпиграммъ.

Но рѣзко измѣняется его отношеніе къ эпиграммѣ въ 1825 году. Напомню, что къ этому году относятся такія эпиграммы, какъ „Живъ, живъ курилка“, „Ex ungue leonem“, „Пріятелямъ“, „Совѣтъ“, „Движеніе“. Всѣ упомянутыя эпиграммы написаны пятистопнымъ ямбомъ съ цезурой послѣ второй стопы; а до сихъ поръ Пушкинъ пишетъ только двѣ эпиграммы этимъ метромъ: приведенный переводъ изъ Руссо, да эпиграмму 1820 года на Каченовскаго (Хавроніосъ, ругатель закоснѣлый). Этотъ объективный признакъ указываетъ на какой-то внутренній переломъ въ пушкинской концепціи эпиграмматическаго жанра; эпиграммы теряютъ свой узко-сатирическій смыслъ, и даже личныя эпиграммы этого года строятся обычно не на каламбурѣ, не на ругательномъ словѣ, а на сближеніи даннаго случая съ какой либо пословицей, игрой, басней или анекдотомъ—однимъ словомъ эпиграмма приближается къ жанру эпиграмматической сказки. Въ этомъ не трудно видѣть вліяніе Руссо, тѣмъ болѣе, что въ названномъ году Пушкинъ относился къ Руссо съ особымъ вниманіемъ. Такъ, онъ пишетъ кн. Вяземскому, по поводу его: „Черты мѣстности“, (въ февралѣ 1825 года): „Въ Цвѣтахъ встрѣтилъ я тебя и чуть не задохся со смѣху, прочитавъ твою „Черту мѣстности“<sup>1)</sup>. Это — маленькая прелесть. „Чистосердечный отвѣтъ“ растянуть: риѣмы слезы-розы завели тебя. Краткость—одно изъ достоинствъ сказки эпиграмматической... Да, ты одинъ можешь ввести и усовершенствовать этотъ родъ стихотворенія. Руссо въ немъ обра-

---

<sup>1)</sup> „Черта мѣстности“ и „Чистосердечный отвѣтъ“, двѣ эпиграммы кн. Вяземскаго, написанныя въ духъ его подражаній Руссо. Упомянутое о Руссо въ письмѣ именно Вяземскому тѣмъ естественнѣе, что Вяземскій много переводилъ эпиграммъ Руссо, какъ объ этомъ уже упоминалось. (Соч. П. подъ ред. Морозова, т. 8, стр. 91).

зецъ и его похабныя эпиграммы стократъ выше одъ и гимновъ“ <sup>1)</sup>).

Трудно сообщить что либо относительно упомянутого разряда эпиграммъ Руссо (т. е. 4-ой книги его эпиграммъ), такъ какъ для этого надо обращаться къ спеціальнымъ изданіямъ, но отзывъ Пушкина имѣетъ достаточно общій характеръ, чтобы можно было пренебречь этими „похабными“ эпиграммами. Отрицательное отношеніе Пушкина къ одамъ Руссо встрѣчается также въ письмѣ къ Бестужеву, отъ 21 марта <sup>2)</sup> того же года, гдѣ Руссо сопоставляется съ Державиннымъ. Трудно рѣшить, что разумѣлъ Пушкинъ подъ „гимнами“ Руссо, о которыхъ онъ говоритъ въ письмѣ къ Вяземскому; весьма вѣроятно, что здѣсь онъ подразумѣваетъ „кантаты“ и тѣмъ хоронитъ одно изъ своихъ юношескихъ литературныхъ увлеченій.

Этотъ новый періодъ въ Пушкинскихъ эпиграммахъ не былъ особенно длителенъ. Вліяніе Руссо можно найти снова только черезъ четыре года въ „Литературномъ извѣстіи“, въ эпиграммѣ на Каченовскаго („Обиженный журналами жестоко“), въ „Притчѣ на Надеждина“ и эпиграммѣ „Поэтъ-игрокъ“ — всѣ 1829 года. За промежутокъ съ 1825 до 1829 года мы не замѣтимъ сколько-нибудь отчетливаго вліянія Руссо на Пушкина. Быть-можетъ, это знаменуетъ лишь опредѣленную періодичность въ творчествѣ поэта; у Пушкина мы часто встрѣчаемся съ, такъ сказать, ретроспективнымъ творчествомъ, когда онъ вспоминалъ и оживлялъ новымъ отношеніемъ къ предмету — увлеченія и созданія

---

<sup>1)</sup> Между прочимъ, на этомъ отзывѣ, быть можетъ, отразилось мнѣніе Вольтера о Руссо: „У Руссо рѣдки въ его произведеніяхъ изящество, легкость, чувство, вдохновеніе; за то онъ былъ мастеромъ въ нескромныхъ эпиграммахъ“... или, въ другомъ мѣстѣ: „у Руссо чувствуется сила и изысканность въ неприличныхъ сюжетахъ (sujets de débauche), (Siècle de Louis XIV). Это мнѣніе повторилъ Лагарпъ въ своемъ „Cours de la Littérature“ (Part. II, Liv. I, chap. IX).

<sup>2)</sup> Соч. П. подъ ред. Морозова, томъ 8, стр. 98.

прежнихъ лѣтъ. А что около 1829 года Пушкинъ снова обращался къ эпиграммамъ Руссо, объ этомъ мы можемъ предполагать по одному, достаточно характерному, случаю: въ статьѣ о Полевомъ<sup>1)</sup>, въ Литературной Газетѣ 1830 года, Пушкинъ пишетъ:

„Полевой въ своемъ предисловіи весьма искусно даетъ замѣтить, что слогъ въ исторіи есть дѣло весьма второстепенное, если ужъ не совсѣмъ излишнее; онъ говоритъ о немъ почти съ презрѣніемъ.

*Maître renard peut-être on vous croirait*

Послѣднимъ стихомъ Пушкинъ примѣняетъ къ Полевому и его сужденію о слогѣ одну эпигramму Руссо на Houdart'a, изъ которой этотъ стихъ съ нѣкоторымъ измѣненіемъ заимствованъ: именно, въ этой эпиграммѣ есть такой стихъ:

*Maître Houdart, peut-être on vous croirait*

(L. II ep. XIII)

Въ эпиграммѣ этой Houdart сравнивается съ лисой, которая, по извѣстной баснѣ, потерявъ хвостъ, стала проповѣдывать о новой модѣ, заявлявшей, что этотъ хвостъ—совершенно излишняя вещь. Пушкинъ, очевидно, на память цитировалъ эту эпигramму, вмѣсто „maître Houdart“ поставилъ созвучное и встрѣчающееся въ той же эпиграммѣ „maître renard“ и тѣмъ примѣнилъ къ Полевому эту басню такъ же, какъ ее примѣнилъ къ Удару Руссо. Этимъ то и объясняется, почему Пушкинъ не считаетъ нужнымъ комментировать иначе заявленій Полевого о слогѣ и прямо пишетъ: „По крайней мѣрѣ, слогъ есть самая слабая сторона Исторіи Русскаго Народа“.

Но помимо этихъ эпизодическихъ соприкосновеній Пушкина съ Руссо, мы можемъ констатировать, что общій взглядъ на эпигramму Пушкина, подъ конецъ жизни, сложился именно

---

<sup>1)</sup> *ibid.*, томъ 6, стр. 40.

подъ вліяніемъ Руссо и заявленіе его, что Руссо въ эпиграммахъ образецъ, — не случайно. Взглядъ Пушкина на эпиграмму вылился въ примѣчаніи къ статьѣ о Боратынскомъ, того же 1830 года: „Эпиграмма, опредѣленная законодателемъ французской піитики „un bon mot de deux rimes ogne“ скоро старѣеть и живѣе дѣйствуя въ первую минуту, какъ и всякое острое слово, теряетъ всю свою силу при повтореніи. Напротивъ съ эпиграммами Боратынскаго. Сатирическая мысль пріемлетъ оборотъ, то сказочный, то драматическій, и улыбнувшись ей, какъ острому слову, съ наслажденіемъ перечитываешь ее, какъ произведеніе искусства“. Хотя здѣсь говорится не о Руссо, а о Боратынскомъ, но изъ всего вышесказаннаго, надѣюсь, явствуетъ, изъ какого источника происходитъ данный взглядъ.

Любопытно, что взглядъ этотъ изложилъ Лебрень въ одной изъ своихъ эпиграммъ:

Un seul bon mot ne fait une épigramme;  
Il faut encore savoir la façonner... etc.

Лебрень именно говоритъ, что одна „острота“ — „bon mot“ не составляетъ эпиграммы и при повтореніи становится монотонной. Эпиграмма же дѣйствительно хорошая, при повтореніи, должна только еще болѣе нравиться. Надо замѣтить, что Лебрень часто обращался къ образцамъ Руссо, и цѣлый рядъ эпиграммъ, въ томъ числѣ и вышеизложенная, имъ написаны въ подражаніе этому поэту, но данныя эпиграммы какъ разъ наиболѣе слабыя его произведенія. Онъ считалъ Руссо своимъ учителемъ, на дѣлѣ же почитаніе было чисто теоретическимъ, и различный характеръ дарованія сильно удалялъ Лебрена отъ Руссо. Кромѣ того, и въ изложеніи своей эпиграмматической „profession de foi“ Лебрень упустилъ изъ виду практическій урокъ Руссо, отмѣченный Пушкинымъ. Это о необходимости введенія драматическаго или эпического элемента въ эпиграмму. Но если

Пушкинъ лучше Лебрена понялъ урокъ Руссо, то, въ сущности, онъ раздѣлилъ его судьбу въ томъ, что только теоретически слѣдовалъ урокамъ Руссо. На практикѣ же, какъ это будетъ видно, онъ былъ достаточно отъ него далекъ.

Обращаю особенное вниманіе на отношеніе Пушкина къ Руссо потому что, если не ошибаюсь, въ литературѣ о Пушкинѣ еще никто этого отношенія не отмѣтилъ. Вопросъ о вліяніи на него французскихъ эротиковъ поглотилъ все остальное и о вліяніи французскихъ писателей—эпиграмматистовъ приходится говорить впервые. Такъ, врядъ ли гдѣ можно найти указаніе на французскій оригиналь юношеской эпиграммы „Супругою твоей“, на источникъ цитаты изъ статьи о Полевомъ, на связь „Леды“ съ кантатами Руссо, однимъ словомъ, на весь приведенный фактической матеріалъ, который для исторіи Пушкинскаго творчества, хотя бы въ сферѣ эпиграммы, немаловаженъ.

---

Имени второго изъ избранныхъ нами авторовъ посчастливилось гораздо больше у комментаторовъ Пушкина. Связь, существующая между Грессе и Пушкинымъ, стала довольно общеизвѣстной и здѣсь мнѣ придется лишь съ нѣсколькими деталями напомнить о болѣе или менѣе знакомомъ, тѣмъ болѣе, что біографію и характеристику Грессе можно найти въ послѣднемъ изданіи соч. Пушкина—проф. Венгерова <sup>1)</sup>). Жизнь Грессе сводится приблизительно къ слѣдующему: *Jean-Baptiste-Louis Gresset* родился въ Амьенѣ, въ 1709 году. Учился онъ въ мѣстной іезуитской школѣ, а затѣмъ, проявивъ недюжинныя способности, былъ отправленъ въ Парижъ—въ Колежъ *Louis-le-Grand*. Во время своего пребыванія здѣсь онъ, послѣ нѣсколькихъ довольно-таки неудачныхъ одъ, опубликовалъ два своихъ главныхъ произведенія—поэму „*Vert-Vert*“ и посланіе „*La Chârtreuse*“. Поэма, появив-

---

<sup>1)</sup> Соч. Пушкина, подъ ред. проф. С. Венгерова, томъ I, стр. 266—268.

шаяся въ 1733 году, когда автору было 24 года, произвела необычайный фуроръ. Руссо писалъ о ней: „Признаюсь, безъ лести, что никогда я не видѣлъ еще произведенія, которое бы меня такъ же изумило. Не выходя изъ предѣловъ фамиллярнаго стилия, избраннаго авторомъ, поэма эта являетъ все, что есть наиболѣе блестящаго въ поэзіи, все, что могъ дать повѣренный житейскій опытъ челоуѣку, прожившему на бѣломъ свѣтѣ долгіе годы своей жизни... Не знаю, бытъ-можетъ, мои собратья и я хорошо бы поступили, отказавшись отъ нашего ремесла послѣ столь изумительнаго феномена, уничтожающаго насъ при самомъ своемъ рожденіи, и предъ которымъ мы имѣемъ лишь нелестное преимущество старшинства“. Неменьшимъ успѣхомъ пользовалось и посланіе, въ которомъ Грессе довольно откровенно порвалъ со старыми традиціями классической школы и проводилъ философію типичной французской богемы, философію, позже выраженную такими писателями, какъ Мюрже, Жераръ де Нерваль, Rimbaud и др. По правдѣ сказать, это было лишь возведенное въ принципъ, литературное разгильдяйство, необходимо связанное съ презрительнымъ отношеніемъ ко всякимъ авторитетамъ, ко всякой дисциплинѣ, но оно было такъ удачно выражено, такъ пришлось по вкусу не только литературной молодежи, но и такимъ солиднымъ писателямъ, какъ Руссо и даже коронованнымъ особамъ, вродѣ прусскаго Фридриха,—что явилось какъ бы манифестомъ новой литературной школы.

Вскорѣ послѣ опубликованія этихъ произведеній—Грессе покинулъ орденъ іезуитовъ. Произведенія его, написанныя послѣ Vert-Vert'a и Châtreuse'a никогда не достигали силы этихъ дебютовъ; ни другія посланія, ни другія сказки, ни тѣмъ менѣе драмы и трагедіи не имѣли особаго успѣха. Только его, въ общемъ, посредственная комедія „Méchante“ играетъ еще кое-какую роль въ исторіи театра <sup>1)</sup>. Комедія эта

<sup>1)</sup> Пушкинъ упоминалъ объ этой комедіи въ связи съ „Горемъ отъ ума“ (письмо А. А. Бестужеву 1825 г.).



доставила ему академическое кресло, сыгравшее и для него роль усыпательницы. Онъ удалился въ Аміенъ, гдѣ женился, успѣлъ во время раскаяться въ несовершенныхъ грѣхахъ и въ чрезмѣрномъ благочестіи, превратившемъ его въ излюбленную мишень для эпиграммъ, дожилъ до 1777 года.

Хотя нѣкоторые комментаторы ставили въ связь съ произведеніями Пушкина различныя посланія Грессе, но, въ сущности, только *Châtreuse* и *Vert-Vert* сыграли свою роль въ литературной жизни Пушкина. Оба эти произведенія были среди первыхъ въ его библіотекѣ, ихъ онъ считалъ образцовыми и, повидимому, не мѣнялъ своего мнѣнія.

„*Vert-Vert*“, — самая характерная сказка Грессе, во всѣхъ отношеніяхъ стихотворный пустячокъ, съ несоотвѣтственно раздутой славой. Вообще, юморъ Грессе былъ какой-то безцѣльный, что, впрочемъ, не принижаетъ его достоинства. Сюжеты сказокъ Грессе нелѣпы, но они и нравятся именно своей нелѣпостью. Въ свое время, въ этихъ сказкахъ видѣли сатирическіе намеки; но достаточно въ нихъ вчитаться, чтобы увидѣть, что сатира вовсе не была цѣлью Грессе. Единственной его цѣлью было—забавно рассказать свою сказку. Жанръ Грессе это то, что французы его времени отмѣчали словомъ „*badinage*“—шутливая болтовня. И въ его произведеніяхъ насъ интересуетъ не предметъ повѣствованія, а скорѣе самый процессъ этого повѣствованія,—для насъ важно не *что* и *зачѣмъ* онъ говоритъ, а *какъ* онъ говоритъ; содержаніе и цѣль его юмора отходятъ на второй планъ. Самъ Грессе вполнѣ сознательно перечилъ въ этомъ школѣ Буало. Его не привлекали ни „здравый разумъ“, ни „полезность и поучительность“, и онъ такъ говоритъ объ этомъ, оправдывая нелѣпости своихъ сюжетовъ:

A dire vrai, cette moderne histoire  
Est un peu folle, il en faut convenir.

Est-ce un défaut? non, si c'est un plaisir.  
Dans des langueurs de la mélancolie  
Quoil la sagesse est-elle de saison?  
Un trait comique, une vive saillie,  
Marqués au coin de l'aimable folie,  
Consolent mieux qu'une froide oraison  
Que prêche en vain l'ennuyeuse raison.

(Le Lutrin vivant).

И эта „aimable folie“, ставшая послѣ Грессе основнымъ принципомъ юмористики (въ сторонѣ отъ нея стоятъ поэмы Вольтера и Парни), была весьма родственна юмору Пушкина, который вообще былъ далекъ отъ школы Буало, отъ соблюдения цѣлесообразности въ поэзіи. „Ты спрашиваешь, какая цѣль у Цыгановъ? Вотъ нà! Цѣль поэзіи—поэзія, какъ говоритъ Дельвигъ (если не украсть этого). Думы Рылѣва и цѣлять, а все невпопадъ“ (письмо Жуковскому изъ Михайловскаго, —май—іюнь 1825 г.) <sup>1)</sup>. Въ этомъ—поэтическое credo Пушкина. Извѣстно окончаніе его „Домика въ Коломнѣ“, гдѣ, приведя шуточную мораль, онъ прибавляетъ:

... Больше ничего

Не выжмешь изъ разсказа моего.

Изъ Vert-Vert'a тоже ровно ничего не выжмешь. А въ этомъ-то и скрывается секретъ его заманчивости для Пушкина, ставившаго Vert-Vert въ ряду классическихъ произведеній всемірной литературы. Такъ, въ письмѣ Рылѣву, отъ 25 янв. 1825 г. <sup>2)</sup> онъ пишетъ, возражая Бестужеву: „Ужели хочеть онъ изгнать все легкое и веселое изъ области поэзіи? Куда-же дѣнутся сатиры и комедій? Слѣдственно, должно будетъ уничтожить и Orlando Furioso, и Гудибраза, и Pucelle,

---

<sup>1)</sup> Соч. П. подъ ред. Морозова, томъ 8, стр. 111.

<sup>2)</sup> *ibid.*, стр. 89.

и Веръ-Вера, и Рейнеке-Фуксъ, и лучшую часть Душеньки, и сказки Лафонтена, и басни Крылова, и пр. и пр. Это немного странно“.

И несомнѣнно Vert-Vert игралъ не послѣднюю роль въ образованіи у Пушкина этихъ „не строгихъ“ взглядовъ на юморъ. Среди стихотворныхъ повѣстей и сказокъ, составлявшихъ любимое чтеніе юнаго Пушкина, мы встрѣчаемъ и сказки Лафонтена, Вержье, Грекура, но выборъ ихъ, особенно двухъ послѣднихъ, объясняется скорѣе скабрёзностью содержания, и здѣсь говорить не критическій взглядъ Пушкина, а его возрастъ. Поэтому-то и любопытно, что онъ не отвергаетъ и даже ставитъ выше другихъ—сказку Грессе, гдѣ эта приправа отсутствуетъ; и объ этой ранней приверженности жанру Грессе свидѣлствуютъ извѣстные стихи изъ посланія 1815 года „Моему Аристарху:“

Подъ снѣною лѣни неизвѣстной  
Такъ нѣжился пѣвецъ прелестной  
Когда Вервера воспѣвалъ,  
Или съ улыбкой рисовалъ  
Въ непринужденномъ упоеньѣ  
Уединенный свой чердакъ.

Въ послѣднихъ стихахъ Пушкинъ касается второго произведенія Грессе—его посланія „Châtreuse“. Это произведение издавна пользовалось успѣхомъ въ Россіи, и, напр. Батюшковъ написалъ подражаніе ему „Моимъ Пенатамъ“, а Веневитиновъ перевелъ изъ него одинъ эпизодъ. Пушкинъ изъ него ничего не перевелъ, но въ духѣ этого посланія имъ написанъ „Городокъ“, да и въ другихъ посланіяхъ („Галичу“ и др.) онъ старается выставить себя лѣнливымъ эпикурейцемъ. Правда, тонъ этого довольно частаго у поэтовъ эпохи настроенія сложился подъ вліяніемъ не только Грессе, но и позднѣйшихъ специфически эпикурейскихъ поэтовъ XVIII и XIX вв., вродѣ Панара, или классическаго Бершу, упоми-

наемаго, между прочимъ, Пушкинымъ въ стихотвореніи „Сонъ“ (1818 года <sup>1)</sup>):

Я не хочу, какъ общій другъ, Бершу

Предписывать вамъ тяжкія движенья...

Но самая форма посланія слагалась, несомнѣнно, подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ отъ чтенія Грессе. Въ этомъ направленіи Пушкинъ шелъ за традиціей; ибо, нельзя отрицать, — преклоненіе передъ Грессе было чисто традиціоннымъ въ русской поэзіи. Въ послѣднемъ изд. соч. Пушкина, проф. Венгерова <sup>2)</sup> даны нѣкоторыя справки по этому поводу, и къ нимъ мы возвращаться не будемъ. Во всякомъ случаѣ, что касается „Châtreuse“, то Пушкинъ полюбилъ это посланіе не индивидуально, а какъ представитель своей эпохи. Таковымъ-же, въ сущности, было и его отношеніе къ Vert-Vert'у, но здѣсь поэтовъ кромѣ того роднила общность ихъ юмора, отмѣченная выше. Любопытно, что эту традиціонную память о Грессе, Пушкинъ сохранилъ до конца своей жизни. Такъ, въ написанной имъ, въ 1836 году, статьѣ о „Фракійскихъ элегіяхъ“ В. Теплякова имѣется слѣдующее: „Грессеть въ одномъ изъ своихъ посланій пишеть:

Je cesse d'estimer Ovide  
Quand il vient sur de faibles tons  
Me chanter, pleureur insipide  
De longues lamentations.

Книга „Tristium“ не заслужила такого строгаго осужденія“ <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Соч. П. подъ ред. Морозова, томъ 1, стр. 165.

<sup>2)</sup> Соч. П. подъ ред. проф. Венгерова, томъ I, стр. 266—268.

<sup>3)</sup> Замѣчу кстати, что слово *Грессеть* нѣкоторыя изданія (кромѣ изданій Анненкова и двухъ изданій Геннади 1859, 1870) до сихъ поръ ошибочно печатали *Гросеть*. Въ послѣднемъ изданіи проф. Венгерова это исправлено, зато сохранена другая ошибка: именно, въ третьей строчкѣ *Me chanter* первоначально (т. е. въ „Современникѣ“ 1836 года) было напечатано слитно и со знакомъ *accent aigu* надъ *e*, благодаря чему получилась бессмыслица — такъ какъ глагола *méchanter* — вообще не существуетъ. Эта опечатка, повторенная во всѣхъ изданіяхъ, сохранена по непонятной причинѣ и въ послѣднемъ изданіи, *хотя во 2-омъ изд. Геннади (1870 года) эта странная ошибка исправлена.*

Цитируемые Пушкинымъ стихи взяты изъ *Châtreuse*. Правда, Пушкинъ уже не считаетъ нужнымъ соглашаться съ ихъ авторомъ, но вѣдь для того, чтобы серьезно считаться съ мнѣніемъ Грессе объ Овидіи, нужна была достаточная доля уваженія къ нему. Къ этому сводятся главнѣйшіе пункты соприкосновенія Пушкина съ Грессе.

---

Когда мы говорили о Руссо, намъ неоднократно пришлось упоминать о жанрѣ „эпиграмматической сказки“. Было бы ошибочно полагать, что характеръ этого жанра такъ, какъ онъ представлялся Пушкину и его современникамъ, вполнѣ опредѣлялся произведеніями Руссо. Этотъ поэтъ, какъ истинный классикъ, и въ юмористическихъ произведеніяхъ не забывалъ о своемъ высокомъ назначеніи; и въ эпиграммы онъ вводилъ элементы „высокой поэзіи“, и тамъ мы наталкиваемся на, быть-можетъ, нѣсколько искусственное, торжественное вдохновеніе. Характера непритязательности, игривости, забавы—эпиграмматическая сказка не могла пріобрѣсти подъ его перомъ, тѣмъ болѣе, какъ уже указано, Руссо былъ еще формально во власти строгихъ правилъ Буало. Грессе и его болѣе развязные современники раскрѣпостили поэзію отъ этого возвышеннаго тона. И въ концѣ XVIII вѣка, когда поэзія вообще— за исключеніемъ дидактическихъ поэмъ,— превратилось въ свѣтское развлеченіе, эпиграмматическая сказка нашла для себя болѣе родственную ей среду въ произведеніяхъ мелкихъ поэтовъ маленькихъ альманаховъ.

Это было какъ нельзя болѣе подходящее для ихъ появленія время. Идеи обновленія уже носились въ воздухѣ. Эстетическое сознаніе вѣка также жаждало творческаго обновленія. „И наступилъ хаосъ, въ которомъ рождаются звѣзды“. Всѣ брели ошупью, спотыкаясь. Ровнымъ тономъ гудѣла лишь дидактическая поэзія—въ лицѣ Делиля и его школы. Потребность заговорившей громче буржуазіи въ умиленіи находила

исходъ въ живописи—въ картинахъ Грёза, въ области абстрактной мысли—въ публистикѣ Дидро, въ поэзиі—въ идиллическихъ и сентиментально-меланхолическихъ поэмахъ. Любопытно, что наиболѣе читаемымъ авторомъ этого стиля былъ иностранецъ, швейцарецъ Гесснеръ, писавшій по нѣмецки; если его не слишкомъ цѣнили нѣмцы, то во Франціи имъ упивались. Отечественными же авторами того же теченія были Флоріанъ и Легуве, на которыхъ, по свидѣтельству Пушкина, было воспитано поколѣніе русскихъ читателей. Изъ этой среды сентиментально-приторныхъ поэтовъ надо однако выдѣлить Пярни, являвагося, несмотря на свое тѣсное родство съ вѣкомъ, явнымъ предшественникомъ романтической лирики, какъ и смѣнившій его элегикъ Мильвуа. Наряду съ этимъ теченіемъ болѣе серьезные запросы выдвигало теченіе, подражавшее духу римской античности. Въ живописи выразителемъ его былъ Давидъ, въ поэзиі, старшій товарищъ Рагну, тоже эротическій поэтъ—Бертэнъ. На смѣну римскому вліянію возникло греческое; Давида смѣнили Энгръ и Прюдомъ, въ поэзиі пѣлъ, тогда еще невѣдомый большой публикѣ, Андрэ Шенье, къ сожалѣнію, не оставившій почти ни одного законченнаго произведенія. Эллинизмъ перешелъ въ салоны, размѣнялся на дамскія моды и прически. Наряду съ этими перекрещивающимися теченіями уже заманчиво раздавались новые голоса старшихъ романтиковъ, особенно Шатобріана. Всѣ эти школы были кратковременны, ни одна изъ нихъ не могла окончательно удовлетворить потребностямъ новаго эстетическаго сознанія. Творческій хаосъ производилъ выкидышей. Это время и было особенно удобнымъ для эфемерныхъ поэтовъ-однодневокъ. Ихъ явились цѣлыя тучи. Безчисленное количество этихъ эпигоновъ Дора не слишкомъ вѣрныхъ своему учителю, авторовъ всякихъ мелкихъ фарсовъ, эпиграммъ, мадригаловъ, куплетовъ, надписей и т. д., не прошло безслѣдно для русской литературы. Достаточно раскрыть сочиненія Дмитріева или В. Л. Пуш-

кина, чтобы натолкнуться на рядъ, нынѣ невѣдомыхъ именъ Imbert, Guichard, Dufresny, Vigée, Béranger <sup>1)</sup> и др. мелкихъ современниковъ Парни. У этихъ поэтовъ была нѣкоторая спеціализація: такъ, Гишаръ писалъ басни, а иногда эпиграммы, какой-нибудь Piis, въ сотрудничествѣ съ Varré писалъ застольные куплеты, оперетки и водевили, доходившіе до Россіи, ибо, напр. сюжетъ „Барышни-крестьянки“ мы встрѣчаемъ въ одной комедіи этого Пии „La fausse paysanne, ou l'heureuse inconséquence“ (1789 года)—фактъ, кстати, не отмѣченный въ Пушкинской литературѣ <sup>2)</sup>; мадригалы высокосвѣтскаго жанра писалъ Boufflers, рыцарь мальтійскаго ордена, Эмберъ—басни и т. д. Въ жанрѣ же эпиграмматической сказки особенно отличались тотъ же Эмберъ, Neufchâteau и довольно таки малоизвѣстный *Pons de Verdun*, о которомъ намъ и придется поговорить.

*Робертъ* <sup>3)</sup> *Понсъ* родился 17 февраля 1759 года <sup>4)</sup> въ маленькомъ старинномъ городкѣ сѣверной Франціи—въ Вер-

---

<sup>1)</sup> Однофамилецъ знаменитаго Беранже.

<sup>2)</sup> Слѣдуетъ обратить вниманіе на замѣтку Н. Лернера („Рѣчь“ 1910 г. № 328) о брошюркѣ М. Сперанскаго „Барышня—крестьянка“ Пушкина и „Урокъ любви“ г-жи Монтольи (Библиографическая справка) Харьковъ 1910 г. Мнѣ не удалось видѣть этой „справки“ и потому ссылаюсь на слова Н. Лернера: „Авторъ устанавливаетъ нѣкоторую вѣроятность у Пушкина реминисценціи изъ одного малоизвѣстнаго источника, повѣсти плодовой и посредственной французской романистки „Урокъ любви“, переводъ которой былъ напечатанъ въ „Вѣстникѣ Европы“, въ 1820 году и которая могла быть знакома Пушкину и въ подлинникѣ“. Это доказываетъ, что сюжетъ „Барышни-крестьянки“ былъ распространенъ во французской литературѣ, подобно многимъ другимъ, что дѣлаетъ еще болѣе вѣроятнымъ предположеніе о заимствованіи этого сюжета Пушкинымъ для своей повѣсти; вмѣстѣ съ этимъ, можно предположить, въ связи съ сближеніемъ Дубровскаго со Сбогаромъ и съ тѣмъ вниманіемъ, съ которымъ Пушкинъ, въ своихъ критическихъ статьяхъ говорилъ о французской повѣсти,—что пушкинская проза была проводникомъ французскихъ литературныхъ теченій.

<sup>3)</sup> Иные авторы называютъ его Philippe-Laurent.

<sup>4)</sup> Biographie Universelle (Michaud, II изд.), а за ней и многіе другіе авторы биографическихъ замѣтокъ даютъ 1749 годъ и даже 1747 годъ, но эти даты несомнѣнно ошибочны; основаны же онѣ на двухъ стихахъ самого Pons's'a, которымъ, однако, мы не имѣемъ права придать абсолютное значеніе.

день; отсюда и его литературное имя—Pons de Verdun. Былъ онъ сыномъ малосостоятельнаго коммерсанта, который избралъ для него юридическую карьеру. Для этого Понсъ былъ отправленъ въ Парижъ, въ коллежъ Cardinal-Lemoine, гдѣ прошелъ классы гуманитарныхъ наукъ—риторики и философіи. Здѣсь, въ коллежѣ, его товарищемъ былъ Andrieux, извѣстный драматургъ и авторъ короткихъ сказокъ, между прочимъ, и сказки о мельникѣ и прусскомъ королѣ, помѣщаемой во всѣхъ хрестоматіяхъ. Товарищескія отношенія ихъ перешли въ дружбу, не прекратившуюся и по окончаніи коллежа, т. е. 1777 года <sup>1)</sup>. Понсъ продолжалъ образованіе въ качествѣ студента-юриста, Андриэ поступилъ на службу къ какому то прокурору. Студенческую жизнь Понсъ провелъ въ маленькомъ меблированномъ домѣ, носившемъ громкій титулъ—hôtel Notre-Dame—на маленькой rue des Anglais. Въ этомъ „отелѣ“ жили почти исключительно студенты-юристы и медики, снимавшіе тамъ дешевыя, меблированныя комнаты. Было тамъ и нѣсколько жильцовъ—не студентовъ—изъ нихъ Collin d'Harleville, впоследствии прославившійся, какъ авторъ комедій. Всѣ обитатели отеля составляли тѣсную семью, ибо обѣдать приходилось вмѣстѣ, и обѣды, довольно скудные по ѣдѣ, переходили въ шумныя и длительныя бесѣды. Центромъ вниманія этихъ собраній была дочь хозяйки—m-lle Raclot, которой въ ту пору было лѣтъ 26—27. Не блистая красотой, она однако умѣла оживлять молодое общество студентовъ; она хорошо пѣла, была довольно начитана и даже отличалась отъ прочихъ дѣвицъ ея круга своимъ правописаніемъ. Каждый изъ обитателей отеля старался чѣмъ-нибудь развлекать компанію: было тамъ нѣсколько пѣвцовъ, піанистъ, игравшій на маленькомъ клавесинѣ, былъ скрипачъ и т. д. Понсъ, въ это

---

<sup>1)</sup> Эта дата, между прочимъ, опровергаетъ предположенный „Biographie Universelle“ и др. годъ рожденія Pons'a.



время уже дебютировавшей (1778 г.) въ „Альманахъ Музъ“, увеселялъ компанію своими эпиграммами, а также своими музыкальными способностями. Между тѣмъ, его эпиграммы и сказочки въ стихахъ уже начали доставлять ему успѣхъ. Въ каждомъ новомъ ежегодникѣ „Альманаха Музъ“, да вѣроятно и въ другихъ подобныхъ же изданіяхъ, появлялись его мадригалы и эпиграммы. Въ 1780 году онъ соединилъ ихъ въ сборникъ „Mes loisirs, ou contes et poésies diverses“. По поводу этого сборника одинъ рецензентъ писалъ: „Пріятные мадригалы, забавные и удачно-сложенные эпиграммы, порядочное количество маленькихъ стихотвореній, свидѣтельствующихъ объ остроуміи; нѣсколько вещицъ, гдѣ молодой авторъ предался шуткамъ довольно дурного сорта, что доказываетъ, что ему необходимо воспитать вкусъ изученіемъ хорошихъ образцовъ“. Въ томъ же 1780 году Понсъ кончилъ университетъ и былъ принятъ въ „адвокаты Парламента“. Не прельщаясь литературной славой, онъ, серьезно принялся за юридическую дѣятельность, не забывая однако помѣщать въ Альманахахъ значительное число эпиграммъ и издать въ 1783 году новый, болѣе полный, сборникъ своихъ произведеній. Онъ становится присяжнымъ сотрудникомъ всѣхъ этихъ альманаховъ.

Въ 1788 году Rivarol выпустилъ ѣдкій памфлетъ на всѣхъ маленькихъ поэтовъ Альманаховъ. Памфлетъ этотъ, подъ заглавіемъ „Маленькій словарь нашихъ великихъ людей“ перечисляетъ съ соотвѣтствующими характеристиками всѣхъ мимолетныхъ посѣтителей тогдашняго французскаго Парнасса. Въ памфлетѣ нашлось мѣсто и для Понса: „Мы немного скажемъ объ этомъ литературномъ геркулесѣ—пишетъ Ривароль— „Извѣстно, что онъ не побоялся подписаться приблизительно подъ 10-ю тысячами эпиграммъ или сказокъ въ стихахъ и разослать ихъ во всѣ альманахи, во всѣ журналы, гдѣ, такимъ способомъ, молодой поэтъ основалъ весьма обширныя заведенія“. Насмѣшки Ривароля не

остановила плодovitости Понса, да и не всѣ такъ иронически относились къ нашему поэту и напр. Мари-Жозефъ Шенье, въ академическомъ трудѣ о французской литературѣ, такъ говоритъ о немъ: „Эпиграммы г-на Pons de Verdun, собранныя въ томикъ, пользуются немалымъ успѣхомъ. Написанныя почти всѣ въ жанрѣ сказокъ, онѣ веселы и никого не трогаютъ“.

Помимо сочиненія эпиграммъ, Понсъ замышлялъ и другія литературныя предпріятія, напр. изданіе библіотеки любопытныхъ книгъ. Но наступившая революція отвлекла его къ инымъ, болѣе серьезнымъ по тому времени занятіямъ. Послѣ процесса Воесклин'а въ 1790 году, карьера его, какъ адвоката, упрочилась, и онъ былъ назначенъ прокуроромъ при парижской судебной палатѣ, а затѣмъ, въ сентябрѣ 1792 года, былъ избранъ отъ своего города депутатомъ въ конвентъ. Занявъ въ конвентѣ мѣсто среди якобинцевъ, Понсъ принялъ дѣятельное участіе въ процессѣ короля, голосовалъ за безусловную казнь и издалъ брошюру по поводу этого процесса. Послѣ паденія Робеспьера, по его докладу, прошелъ извѣстный законъ 17—IX—1794 года о томъ, что беременная женщина не подлежитъ казни; въ слѣдующемъ 1795 году онъ выпустилъ книгу „Портретъ генерала Суворова“.

Затѣмъ Понсъ принялъ дѣятельное участіе во всѣхъ политическихъ событіяхъ переходной эпохи и лишь при Наполеонѣ снова вернулся къ судебной дѣятельности, въ качествѣ генеральнаго прокурора при кассационномъ судѣ. Но и въ революціонное время онъ не забывалъ литературы, продолжая сотрудничать въ *Almanach des Muses*, гдѣ кромѣ эпиграммъ, помѣстилъ отрывки юмористической поэмы „*Vulcaïn*“; въ это же время онъ состоялъ членомъ литературнаго общества, подъ названіемъ „*Portiques Républicains*“, гдѣ впервые и были прочитаны отрывки только-что упомянутой поэмы. Послѣ воцаренія Бурбоновъ, Понсъ былъ принужденъ покинуть постъ прокурора, а позже, въ 1816 году,

быль изгнанъ, какъ цареубійца, изъ предѣловъ Франціи и поселился въ Брюсселѣ, гдѣ занимался исключительно литературой, участвуя въ мѣстномъ журналѣ „Esprit des Jougnaux“. 25—XII—1818 года ему разрѣшили вернуться въ Парижъ, гдѣ, по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ <sup>1)</sup>, онъ и умеръ 16-го мая 1819 года. Biographie Universelle заставляеть его дотянуть до 1844 года, не сообщая однако ничего о его жизни за эти 25 лѣтъ.

Такимъ образомъ, *Понсъ де Верденъ* сложился, какъ поэтъ, въ задушевной студенческой компаніи. На него смотрѣли, какъ на юнаго, подающаго надежды, поэта, но онъ такъ и ограничился этимъ подаваніемъ надеждъ, продолжая писать въ духѣ тѣхъ же начинаній. Основное содержаніе его эпиграммъ—анекдотъ. Мы постоянно встрѣчаемся здѣсь съ гасконцами и нормандцами—этимъ французскими пошехонцами и головотяпами. Но и ограничиваясь такими примитивными анекдотами, онъ иногда придумывалъ довольно мѣткія характеристики. Такъ, мы знаемъ необычайную чувствительность его вѣка, и Понсъ сообщаетъ намъ діалогъ двухъ пріятелей:

„Мою душу непреоборимо влечеть къ чувствительности“ говоритъ первый.

— „Я рождень чувствительнымъ“—отвѣчаетъ ему другой.

„Недавно, мнѣ необходимо было расчувствоваться, и я пошелъ въ театръ на „Нищаго“. Я проливалъ слезы такъ обильно, что племянница сочла меня за безумнаго“.

— „А я—въ тотъ же день наплакался вволю уже при чтеніи афиши этой пьесы!“—

Это стремленіе превзойти всѣхъ своей чувствительностью чрезвычайно характерно для конца XVIII вѣка. Или—въ то же время—болѣзненныхъ размѣровъ стала достигать библіоманія. Понсъ отмѣчаетъ ее, часто цитируемой, эпиграммой о

---

<sup>1)</sup> См. напр. „La Litterature Française“ par Staaff, т. II, с. 1

библіоманъ, который внѣ себя отъ восторга, ибо нашель наконецъ „хорошее“ рѣдкое изданіе книги, приводя, какъ доказательство, опечатки, отсутствующія въ плохомъ изданіи.

Были у него эпиграммы и безъ всякихъ претензій, вродѣ слѣдующей, переведенной Денисомъ Давыдовымъ: <sup>1)</sup>

**Логи́на пьянаго.**

Подъ вечерокъ Хруповъ изъ кабачка Совы,  
Богъ вѣдаетъ куда, по стѣнкѣ пробирался;  
Шель, шель и рухнулъ. Народъ расхохотался.  
Чему бы кажется? Но люди таковы!

Однако жъ кто то изъ толпы,  
Почтенный человѣкъ, помогъ ему подняться  
И говоритъ: „Дружекъ, чтобъ впредь не спотыкаться  
Тебѣ не надо пить“..

— „Эхъ, братецъ, все не то! не надо мнѣ ходить!..

Или вотъ сентенціозная эпиграмма, переведенная Илличевскимъ: <sup>2)</sup>

**Утѣшенный бѣднякъ.**

Ирь въ крайней нищетѣ клялъ свой ужасный вѣкъ.  
Тутъ добрый человѣкъ надъ Иромъ сжался вчужѣ:  
„Что жъ“—утѣшалъ его—„вѣдь, бѣдность не порокъ.  
— „То правда, но гораздо хуже!..

Эта же эпиграмма переведена дядей Пушкина—В. Л. Пушкинымъ <sup>3)</sup>.

Цѣль эпиграммъ Понса была, впрочемъ, не въ сентенціяхъ, не въ осмѣяніи слабостей вѣка,—онъ желалъ быть просто забавнымъ и затрагивалъ тѣ сюжеты, которые, по какой бы то ни было причинѣ, могли развеселить современниковъ. Не былъ онъ ни сатирикомъ, ни памфлетистомъ, а просто чи-

<sup>1)</sup> 1816—1818 гг. Изд. сочин. Д. Давыдова (Сѣверъ), I томъ, стр. 44. P. de-Verdun „L'ivrogne logicien“.

<sup>2)</sup> Almanach des Muses 1728 года, стр. 76, „La reponse trop vraie“.

<sup>3)</sup> Сочиненія В. Л. Пушкина, ред. В. Саятова, стр. 94 «Справедливый отвѣтъ».

стой воды юмористомъ. Желалъ онъ доставить читателю просто, такъ сказать, физическое наслажденіе шутливости.

Различіе между эпиграммами Руссо и Понса велико, несмотря на общность жанровъ. Я не буду говорить о формѣ, у Руссо обычно строго-выдержанной, у Понса же достаточно вольной (въ смыслѣ стихосложенія); Руссо гораздо шире, чѣмъ Понсъ, пользовался указаніями теоріи словесности. У него мы встрѣтимъ, хотя и въ ограниченномъ количествѣ эпитеты, онъ любитъ аллегоріи, въ его эпиграммахъ частые параллелизмы; не то Понсъ, дающій только голый анекдотъ. Въ лучшемъ случаѣ, онъ одаряетъ дѣйствующихъ лицъ не эпитетами, а именами, причеъ ничего и никого не характеризующими; по крайней мѣрѣ, переводчики, не стѣняясь, замѣняли эти имена другими (какъ того рѣзма потребуеть), и эпиграмма отъ того ничего не теряла. У Понса поэтому мы встрѣчаемъ злоупотребленіе діалогической формой. Иной разъ, вся эпиграмма—діалогъ, притомъ происходящій внѣ времени и пространства. Руссо же, наоборотъ, всегда заботился, такъ сказать, о локализациі своихъ анекдотовъ, намѣчая, хотя и очень кратко, декорацію дѣйствія. Какъ было показано, Пушкинъ теоретически примыкалъ къ Руссо; на практикѣ же онъ былъ ближе къ непритязательному Понсу.

Пушкину мальчишество и шаловливость Понса были весьма по душѣ. Не мало-ли у него эпиграммъ, точно подходящихъ къ только что цитированному. Если у Пушкина и имѣются эпиграммы близкія къ Руссо, то больше эпиграммъ, напоминающихъ Понса. Правда, мы читаемъ:

„Движенья нѣтъ“, сказалъ мудрецъ брадатый;  
Другой смолчалъ и сталъ предъ нимъ ходить.  
Сильнѣе-бы не могъ онъ возразить:  
Хвалили всѣ отвѣтъ замысловатый.  
Но, господа, забавный случай сей  
Другой примѣръ на память мнѣ приводитъ:

Вѣдь каждый день предъ нами солнце ходитъ,  
Однакожь правъ упрямый Галилей.

(Движеніе—1825 г.).

Это — изъ школы Руссо. Для Понса это матерьялъ двухъ эпиграммъ. Для него совсѣмъ неважно сопоставлять первый анекдотъ съ правотой или неправотой „упрямага Галилея“, дѣлать какіе-бы то ни было выводы или заключенія. Но зато у Пушкина-же мы читаемъ и эпиграммы такого рода:

„Скажи, что новаго?“—Ни слова.  
Не знаешь-ли, гдѣ, какъ и кто?“  
О, братецъ! отвяжись: я знаю только то,  
Что ты дуракъ, но это ужъ не ново.

Это чрезвычайно напоминаетъ эпиграммы изъ *Almanach des Muses*. Или вотъ другая эпиграмма того-же года (1816).

„Больны вы, дядюшка? Нѣтъ мочи,  
„Какъ беспокоюсь я! три ночи,  
„Повѣрьте, глазъ я не смыкалъ!“  
— Да, слышалъ, слышалъ: въ банкъ игралъ.

Напомню также стихи тѣхъ-же лѣтъ: „Истина“, „Она“, „Завѣщаніе“. И это не было временнымъ увлеченіемъ юности. Уже при полномъ развитіи таланта Пушкинъ писалъ такіе-же стихи. Такъ, напр. въ 1830 году написано:

Глухой глухого звалъ къ суду судьи глухова,  
Глухой кричалъ: моя имъ сведена корова  
„Помилуй, возопилъ глухой тому въ отвѣтъ  
Сей пустошью владѣлъ еще покойный дѣдъ“  
Судья рѣшилъ: Почто итти вамъ братъ на брата  
Ни тотъ и ни другой, а дѣвка виновата“<sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Эту эпиграмму сближаютъ со стих. Pelisson'a (1624—1693) „Les trois sourds“. Слѣдуетъ отмѣтить, что стихотвореніе это фигурируетъ въ сборникѣ конца XVIII в., иногда анонимно. См., напр., *Nouvelle Bibliothèque de ville et de compagne. Poésies diverses t. II 1788 p. 262.*

Достаточно сопоставить эти Пушкинские образцы эпиграмматической сказки съ эпиграммами Руссо, съ одной стороны, и со стихами Понса — съ другой, чтобы ясно увидѣть, какъ далека, въ сущности, была Пушкинъ по духу отъ перваго и близка ко второму. Эпиграммы Руссо, даже тогда, когда онъ хотѣлъ просто забавлять, написаны въ строгой формѣ, сугубо стилизованнымъ языкомъ. Для нихъ онъ выводилъ въ боевомъ порядкѣ всю артиллерію своей техники, и если на дѣлѣ онѣ, быть можетъ, и давались ему легко, то на нихъ лежитъ какая-то внутренняя печать трудолюбія. Для объясненія эпиграммъ ему пришлось воскрешать полузабытаго Маро, говорить о его стихосложеніи и настроеніи. Слишкомъ много дисциплины для такого легкаго жанра; и его эпиграммы были дѣйствительно „Ахилловымъ копьемъ“, какъ ихъ характеризовалъ Лебренъ.

Съ другой стороны — просто безшабашный „пирующій студентъ“ Понсъ, который своею юностью покорялъ критическія претензіи строгихъ цѣнителей. И Пушкину эта безпринципность была ближе профессорской указки Руссо. Последняго Пушкинъ бралъ въ учителя, Понса же — въ товарищи. Врядъ-ли онъ могъ сказать, гдѣ-нибудь, про Понса, какъ про Руссо — „онъ былъ образцомъ въ эпиграмматической сказкѣ“. Сдѣлать изъ Понса образцоваго, серьезнаго писателя — значить отнять у него всю прелесть безпретенціозности, непритязательной непосредственности. И къ Понсу вполне применимъ Пушкинскій критерій юмора: „... смѣшнѣе, слѣдственно полезнѣе для здоровья“ (отзывъ о поэмѣ В. Майкова „Елисей, или раздраженный Вакхъ“).

Имя Понсъ де Верденъ, нигдѣ не упомянуто Пушкинымъ. А между тѣмъ писатель этотъ, уже изъ за достаточнаго количества переводовъ, не могъ быть неизвѣстнымъ Пушкину. Да кромѣ того, съ Понсомъ у Пушкина имѣется нѣкоторая фактическая связь, на которую и укажемъ, ибо она, до сихъ поръ, нигдѣ никѣмъ не отмѣчена.

Въ Almanach des Muses 1782 года Pons de Verdun помѣстиль слѣдующую эпиграмму:

**Epigramme.**

Certain Auteur qu'aucuns nomment la Rode,  
au Dieu des vers voulant faire sa cour,  
par un exprès lui fit porter un jour  
deux Drames noirs, accompagnées d'une Ode.  
Le blond Phebus, si-tôt qu'il les eut lus,  
dit à l'exprès: quel âge a ce Poëte?  
— „Quinze ans, seigneur—Quinze ans!..—„Oui, tout au plus.  
— Eh bien! repond Apollon, qu'on le fouette.

Прочитируемъ ее въ переводѣ В. Л. Пушкина <sup>1)</sup>, помѣщенномъ въ „Лонидахъ“ 1789 года:

Какой-то стихотворъ (довольно ихъ у насъ)  
Послалъ двѣ оды на Парнассъ.  
Онъ въ нихъ описывалъ красу природы неба,  
Цвѣтъ *розо-желтый* облаковъ,  
Шумъ листьевъ, вой звѣрей, ночное пѣнье совъ,  
И милости просилъ у Феба.  
Читая, Фебъ зѣвалъ и наконецъ спросилъ  
„Какихъ лѣтъ стихотворецъ былъ  
„И оды громкія давно-ли сочиняетъ?  
— „Ему пятнадцать лѣтъ!—Ерата отвѣчаетъ.  
„Пятнадцать только лѣтъ? — „Не болѣе того!  
„Такъ розгами его!..

Я думаю, вы уже узнали начало эпиграммы Пушкина на Надеждина (1829 г.):

Мальчишка Фебу гимнь поднесъ:  
„Охота есть, да мало мозгу.  
А сколько лѣтъ ему, вопросъ?“  
Пятнадцать. — Только то. „Эй розгу!“

---

<sup>1)</sup> Соч. В. Л. Пушкина, подъ ред. В. Саятова, стр. 55.



Это бросает нѣкоторый свѣтъ на то, какъ смотрѣли на эту эпиграмму современники, видѣвшіе, что она не во всемъ оригинальна. Пушкинъ въ ней напоминалъ объ извѣстной уже эпиграммѣ, и, какъ стихъ изъ Руссо, прилагалъ ее къ данному случаю <sup>1)</sup>).

Въ 1829 году Пушкинъ уже не былъ ни „подражателемъ холоднымъ“, ни „переводникомъ голоднымъ“. Напоминалъ онъ объ эпиграммѣ Понса просто какъ объ общеизвѣстной пословицѣ, какъ о ходячемъ анекдотѣ. То, что онъ привелъ его, лишь доказываетъ, что Понсъ еще не былъ забытъ въ Россіи въ эти годы, и столкновеніе Феба съ мальчишкой вошло въ литературную мифологію времени <sup>2)</sup>).

Разстанемся на этомъ съ Понсомъ. вмѣстѣ съ тѣмъ и наша тема болѣе или менѣе исчерпана.

Мы видѣли три различныхъ момента французской юмористической поэзіи XVIII вѣка, мы видѣли, что съ каждымъ изъ нихъ у Пушкина имѣется какая-нибудь связь. Мы видѣли вмѣстѣ съ тѣмъ, что Пушкинъ сталкивался съ этими поэтами не въ минуты созданія обезсмертившихъ его произведеній, а скорѣе въ часы отдыха, въ часы забавъ и развлеченій, которыя также дороги и драгоцѣнны для насъ — почитателей великаго русскаго поэта, какъ дорогъ и драгоцѣненъ каждый лучъ всеозаряющаго и побѣднаго солнца.

**Александръ Поповъ.**

---

<sup>1)</sup> Гаевскій въ одной изъ своихъ статей о Пушкинѣ упомянулъ, будто эта эпиграмма написана Пушкинымъ на дядю Василія Львовича, въ отвѣтъ на его эпиграмму, обращенную къ племяннику, гдѣ Фебъ тоже приговариваетъ къ розгамъ 15-лѣтняго стихотворца. Поправку къ этому странному предположенію находимъ у Ефремова, который справедливо замѣчаетъ, что «конечно В. Л. Пушкинъ не могъ написать эпиграмму на неродившагося еще племянника, ибо она была напечатана въ 3-й книгѣ «Аонидъ» 1798 года, а поэтъ родился въ маѣ слѣдующаго года». Что касается до перевода Вас. Льв., то В. Сантовъ сопровождаетъ его слѣдующимъ замѣчаніемъ: „Французскимъ оригиналомъ этой пьесы воспользовался впоследствии и А. С. Пушкинъ для одной изъ своихъ эпиграммъ на Надеждина“. Однако оригинала—Pons'a de Verdun—онъ не называетъ.

<sup>2)</sup> Ср. эпиграмму Боратынскаго „Идилликъ новый на искусство“ (1827 года), которая является какъ бы продолженіемъ эпиграммы Pons'a de Verdun. (см. Сочиненія Боратынскаго—ред. Божерянова—т. I—стр. 76).

## Программа драмы А. С. Пушкина о паписсѣ Іоаннѣ.

*(Къ исторіи недовершеннаго замысла).*

Въ тетради Московскаго Румянцевскаго музея № 2384, л. 23, мы находимъ схематическіе наброски драмы, сюжетомъ которой явилась средневѣковая легенда о паписсѣ Іоаннѣ:

„Acte I. La papesse-fille d'un honnête artisan, étonné du son savoir. La mère vulgaire n'y voyant rien de bon. Gilbert (отецъ) invite un savant à venir voir sa fille—le prodige de famille. Préparatifs où la mère est seule à faire tout. Jeanne devant St. Simon. Le savant (le démon de savoir) arrive au milieu de tout ce monde invité par Gilbert. Il ne parle qu'avec Jeanne et s'en va. Comméragage des femmes- joie du pere- soucis et orgueil de la fille. Elle fait tout pour aller en Angleterre étudier à l'université.

Acte II. Jeanne à l'université sous le nom de Jean de Mayence. Elle se lie avec un jeune gentilhomme espagnol (amour, jalousie, duel-en récit). Jeanne soutient une these et est fait docteur. Jeanne prier d'un couvent; règle austère qu'elle y établit. Les moines se plaignent. Jeanne à Rome; cardinal. Le pape meurt; elle est faite pape.

Acte III. Jeanne commence à s'ennuyer. Arrive l'ambassadeur d'Espagne- son condisciple; leur connaissance. Elle le menace de l'Inquisition et lui d'un éclat. Il pénètre jusqu'à elle. Elle devient sa maitresse. Elle accouche entre le Colisée et le couvent de... Le diable l'emporte.

Si c'est un drame, il rappellera trop le Faust; il vaut mieux en faire un poëme dans le style de Christabel ou bien en octaves“.

Не установленъ пока ни источникъ — внѣшній стимуль програмнаго замысла, ни психологическій императивъ обращенія поэта къ опредѣленной фабулѣ забытаго апокрифа. Невольный вопросъ о характерѣ извнѣ воспринятыхъ Пушкинымъ элементовъ легенды получаетъ своеобразное освѣщеніе въ „готической славѣ“ ея судьбъ.

Вводя преданіе, часто относимое къ половинѣ IX столѣтія, въ грани его исторической среды, мы съ упоминаніемъ о паписсѣ встрѣтимся впервые въ неизданномъ сочиненіи Стефана Бурбонскаго „De septem donis spiritus“<sup>1)</sup>: „Въ 1100 году, какъ говорятъ хроники, случилась чудная, даже безумная дерзость. Какая то женщина, образованная и опытная въ искусствѣ писать, облачившись въ мужскую одежду и выдавая себя за мужчину, прибыла въ Римъ, и здѣсь, какъ за свою дѣятельность, такъ и за образованіе, была сдѣлана сперва нотаріемъ куріи, затѣмъ, по наущенію дьявола, кардиналомъ, наконецъ папой. Идя въ процессіи уже беременной, она родила. Когда римская юстиція узнала это, паписса за ноги привязана была къ ногамъ лошади, такимъ образомъ вытащена за городъ и въ полумили отъ него побита народомъ камнями; она была погребена на томъ-же мѣстѣ, гдѣ и умерла, а на камнѣ, надъ ней положенномъ, писанъ былъ стихъ:

Parce pater patrum papisae prodere partum“<sup>2)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Греф. Бурб. ум. въ 1261 г.; значит. части его трактата ар. Echard, „Sancti Thomae summa s. auctorii vindicata“, Paris. 1708, и въ „Scriptores ordinis Praedicatorum, v. I.

<sup>2)</sup> ар. Echard, *смп.* 568—: „Accidit autem mirabilis audacia, imo insana circa an. dom. M. C. ut dicitur in chronicis. Quaedam mulier literata et in arte notandi edocta, adsumto virili habitu et virum se fingens, venit Romam, et tam industria, quam literatura accepta, facta est notarius curiae, post diabolo procurante cardinalis, postea papa. Haec impraegnata cum ascendeter, peperit. Quod eum novisset Romana justitia, ligatis pedibus ejus ad pedes equi distracta est extra urbem, et ad dimidiam leucam a populo lapidata, et ubi fuit mortua, ibi fuit sepulta et super lapidem super ea positum scriptus est versiculus: „P.p.p.p.p.p.“.

Разсказъ Стефана, равно какъ и его произведеніе, не былъ извѣстенъ въ массовомъ обиходѣ среднихъ вѣковъ. Сказка о паписсѣ получила право гражданства въ немъ только тогда, когда ее прочли въ хроникѣ, обошедшей Европу во множествѣ списковъ, читаемой всѣми, и въ уваженіи современниковъ и довѣрии потомства снискавшей авторитетъ неизблемой исторической истины. Это была „*Chronica summorum pontificum imperatorumque ad se septem aetatibus mundi*“, составленная Мартиномъ Полякомъ (Martinus Polonus) во второй половинѣ XIII вѣка <sup>1)</sup>: „Послѣ Льва возсѣдалъ Іоаннъ Англичанинъ, уроженецъ города Майнца, 2 года, 5 мѣсяцевъ, 4 дня,—и умеръ. Этотъ папа, какъ утверждаютъ, былъ женщиной; въ свои юные годы отвезена она была какимъ-то любовникомъ въ преславный градъ Лейны, гдѣ оказала такіе успѣхи въ наукахъ, что не находила себѣ равнаго, такъ что позже, поучая въ Римѣ, великихъ учителей дѣлала своими учениками и слушателями. Въ этомъ городѣ она приобрѣла въ послѣдствіи такое значеніе, что единогласно избрана была въ папы. Во время своего папства она забеременѣла отъ одного изъ приближенныхъ... идя изъ храма Св. Петра въ Латеранъ, въ узкой улицѣ между Колизеемъ и церковію Св. Климента родила, тотчасъ же умерла и тамъ же, какъ говорятъ, была погребена“ <sup>2)</sup>.

Въ этомъ видѣ преданіе тотчасъ-же подхватывается, повторяется, возбуждая различныя ассоціаціи дополняется и

---

<sup>1)</sup> Какъ выяснилъ Cave (*De scriptor. eccles. London 1688, v. 1*), разсказъ о паписсѣ неизвѣстно кѣмъ былъ вставленъ уже по смерти автора основного свода.

<sup>2)</sup> „*Post Leonem Iohannes Anglicus natus Maguntinus sedt annis II, mensibus quinque et diebus IV, et mortuus est. Qui, ut asseritur, femina fuit et aetati puellari a quodam suo amasio in clarissimam urbem Athenis ducta, ubi tantum in literarum studiis profecit, ut nullus par sibi inveniretur, adeo ut postea Romae legens magnos magistros-discipulos et auditores habuerit. Et eadem urbe postea tantam auctoritatem assecuta est, ut in papam concorditer eligeretur. Sed in papatu per quaendam familiarem impraegnata... cum de S. Petro in Lateranum procederet, angusta via Coliseum inter et S. Clementis ecclesiam peperit; et statim mortua ibidem, ut dicitur, sepulta fuit*“.

становится уже традицией литературной истории. Ибо звеньями одной мифотворческой цепи были указания на паписсу Geofroi de Courlon'a, Бернарда Гвидонского въ его „Flores chronicozum“ (1311 г.), Лео Орвиетского <sup>1)</sup>, Иоанна Парижского <sup>2)</sup>, Зигфрида Мейссенского <sup>3)</sup>, Оккама <sup>4)</sup>, Ранульфа Higden'a, грека Варлаама <sup>5)</sup>, Амальриха Аугерия <sup>6)</sup>, Боккачю — въ его „De casibus virozum et feminarum illustrium“ и въ „De mulieribus claris“, I. Гуса — въ трактатъ „De ecclesia“, 7, Петрарки — въ „Chronica delle vite de Pontefici“ и мн. др.

Параллельно съ псевдо-исторической интерпретаціей легенды, соблазвившись таинственной обстановкой ея, продолжала свою работу народная фантастика. Ожививъ разсказъ мѣстными вставками, испещривъ эпизодическія детали его она преданіе осложнила нравственно-религіозной проблемой: къ моменту развязки паписсъ представленъ выборъ — позоръ публичныхъ родовъ, мукъ земныхъ, — или вѣчное осужденіе за гробомъ. И она, согласно вполнѣ съ народнымъ созерцаніемъ, выбираетъ первое <sup>7)</sup>).

Постепенно заглушая основной мотивъ преданія, эта моральная тенденція ярко сказалась въ послѣдней ставкѣ на фабулу творческаго гения среднихъ вѣковъ. Въ пестрой ткани римскаго анекдота Дитрихъ Шернбергъ обрѣлъ апокрифическій смыслъ мистеріи — „Apotheosis Johannis VIII pontificis romani. Ein schön Spiel von fraw Jutten welche babst zu Rhom gewesen und aus ihrem bäbstlichen scrinio pectoris auff dem Stuel zu Rhom ein Kindlein zeuget“, разрѣшивъ ее въ паѳосъ всепрощенія, устами Христа:

<sup>1)</sup> Lami, Deliciae eruditorum, Florent. 1737, p. 143.

<sup>2)</sup> Memoriae historiarum, ap. Duchesne, Scr. rer. Franc., I, 128.

<sup>3)</sup> „Chronicon univers“, ap. Fabricius, Orig. stirpis Saxon., Ienae.

<sup>4)</sup> „De potestate eccles. et seculari“, ap. Goldast, Monarchia, I.

<sup>5)</sup> „De papae principatu“, cap. IV, p. 120.

<sup>6)</sup> „Actus pontif. Roman“, ap. Muratori, III, 2.

<sup>7)</sup> „Mirabilia urbis Romae“, Hemmerlin — „Dialogus de nobil. et rusticis“, — 1597 г., f. 99; Florimond de Remond — „Erreur populaire de la papesse Jeanne“, — 1599 г., ch. XXIII, n. 3, f. 429.

„Und was du gethan hast in deinem leben,  
Das sol dir all sein vergeben...  
Du bist aus sorgen genesen  
Und solt mit mir in ewigen freuden wesen“.

Въ статикѣ традиціоннаго фона сюжета народная фантастика выдвинула и новую динамическую силу—волю дьявола,— все совершается „procurante diabolo“. Не разграничивъ еще науки и чародѣйства, народъ именно вмѣшательствомъ ада объяснилъ непостижную ученость женщины-папы.

Этапы вѣковыхъ наслоеній легенды всю роль свободного вымысла сводятъ къ необычному духовному росту паписсы въ сознаніи массъ <sup>1)</sup>: долгое время она только „in arte potandi edocta“, нѣсколько позже—изучаетъ философію въ Аѳинахъ, наконецъ, появляется въ Римѣ, гдѣ „великихъ учителей дѣлаетъ своими учениками и слушателями“. Въ началѣ XV вѣка уже точно знаютъ, гдѣ учила паписса,—Дитрихъ Нимскій указываетъ на St. Maria Scholae Graecorum <sup>2)</sup>, ту самую, гдѣ нѣкогда былъ Св. Августинъ. Слѣды вѣрованій въ ученость ея доходятъ до позднѣйшаго времени <sup>3)</sup>: когда въ требникахъ римской церкви было уничтожено нѣсколько предисловій, прежде въ нихъ помѣщавшихся,—это объяснили ихъ принадлежностью Іоаннѣ <sup>4)</sup>. Чѣмъ разительнѣй и опредѣленнѣй становился умственный обликъ паписсы, тѣмъ ярче отбѣялся сокровенно-мистическій смыслъ легендарной фабулы: въ тяжкихъ мукахъ земнаго страданія искупилась призрачная сила знанія—орудіе дьявола.

Претворенія начальной схемы легенды въ „хронологической пыли“ завершены уже въ русской литературной исторіи—

---

<sup>1)</sup> См. I. v. Königshofen „Cronica von der hilliger Stat Coellen“, 1499 г.; „Histor. theolog. Zeitschrift“, 1844 г., 2—Kist „Die Pāpstin Johanna“; Ioh. Ios. v. Döllinger „Die Papstfabeln des Mittelalters“, 1863, s. 18.

<sup>2)</sup> Gregorovius, III, 126.

<sup>3)</sup> В. Бильбасовъ „Паписса Іоанна“, Труды Кіев. Дух. Акад., 1871, кн. I, стр. 85—143.

<sup>4)</sup> Maresius, Iohanna papissa restituta, p. 17.

програмнымъ замысломъ Пушкина. Въ галлерей его женскихъ портретовъ образъ паписсы не стоитъ одиноко: „съ своей пылающей душой, съ своими бурными страстями“, она лишь замыкаетъ художественный циклъ женщинъ новаго типа—бѣгло очерченныхъ обликовъ 30-хъ годовъ. Въ будняхъ петербургскаго „свѣта“, въ анналахъ исторіи и въ анекдотахъ прошлаго—поэта начинаетъ занимать одинъ и тотъ-же психологическій типъ, прямо противоположный стихійно безсознательной силѣ обычныхъ его героинь. „Грѣшная дѣва“ Полтавы съ ея „неженскою душой“, Клеопатра „Египетскихъ ночей“, севильская графиня „Пажа“<sup>1)</sup>, силуэтъ Юдиѳи<sup>2)</sup>, Полина—съ грядущимъ ея протестомъ и пылкимъ вызовомъ— „Я не признаю уничиженія, къ которому принуждаютъ насъ. Посмотри на *M-me de Staal*... А Шарлотъ Кордэ? А наша Марѳа Посадница? А княгиня Дашкова?“—естественнымъ и неизбѣжнымъ дѣлають проявленіе творческаго интереса поэта къ миѳу о паписсѣ.

Элементы художественнаго воспріятія фабулы сочетаніемъ своимъ дали новую варіацію ея неумирающаго мотива.

Въ своеобразной формѣ выполненія съ трудомъ поддается уясненію роль извнѣ шедшихъ вліяній, и лишь матеріаль бібліотеки поэта бросаетъ слабый свѣтъ на источники программы. Естественно, они были французскими, — о чемъ властно напоминаетъ какъ французскій текстъ набросковъ, такъ и французская транскрипція „*la rapesse*“ вмѣсто обычной „*rapissa*“. Сохранилась въ бібліотекѣ Пушкина трехтомная „*Histoire de la Rapaute*“ М. Henrion'a<sup>3)</sup>, вышедшая въ Парижѣ въ 1832 году. Въ единственно цѣликомъ имъ разрѣзанномъ томѣ ея, именно въ первомъ, рассматривая (на страницахъ 233—240) дѣятельность Іоанна VIII, его сла-

<sup>1)</sup> „Она строга, властолюбива,  
Но я дивлюсь ея уму...“

(„Пажъ, или пятнадцатый годъ“).

<sup>2)</sup> „Когда владыко ассирійскій...“

<sup>3)</sup> Библ. Пушкина, № 980.

бость и преступную снисходительность въ дѣлѣ патріарха Фотія, Henrion предлагаетъ въ этихъ недостаткахъ видѣть основаніе для будущей басни о женщинѣ-папѣ (... *Complaisance, qui a fait penser au cardinal Baronius que le trop facile Pontife etoit femme, d'où seroit venue la fable de la Papesse Jeanne*). Въ глухомъ указаніи Henrion'a на легенду напрасно было бы искать какихъ нибудь фактическихъ данныхъ ея, и только хронологическая близость „*Histoire de la Papauté*“ къ замыслу Пушкина позволяетъ учесть ея возможное значеніе въ его непосредственномъ обращеніи къ преданію.

Второе указаніе, имѣющее уже прямое отношеніе къ фрагментамъ Пушкинской программы, даетъ намъ книга А. Loeve-Weimars'a, хорошо извѣстнаго поэту еще въ началѣ 30-хъ годовъ своими переводами Гофмана <sup>1)</sup>. Впослѣдствіи, когда „Веймарскій Левъ“ — (какъ иронизировалъ кн. Вяземскій) <sup>2)</sup> появился въ Петербургскихъ салонахъ, Пушкинъ перевелъ для него лѣтомъ 1836 года нѣсколько народныхъ пѣсенъ <sup>3)</sup>, а баронъ эти невскія встрѣчи скоро помянулъ въ некрологѣ „*Journal des Débats*“ <sup>4)</sup>.

Въ своемъ популярномъ „*Résumé de l'histoire de la littérature allemande* (Paris, 1826), нашедшемъ мѣсто и въ библиотекѣ Пушкина <sup>5)</sup>, Лове-Веймаръ (на страницахъ 117—120) сжато передалъ сюжетъ мистеріи XV вѣка о паписсѣ Юттѣ.

Оставшись совершенно чуждымъ историко-психологическимъ перспективамъ легенды, онъ оживилъ въ памяти современниковъ основные моменты ея:

„*Cet ouvrage n'est pas, comme on pourrait le croire, une satire dirigée contre la fameuse papesse Jeanne, mais une tragédie pompeuse dans le goût du temps, mêlée de traits*

<sup>1)</sup> Библ. Пушкина, № 996, № 997, № 998; Переписка П., III, стр. 48.

<sup>2)</sup> Въ письмѣ отъ 29 іюня 1836 г. къ Тургеневу, Рус. Арх., 1900, стр. 380.

<sup>3)</sup> Рус. Арх. 1885 г., № 3, стр. 451—460.

<sup>4)</sup> Перепеч. въ „*Allgemeine Zeitung*“ отъ 12 марта 1837 г., № 113—114; Рус. Стар. 1900 г. № 1, стр. 77.

<sup>5)</sup> Библ. П., № 1109.



comiques empruntés à la vie de la célèbre papesse, un tableau de sa mort, de ses tourmens dans le purgatoire, et de sa mort, de ses tourmens dans le purgatoire, et de sa réception dans le ciel après l'expiation de ses péchés. Vingt cinq personnages figurent dans cette tragédie; parmi eux se trouvent huit démons et *Lilli* <sup>1)</sup>, la mère du diable, trois anges, la sainte Vierge, le Rédempteur lui-même... et la Mort. La scène est tantôt sur la terre, tantôt dans l'enfer, le purgatoire et le ciel. La première scène se passe dans les régions infernales: les diables tiennent conseil, et forment le projet d'inspirer à la jeune Jutta l'idée d'un grand attentat contre le christianisme; le projet s'exécute aussitôt. Jutta et son amant, un clerc, comme on le nomme dans la pièce, vont à Paris; Jutta, vêtue des habits de clerc, se livre avec ardeur à l'étude de la théologie, et suit les leçons des maîtres fameux. Toutes ces choses se passent en peu de scènes. Les amans retournent à Rome. Jutta devient cardinal, et, dans la scène suivante, obtient la tiare... Cette élection inouïe produit une vive sensation dans le ciel. Le Christ annonce sa résolution de venger cette abominable profanation. Un ange est député vers la papesse, pour lui demander si elle préfère une damnation éternelle à une honte passagère dans le monde; Jutta promet de s'amender, mais la Mort s'attache dès ce moment à elle; après avoir longtemps combattu, la papesse succombe dans une grossesse, et le démon de l'impénitence emporte son âme dans l'enfer..."

Въ схемѣ Леве Веймара нѣтъ тѣхъ реминисценцій начальной фабулы, которыя кой-гдѣ проскальзываютъ у Пушкина („Jean de Mayence“, „Angleterre“..., „elle accouche entre le Colisee et le couvent“...). Но несложную топографію преданья могли подсказать поэту и „дней минувшихъ анекдоты отъ Ромула до нашихъ дней“ и словарныя данныя любой энциклопедіи. Отсутствіе болѣе значительнаго матеріала под-

---

<sup>1)</sup> Курсивъ Леве-Веймара, р. 117.

тверждаетъ, между прочимъ, и то, что, назвавъ мѣсто трагической развязки — Колизей, Пушкинъ затруднился указать собственное имя монастыря: „elle accouche entre le Colisee et le couvent de...“.

Въ разработкѣ деталей реально-житейской канвы, въ художественной рамкѣ бытового узора, Пушкинъ далъ лишь эпизодическіе контуры, очень важные для характеристики его творческихъ приѣмовъ, но нисколько не показательные для характера будущей драмы. Вѣрность преемственному канону формы, такъ рельефно проходящая чрезъ Пушкинскія заимствованія, не могла оставить его въ узкихъ граняхъ едва намѣченной драматической коллизіи. При всей тягѣ поэта къ конкретному и земному, императивную силу канона сохраняла для него мистерія Шернберга—въ передачѣ Леве-Веймара, и только въ ней отчасти найдутъ разрѣшеніе загадочныя строки наброска: „Si c'est un drame, il rappellera trop le Faust“.

Финальный аккордъ программы, невольнo создающій ассоціацію съ твореніемъ Гете, долженъ быть отнесенъ не къ реальнымъ слѣдамъ оставшейся схемы, но къ неосуществленнымъ итогамъ начальнаго замысла. Какъ бы въ параллель къ программной ремаркѣ, Пушкинъ въ томъ же 1833 году дѣлаетъ аналогичное замѣчаніе: „Байронъ въ своемъ Манфредѣ... ослабилъ духъ и формы своего образца (т. е. Фауста)“<sup>1)</sup>. Сопоставленіе вскрываетъ внутренній смыслъ Пушкинскихъ представлений. Въ символической инсценировкѣ Манфреда и дѣйства о паписсѣ онъ увидѣлъ общія съ откровеніемъ Гете — „формы“: „Прологъ въ небесахъ“ Фауста, „Огненная сфера, окруженная духами“ (2-ое дѣйствіе, ц. IV) — Манфреда, „La premiere scene se passe dans les regions infernales, les diables tiennent conseil“ etc.—мистеріи, (гдѣ даже намекъ на Лилитъ, въ связи съ явленіемъ Вальпургіевой ночи, получаетъ уже особое значеніе)—достаточно говорятъ

<sup>1)</sup> [О сочиненіяхъ П. А. Катенина], Пушкинъ, ред. С. А. Венгерова т. V, стр. 228.

за то, что въ сознаниі поэта были не эпизодическіе наброски его плана, а контуры легенды въ изложеніи Леве Веймара.

Драматическое раскрытіе міа, посвященіе чрезъ мистическое дѣйство въ тайны интеллекта и судьбы бытія, общая концепція „Vom Himmel durch die Welt zur Hölle“ — вотъ творческая сфера взаимодействія и источники загадочнаго сравненія.

Анализъ внѣшней схемы будущей драмы привелъ „выскательнаго художника“ къ Фаусту. Къ тому же „Фаусту“, правда—въ субъективномъ постиженіи его Пушкинымъ,— поэтъ вела не только мозаическая декоративность сюжета, но и органическая цѣльность идеи недовершеннаго образа. Въ міровой трагедіи индивидуальнаго духа съ необычной чуткостью воспринялъ Пушкинъ одну только ноту—безсиліе знанія въ разрѣшеніи повседневныхъ исканій, банкротство умственныхъ цѣнностей въ человѣческихъ достиженіяхъ:

Перестань,  
Не растравляй мнѣ язвы тайной.  
Въ глубокомъ знаньи жизни нѣтъ—  
Я проклялъ знаній ложный свѣтъ.

(„Сцена изъ Фауста“).

Въ „Манфредѣ“, такъ часто и упорно имъ сближаемомъ съ „Фаустомъ“<sup>1)</sup>,—та же поэтическая формула:

„Познанье—скорбь, и кто всѣхъ больше знаетъ,  
Тѣмъ горше плакать долженъ, убѣдившись,  
Что древо знанія—не древо жизни“<sup>2)</sup>

---

1) „Въ Манфредѣ онъ подражалъ Фаусту“—1827 г. (т. IV, стр. 500).

„Фаустъ тревожилъ воображеніе творца Чайльдъ Гарольда“—(мелкія замѣтки 30—31 годъ) т. V, стр. 11.

„Байронъ въ своемъ Manfred'ѣ... ослабилъ духъ и формы своего образа“ 1833 г. (т. V, стр. 228).

2) Дѣйств. I, сц. I, перев. Кн. Д. Цертелева, Байронъ, т. II, стр. 49.

Въ драматическихъ фрагментахъ Пушкина проблема эта отражена рядомъ намековъ: „La papesse-fille d'un honnête atrisan, *étonne du son savoir*“..., „Le savant (*le démon de savoir*) ne parle, qu'avec Jeanne“..., „Jeanne soutient une these et est fait docteur“..., „Jeanne prieur d'un couvent; règle austère qu'elle y établit“... и пр. Въ строгомъ подчиненіи закону непрерывнаго развитія, какъ сила движущая и творящая, обнаружень огромный запасъ умственныхъ цѣнностей,—но въ глубокомъ знаньи *жизни* нѣтъ—и „Jeanne commence à s'enpuier“ <sup>1)</sup>).

Трагическая несоизмѣримость духовныхъ благъ съ ритмомъ жизни, скука, — какъ припѣвъ бытія, — гасить въ ней то „неустанное стремленье“, которое, спасаетъ Фауста; гнетущее ощущеніе космической пустоты, нарушивъ психическій миръ паписсы, и выдвигаетъ мотивы легендарной развязки....

Разойдясь съ народной трактовкой сюжета, уловивъ лишь „изъ рода въ роды звукъ бѣгущей“ призрачной мощи „знанія“ въ рассказѣ о *женщинѣ*-папѣ, Пушкинъ только намѣтилъ бытовой узоръ его эпизодовъ. Имѣя въ виду не самое преданіе,—канонической формой котораго для него было изложеніе Леве-Веймара, — онъ своей ремаркой: „Si c'est un drame, — il rappellera trop le Faust“ — намъ далъ ключъ не только къ уясненію причинъ недовершенія замысла, но и къ пониманію психологическихъ стимуловъ своего обращенія къ опредѣленной исторической фабулѣ.

Юліанъ Оксманъ.

---

<sup>1)</sup> Ср. „Фаустъ.—Мнѣ скучно бѣсъ.

Мефистофель.—Что дѣлать, Фаустъ!

Таковъ вамъ положень предѣлъ,

Его-жъ никто не преступаетъ—

Вся тварь разумная скучаетъ“...

„Скучно, моя радость! Вотъ припѣвъ моей жизни“ (Переписка П., т. I, стр. 87).

„Тебѣ скучно въ Петербургѣ, а мнѣ скучно въ деревнѣ. Скука есть одна изъ принадлежностей мыслящаго существа“ (Переписка П., т. I, стр. 220).

**Лѣтопись Пушкинскихъ  
Семинаріевъ.**



# СПИСОКЪ

участницъ Пушкинскаго Семинарія при Петроградскихъ Высшихъ (Бестужевскихъ) женскихъ курсахъ (1910—1914 г.).

ФАМИЛІЯ и друг. свѣдѣнія.	ИМЯ и ОТЧЕСТВО.	Гдѣ кончила гимназію.	Годъ посту- пленія на курсы.	Годъ по- ступленія въ семи- нарію.
<b>Абраменко,</b>	В. А.		1909	1910-11- 12-13
<b>Абрамова,</b>	А.		1909	1910-11- 12-13
<b>Автономова,</b> дочь священника.	Елена Павловна.	Донское епарх. учил.	1912	1913—14
<b>Адвокатова,</b>	Варвара Петровна.	Черниговъ.	1909	1913—14
<b>Александрова,</b>	Марія Григорьевна.	Енисей.	1910	—
<b>Алексѣва,</b>	Зинаида Михайловна.		—	1913—14
<b>Алексѣва,</b>	Ольга Ивановна.		—	1910
<b>Алексѣва,</b> дочь свящ., р. 1891 г.	Валентина Федоровна.	Тверь.	1912	—
<b>Алехина,</b> д. личн. поче. н. гражд.	Софія Васильевна.	Курскъ.	1911	1913—14
<b>Амасійская,</b>	Валентина Васильевна	Смоленскъ.	1911	1913—14
<b>Андреева,</b>	Вѣра Васильевна.	Смоленскъ.	1909	1913—14
<b>Антонова,</b> д. учит.	Валентина Петровна.	Алатырь.	1910	1913—14
<b>Арефьева,</b>	Клавдія Михайловна.	Южновъ.	1912	1913—14
<b>Ашмарина,</b>	З. А.		1911	1912—13
<b>Бабичъ,</b>	Анна Леонтьевна.		—	1913—14
<b>Бажина,</b>	М. А.		1909	1910
<b>Балтина,</b>	Л. И.		1909	1910—13
<b>Баракчіянь,</b>	Г. А.		1909	1912—13
<b>Баранова,</b> д. чи- новн., жена офиц.	Валентина Николаевна	Ташкентъ.	1912	1912—13
<b>Баранова,</b> д. офиц.	Елена Петровна.	Н.-Новгородъ.	1910	1912—13
<b>Бартольдъ,</b>	Вѣра Леопольдовна.	Баку (з. св. Нины)	1913	1912—13
<b>Безель,</b>	Гертруда Вильгельм.	Петроградъ.	1912	1912—13
<b>Бирзнекъ,</b>	Ольга Абрамовна.		1909	1910—13
<b>Бирюкова,</b>	Пелагія Яковлевна.	Рыльскъ.	1911	1910—14

ФАМИЛІЯ и друг. свѣдѣнія.	ИМЯ и ОТЧЕСТВО.	Гдѣ кончила гимназію.	Годъ посту- пленія на курсы.	Годъ по- ступленія въ семи- нарій.
Благовѣщенская, Богданова, Богинина, Боголюбская, Болдырева, Болотова,	Наталья Димитріевна. Надежда Григорьевна. Клавдія Михайловна. Марія Андреевна. Наталья Васильевна. Г. П.	Петроградъ. Великіе Луки.	1912 1911 1908	1910 1913—14 1910 1910
Борисовская, Бочарова, родил. 1886 г. Булгакова,	Вѣра Владиміровна. Марія Васильевна. К. Г.		1910 1911 1908	1913—14 1913—14 1911—12 1913
Булгакова, Буличъ, дочь проф. Быкова, р. 1894 г.	Лидія Викторовна. С. Сергѣевна. Марія Павловна.		1909 1910 1912	1910—13 1912—13 1913—14
Вангенгеймъ, Ванденко, Вареникова, Васильчикова- Буранова,	Ольга Θεодосьевна. Неонилла Николаевна. Наталья Петровна. А. П.	Ставрополь.	1911 1911 1907	1910 1913—14 1913—14 1912—13
Васнецова, Ваулина, Венгерова, дочь проф. р. 1895 г. Вейспагъ, р. 1891 Виноградова, Вишневская, Вишневская, Володина, Войнова, дворян. Вьюгова, д. фельд- шера.	Барвара Николаевна. Лидія Сергѣевна. Евгенія Семеновна. Ольга Викентьевна. Зинаида Львовна. А. Я.	Вятка (Еп. уч.) Москва. Петроградъ. Рига. Вѣлый.	1911 1913 1912 1911 1911 1909	1913—14 — 1913—14 1913—14 1913—14 1913—14
А. М. Ольга Ивановна. Екатерина Терентьев. Августа Алексѣевна.	А. М. Ольга Ивановна. Екатерина Терентьев. Августа Алексѣевна.	Орелъ. Курскъ.	1893 1911 1910	1910 1913—14 1913—14 1913—14
Гальперинъ, дочь врача.	Надежда Исааковна.		1908	1910
Гальперинъ, Гальперинъ, дочь врача.	Н. С. Софія Исааковна.		1908	1912—13
Георгіевская, Гинсъ, Глаголева, р. 1892	Глафира Ивановна. Нина Константиновна. Хіонія Николаевна.	Екатеринодаръ (Епарх. учил.)		1913—14 1910 1913—14
Гогоберидзе, Головина, Горбачева, Горіонова, Гревсъ, Грекъ, д. надв. сов.	Елена Давидовна. О. Г. П. И. Валентина Васильевн. Н. Д. Барвара Васильевна.	Саратовъ. Шацкъ.	1908 1909 1911 1909 1911	1913—14 1911—12 1911—12 1913—14 1911—12 1913—14



ФАМИЛІЯ и друг. свѣдѣнія.	ИМЯ и ОТЧЕСТВО.	Гдѣ кончила гимназію.	Годъ посту- пления на курсы.	Годъ по- ступления въ семи- наріи.
Гречинская, Гречишина, Гривцова, Громковская, Гурова, д. учителя Гугуа,	Т. В. Н. В. Елизавета Александр. Нина Николаевна. Наталья Спиридоновна В. Э.	Ревель. Пенза.	1909 1909 1911 1909	1911—12 1911—12 1913—14 1913—14 1913—14 1911—12
Дагаева, д. купца, р. 1892 г. Дано, р. 1888 г. Дебольская, Джананова, род. 1894 г. Дзabanовская, д. пот. поч. гражд. род. 1893 г. Добреянова, Довбенко, Дронникова, Дубянская, Дубянская, род. 1891 г. Дьяконова, Дьячкова,	Софія Кузьминишна. Людмила Амвросіевна. Александра Дмитриевна. Марія Феодоровна. Анна Алексѣевна.	Ливны. Кишиневъ. Болгарія. Умань.	1910 1909 1912 1911	1913—14 1910
Елецкая, Емельянова, Еремѣва, Ермакова, родил. 1890 г. Жарева, Живописцева, Жиркова Жукова, Жукова,	Софія Петровна. Феодосія Леонидовна. Клавдія Степановна. Ефросинья Павловна. Лидія Семеновна. Елизавета. Кира Васильевна. Александра Ивановна. Анна Николаевна	Петрозаводскъ. Новозыбковъ. Бахмутъ. Устюгъ. Рыбинскъ.	1911 1911 1911 1911 1912 1911 1913 1911	1913—14 1913—14 1913—14 1913—14 1914 1913—14 1913—14 1913—14
Заборовская, Зальбергъ, Зайцевская, Зборовская, Зимина, Зинченко, Знаменская, Золотоверхова, Зыбина, Иванова, Иванова,	М. А. А. М. Елизавета Александр. Марія Мечиславовна. П. И. Наталья Николаевна. О. А. Евдокія Кузьминишна. Нина Сергѣевна. А. И. Любовь Александр.	Тифлисъ. Петрозаводскъ.	1907 1908 1912 1909 1908 1912 1912 1913	1912—13 1912—13 1913—14 1912—13 1912—13 1913—14 1912—13 1913—14 1913—14 1912—13 1910—11

ФАМИЛІЯ и друг. свѣдѣнія.	ИМЯ и ОТЧЕСТВО.	Гдѣ кончила гимназію.	Годъ посту- пленія на курсы.	Годъ по- ступленія въ семи- наріи.
Игнатьева, родил. 1892 г.	Ольга Васильевна.	Казань.	1911	1913 -14
Измайлова, была 3 года учитель- ницей.	Лидія Константиновна	Тверь (Еп. уч.)	1911	1913 --14
Измайлова, дочь чиновника, род. 1888 г.	Зинаида Савватъевна.	Ковно.	1913	1913 -14
Ильина, крест. Индра, Итина, р. 1895 г.	Евгенія. А. Ѳ. Фаина Лазаревна.	Хвалынскъ. Уфа.	1912 1911 1912	1913—14 1912—13 1913—14
Кадомцева, Казимиръ, Казьмина, Калашникова, Кальтенбергъ, Каминка, д. проф. Капустина, Капустина, Кашеварова, Кислицина, Кислицина, Климова, Ковалевская, Ковалевская, Коганъ, Коганъ, Кожевникова, Колачева, Колесова, Колесникова, кре- стьянка	Прасковья Александр. Л. І. Марія Ивановна. Любовь Кузьминишна. Р. А. Елена Августовна. Е. Ѳ. Марія Владиміровна. Ольга Григорьевна. А. Г. Елена Григорьевна. Л. Н. О. М. Софія Ѳедоровна. Д. И. Марія Хаимовна. Поликсена Никол. Анна Андреевна. А. И. Прасковья Ефимовна.	Ананьевъ. Петроградъ Таганрогъ.	1908 1908 1911 1909 1913 1910 1912 1911 1910 1909 1911 1907 1910 1912 1909 1912	1910—11 1912—13 1913—14 1913—14 1910—11 1913—14 1912—13 1913—14 1913—14 1914 1910—11 1910—11 1910—11 1913—14 1911--12 1913—14 1910 1913—14 1912—13 1912—13 1913 --14
Колобова, д. про- тоіерея.	Нина Михайловна.			1912—13
Коловская, Колчинская,	Мелитина Александр. Хана-Гольда Аронъ- Зусьева.		1908	1910 1911—12
Комарницкая, Кондратьева, Коновалова, род. 1890 г.	Екатерина Григорьев. Е. Г. Іустина Андреевна.	Кишиневъ. Курганъ.	1910 1912	1913—14 1913—14
Коноплева, Корвинъ-Красин- ская, дворянка	В. А. Наталья Александр.	Гомель.	1911	1913—14
Кочемасова, Кретъ. р. 1896 г. Кречманъ, д. воен. врача	Марія Васильевна. Надежда Артемьевна. Анна Юльевна.	Псковъ. Кременчугъ.	1912 1914 1912	1913—14 1914 1913—14
Крылова, дочь чи- новника	Марія Петровна.	Бѣльскъ.	1910	1913—14

ФАМИЛІЯ и друг. свѣдѣнія.	ИМЯ и ОТЧЕСТВО.	Гдѣ кончила гимназію.	Годъ посту- пленія на курсы.	Годъ по- ступленія въ семи- нарій.
<b>Крюкова,</b>	Н. А.		1909	1912—13
<b>Куличкина,</b>	Апполинарія Андреев.	Новочеркасскъ.	1911	1913—14
<b>Ламская,</b> д. свящ.	Софія Михайловна.	Козловъ.	1909	
<b>Ламская,</b> д. свящ.	Зинаида Михайловна.			
<b>Ландебергъ,</b> род. 1890 г.	Лидія Сергѣевна.	Одесса.	1911	1913—14
<b>Лебединець,</b>	Екатерина Моисеевна.			1913—14
<b>Лебедева,</b>	Е. Д.			1912—14
<b>Левская,</b>	Вѣра Тимофѣевна.			1910
<b>Ленкова,</b>	Евгенія Николаевна.			1913—13
<b>Леоновичъ,</b>	Марія Ивановна.			1910
<b>Лизункова,</b>	Т.		1912	1914
<b>Лобанова,</b>	Марія Ивановна,		1911	1913—14
<b>Ломейеръ,</b> д. нота- ріуса, жена чи- новника	Маргарита Леонидов.	Каменецъ-По- дольскъ (Юрид. фак. В. Ж. К.).	1909	1913—14
<b>Лопатина,</b>	Екатерина Александр.	Минскъ.	1912	1913—14
<b>Лощкарева,</b>	Наталья Дмитріевна.		1912	1913—14
<b>Луканина,</b> дочь купца р. 1892 г.	Валентина Григорьев.	Бійскъ.	1911	1913—14
<b>Лукашина,</b> д. пот. поч. гражд.	Ольга Ивановна.	Петроградъ.	1910	1913—14
<b>Лунева,</b>	Марія Митрофановна.		1909	1910
<b>Любимова,</b> родил. 1892 г.	Любовь Петровна.	Ростовъ на Дону (мужск. 8 кл. уч.)		1913—14
<b>Люмина,</b>	Марія Михайловна.		1912	1913—14
<b>Лягошина,</b>	Н. П.			1910
<b>Лятковская,</b>	Ольга Антоновна.		1908	1910
<b>Макарова,</b>	П. С.		1910	1912—13
<b>Максимова,</b>	Анна Яковлевна.			1913—14
<b>Малоземова,</b>	М. О.		1908	1912—13
<b>Мамонтова,</b> дочь священника.	Марія Ивановна.	Гомель.	1911	1913—14
<b>Маняхина,</b>	Анна Ивановна.	Борисоглѣбскъ.	1909	1913—14
<b>Маркалева.</b>	Евфросинья Корнел.		1911	1913—14
<b>Масленникова,</b> р. 1892 г.	Екатерина Сергѣевна.	Царское Село.	1912	1913—14
<b>Матвѣева,</b>	Нина Александровна.		1910	1910
<b>Мелконова,</b> дочь чиновника родил. 1892 г.	Ашхенъ Моисеевна.	Елизаветполь.	1910	1913—14
<b>Милева,</b> д. купца р. 1892 г.	Лидія Александровна.	Петроградъ.	1912	
<b>Михайлова,</b> род. 1890 г.	Софія Михайловна.	Тифлисъ.	1910	1913—14
<b>Михайлова-Вѣр- ная,</b>	Евгенія Николаевна.			1910—14
<b>Михайлова,</b> (ур. Кочура)	Любовь Михайловна.		1907	1912—13

ФАМИЛИЯ и друг. свѣдѣнія.	ИМЯ и ОТЧЕСТВО.	Гдѣ кончила гимназію.	Годъ посту- пленія на курсы.	Годъ по- ступленія въ семи- наріи.
<b>Михайлова,</b> <b>Михова,</b> <b>Мрозовская,</b> <b>Мумжіева,</b> <b>Муриносонъ,</b> <b>Мутенко,</b> <b>Мышкина,</b> родил. 1892 г.	Л. М. Надежда Ивановна. Янина Максимиліан. Стефанида Ильинишн. Марія Залмановна. Елена Георгіевна. Валентина Петровна.	Кишиневъ. Красноуфимскъ. Болградъ. Черниговъ. Глазовъ.	1908 1911 1911 1911 1910 1912 1912	1911—12 1913—14 1913—14 1913—14 1913—14 1914 1913—14
<b>Наговицина,</b> <b>Напольская,</b> <b>Насонова,</b> мѣщ. <b>Нетудыхата,</b> дочь крестьян.	Зоя Васильевна. Агнія Николаевна, Евпраксія Васильевна. Прасковья Петровна.	Арзамасъ. Елисаветградъ.	1912 1912 1912 1911	1913—14 1913—14 1913—14 1913—14
<b>Нечаева,</b> <b>Никифорова,</b> <b>Никифорова,</b> <b>Николаевская,</b> д. дѣлопр. уѣздн. з. упр. р. 1893 г.	Ольга Павловна. Надежда Констант. Анна Ильинишна. Неонила Ивановна.	Нижній-Новгор. Островъ. Великіе Луки. Херсонъ.	1912 1911 1911 1911	1913—14 1913—14 1913—14 1913—14
<b>Никольская,</b> <b>Новицкая,</b> <b>Носова,</b>	Елизавета Николаев. П. П. П. П.	Вятка (еп. уч.)	1911  1909	1913—14 1910 1912—13
<b>Образцова,</b> <b>Ончукова,</b> <b>Опокина,</b> <b>Орлова,</b> мѣщанка р. 1888 г.	Надежда Михайловна. Ольга Михайловна. Н. А. Олимпиада Павловна.	Грязовецкъ. Красноярскъ.  Ревель.	1912 1911  1912	1913—14 1913—14 1910—13 1913—14
<b>Орлова,</b> <b>Орлова,</b> <b>Орнатская,</b> д. над- ворн. совѣтн.	Вѣра Алексѣевна. Е. А. Лидія Ивановна.	Петроградъ.	1908  1912	1910 1910 1913—14
<b>Осипова,</b> д. дѣй- ствит. ст. сов.	Вѣра Константиновна.		1912	1913—14
<b>Павлова,</b> д. учит. <b>Палицина,</b> д. свящ. <b>Паршина,</b> р. 1888 г. <b>Пашканъ,</b> <b>Пацинина,</b> <b>Перминова,</b> <b>Петерсъ,</b> <b>Петрова,</b> <b>Писная,</b> <b>Питиримова,</b> кр. р. 1890 г.	Ольга Дмитриевна. Наталья Александр. Елизавета Алексѣевн. Е. Ольга Александровна. Нина Гавриловна. Ольга Леопольдовна. А. И. В. Н. Анастасія Никитишна.	Старая Русса. Воронежъ. Бахмутъ.  Нерехта.  Виндава.  Уржумъ.	1912 1911 1909 1913 1910 1908 1908 1909 1911 1912	1913—14 1913—14 1913—14 1914 1913—14 1910—13 1913—14 1912—13 1912—13 1913—14
<b>Подгоринова,</b> р. 1895 г. <b>Подольская,</b>	Антонина Ѳедоровна. Марія Тимофѣевна.	Верхне-Удинскъ.	1913	1913—14 1910

ФАМИЛІЯ и друг. свѣдѣнія.	ИМЯ и ОТЧЕСТВО.	Гдѣ кончила гимназію,	Годъ посту- пленія на курсы.	Годъ по- ступленія въ семи- нарій.
<b>Покровская,</b>	Клавдія Ивановна.		1910	1910
<b>Полевая,</b> казачка	Софія Герасимовна.	Глуховъ.	1910	
<b>Поликарпова,</b>	Лидія Николаевна.		1909	1910—13
<b>Половинкина,</b>	К. П.		1909	1912—13
<b>Полозова,</b>	Надежда Ивановна.	Ярославль.	1912	1913—14
<b>Полтева,</b>	К. И.		1909	1911—12
<b>Померанцева,</b>	О. И.		1909	1912—13
<b>Попова,</b>	Н. И.		1909	1912—13
<b>Потапова,</b>	М. Г.		1909	1910—13
<b>Поташева,</b> д. преп. мужск. гимназіи	Вѣра Михайловна.	Бобровскъ.	1910	1913—14
<b>Преображенская,</b>	Зинаида Ивановна.	Вѣлозерскъ.	1912	1913—14
<b>Псарева,</b>	Лидія Семеновна.	Курскъ.	1911	1913—14
<b>Пуховицина,</b>	Елизавета Ивановна.		1912	1913—14
<b>Пшеничная,</b>	Анна Николаевна.	Славянскъ.	1912	
<b>Пылаева,</b> д. свящ.	Елена Александровна.	Старая Русса.	1912	1913—14
<b>Пѣтухова,</b>	Тамара Николаевна.	Уфа	1912	1913—14
<b>Рабиновичъ,</b>	С. I.		1910	1912—13
<b>Раевская,</b> родил. 1892 г.	С. И.	Старобѣльскъ.	1911	1913—14
<b>Рафтопулло,</b>	Е. П.		1908	1912—13
<b>Рексъ,</b>	Калерія Николаевна.	Никольскъ- Уссурійскъ.	1912	1913—14
<b>Рентусъ,</b>	Елизавета Алексѣевна.			1913—14
<b>Рейнбахъ,</b>	Наталья Яновна.	Пятигорскъ.	1912	1913—14
<b>Родзянко,</b>	Раиса Алексѣевна.			1910
<b>Рождественская,</b>	М. А.		1909	1912—13
<b>Романадъ,</b>	Евгенія Эмануиловна.		1909	1910—13
<b>фонъ-Рухтетель,</b>	Лидія Александровна.	Царское Село.	1912	1913—14
<b>Рулева,</b>	Анна Степановна.	Пенза.	1910	
<b>Рюмина,</b>	Екатерина Ермолаев.	Курскъ.	1913	1913—14
<b>Сагайдачная,</b>	Юліана Ивановна.	Бердянскъ.	1913	
<b>Сазонова,</b>	Евгенія Васильевна.			1913—14
<b>Сазонова,</b> д. ге- нерала, р. 1886 г.	Валентина Воиѣат.	Петроградъ.	1913	1913—14
<b>Саксъ-Галина,</b>				1910
<b>Сафарьянъ,</b>	А. А.		1909	1911—12 1913
<b>Сафарьянцъ,</b> кр.		Тифлискъ.	1909	1913—14
<b>Сгибнева,</b> родил. 1891 г.	Марія Васильевна.	Рязань.	1912	1913—14
<b>Селиванова,</b>	Александра Ивановна.			1913—14
<b>Сервиругъ,</b>	Н. И.		1908	1912—13
<b>Сергіева,</b> д. свящ.	Надежда Михайловна.	Вятка (Еп. уч.).	1913	1913—14
<b>Сергіевская,</b>	А. С.		1909	1912—13

ФАМИЛІЯ и друг. свѣдѣнія.	ИМЯ и ОТЧЕСТВО.	Гдѣ кончила гимназію.	Годъ посту- пленія на курсы.	Годъ по- ступленія въ семи- наріи.
Сетницкая, дочь старш. ф. инсп.	Марія Алексѣевна.	Петроковъ.	1914	
Сильвестрова, Синицина,	Вѣра Петровна. Н. Н.		1908	1910—13 1910
Слаутинская, дворянка	Анна Дмитріевна.	Майкопъ.	1910	1913—14
Случевская, Смирнова, Смирнова, Смирнова, Смылова, Соболева, Соболева, д. преп. р. 1893 г.	А. Ѳ. Антонина Александр. Э. Н. В. К. А. И. Ольга Владиміровна. Анна Семеновна.	Петроградъ.	1909 1912 1909 1909 1908 1913 1910	1910—13 1912—13 1910—13 1912—13 1910—13 1913—14 1913—14
Соколова, д. свящ. Соколова, Соловьева, Соловьевская, Соприновская- Равва,	Анастасія Николаевна. Т. Ѳ. Вѣра Григорьевна. Лидія Васильевна.	Пенза. Петроградъ.	1910 1909 1912 1910	1913—14 1912—13 1913—14 1913—14 1910
Стеценко, Страдомская, д. протоіерея	Н. И. Наталья Ѳедоровна.	Гомель.	1909 1910	1910—11 1913—14
Страздъ, Строковская,	Надежда Степановна. Ксенія Ивановна.	Вильно.	1912	1913—14 1913—14
Тараева, д. крест. р. 1893 г.	Лидія Анисимовна.	Томскъ.	1911	
Тарасова, Тараховская, Тартаковская, р. 1893 г.	Ольга Ивановна. Анна Абрамовна Елена Александровна.	Шерополицкъ. Таганрогъ. Архангельскъ.	1910 1911 1911	1913—14 1913—14 1913—14
Теръ-Микелянъ, Тимофеевская, жена врача	Софія Гайковна. Елконида Васильевна.	Баку. Харьковъ.	1912 1910	1913—14 1913—14
Тихорская, д. личн. поч. гражд.	Надежда Васильевна.	Саратовъ.	1911	1913—14
Толмакова, Толмачева.	М. М. Марія Александровна.	Царское Село.	1913	1910 1913—14
Травина, Третьякова, двор. р. 1892 г.	Н. А. Ксенія Андреевна.	Минскъ.	1909 1912	1911—12
Третьякевичъ, Тропская, род. 1889 г.	М. М. Марія Никаноровна.	Рыбинскъ.	1909 1912	1911—12 1913—14
Трофимова, Троцкая,	Валентина Николаев. Надежда Дмитріевна.	Кострома.	1909 1912	1910 1913—14

ФАМИЛІЯ и друг. свѣдѣнія.	ИМЯ и ОТЧЕСТВО.	Гдѣ кончила гимназію.	Годъ посту- пленія на курсы.	Годъ въ ступленія въ семи- нарій.
<b>Трухачева, Тукмачева, Тышка,</b>	Е. В.	Кіевъ.	1909	1912—13
	Р. С.		1909	1910—11
	Екатерина Яковлевна.		1912	1913—14
<b>Уварова, Улезко, Успенская, дочь горн. инжен.</b>	Е. А.	Петроградъ (Смольн. инст.)	1908	1911—12
	В. П.		1909	1910—11
	Зоя Васильевна.		1908	1913—14
<b>Феодоровская, д. пот. поч. гражд.</b>	Марія Семеновна.	Харьковъ.	1912	1913—14
	<b>Федоровичъ, дочь учит. гор. учил.</b>	Неонила Алексѣевна.	Минскъ.	1911 1913—14
<b>Фень-Раевская, Филимонова, Форостовская, Фридбергъ,</b>	Нина Стефановна.	Ромны.	1909	1910—11
	В. А.		1909	1912—13
	Е. Г.		1911	1914
	Валентина Іоакимовна.		1911	1913—14
<b>Харченко, р. 1892 г. Холдобина, дочь купца р. 1888 г. Холменко,</b>	Марія Яковлевна.	Новый Осколь.	1910	1913—14
	Марія Сергѣевна.	Курскъ.	1913	— 1913—14
<b>Цитовская, дочь купца р. 1891 г.</b>	Цецилія Ильинишна.	Тула.	1912	1913—14
<b>Чапова, Чернозатинская, Черноусенко, род. 1892 г.</b>	В. В.	Новый Осколь.	1910	1912—13
	К. Д.		1909	1912—13
	Раиса Николаевна.		1910	1913—14
<b>Черняева, Чинаева, Чистякова,</b>	З.		—	1914
	Л. Д.		1909	1912—13
	Л. М.		1908	1910 - 13
<b>Шапиро, Шаховская, княж. Швивъ, род. 1889 г. Шейбухова, Школьникъ, род. 1892 г.</b>	Е. Г.	Весьегонскъ.	1906	1912—13
	А. П.		—	1912—13
	А. С.		1910	1913—14
	Лидія Васильевна.		1911	1913—14
	Евгенія Георгіевна.		1910	1913—14
<b>Шлосбергъ, дочь канд. правъ.</b>	Анна Борисовна.	Петроградъ.	1912	1913—14
<b>Шостакъ, Шрайбергъ, дочь врача</b>	Нина Петровна.	Петроградъ.	1906	1913—14
	Ачна Семеновна.		1912	1913—14
<b>Эльстинъ, Юшканъ, Яськова, Федченко, д. кр.</b>	Эрна Оскаровна.	Великіе Луки.	1912	1913—14
	Е.	Трубчевскъ. Тамбовъ.	—	—
	Вѣра Николаевна.		1911	1913—14
	Елизавета Афанасьев.		1911	1913—14

## СПИСОКЪ РЕФЕРАТОВЪ,

прочтенныхъ участницами Пушкинскаго семинарія при Пет-  
роградскихъ Высшихъ Женскихъ Курсахъ

въ 1911—1915 гг.

Референтка.	З а г л а в і е р е ф е р а т а .	Когда прочтенъ.
<i>Алфіонова</i>	Пушкинъ и декабристы . . . . .	2 апр. 1912 г.
<i>Буданова .</i>	Байронизмъ въ поэзіи Пушкина . . . . .	9 апр. 1912 г.
<i>Булакова</i>	„Вахчисарайскій фонтанъ“ . . . . .	12 марта и 2 апр. 1912 г.
<i>Вишневецкая</i>	Отношеніе Байронизма и Шатобрианства въ поэмѣ Пушкина „Кавказскій плѣнникъ“	5 марта 1912 г.
<i>Гальперинъ, Софья.</i>	„Евгеній Онѣгинъ“, какъ первый бытовой романъ . . . . .	15 окт. 1912 г.
<i>Гинсъ . . . . .</i>	Поэтъ и поэзія въ произведеніяхъ Пушкина	12 нояб. 1912 г.
<i>Горюнова .</i>	„Каменный гость“ . . . . .	9 и 16 февр. 1912 г.
<i>Гревсъ</i>	Пушкинъ, какъ творецъ „маленькихъ трагедій“ . . . . .	11 февр. 1913 г.
<i>Гречинская . . . . .</i>	Пушкинъ на югѣ Россіи . . . . .	31 окт. 1911 г.
<i>Гурова . . . . .</i>	Пушкинъ въ деревнѣ . . . . .	29 окт. 1914 г.
<i>Довбенко . . . . .</i>	Московскія отношенія Пушкина . . . . .	22 апр. 1913 г.
<i>Дьяконова</i>	„Русланъ и Людмила“ . . . . .	10 окт. 1911 г.
<i>Егорова . . . . .</i>	Пушкинъ и декабристы . . . . .	4 марта 1913 г.
<i>Жукова</i>	„Капитанская дочка“ . . . . .	2 и 9 марта 1915 г.
<i>Каминка . . . . .</i>	Лицейскіе годы Пушкина . . . . .	20 янв., 3 и 10 февр. 1914 г.
<i>Кислицина, Елена.</i>	Отношеніе Пушкина къ религіи . . . . .	1 апр. 1913 г.
<i>Ковалевская</i>	„Братья разбойники“ . . . . .	6 и 13 окт. 1914 г.
<i>Коланъ . . . . .</i>	„Цыганы“ . . . . .	1 дек. 1914 г.
<i>Колобова . . . . .</i>	Природа въ поэзіи Пушкина . . . . .	21, 28 янв. и 3 февр. 1913 г.
„ „	Пушкинъ и античность . . . . .	19 дек. (1911 г.) 6 и 31 янв. и 13 февр. 1912 г.
<i>Коновалова . . . . .</i>	„Полтава“ . . . . .	25 февр. 1913 г.
<i>Кречманъ . . . . .</i>	„Вахчисарайскій фонтанъ“ . . . . .	24 марта 1914 г.
<i>Лебедева</i>	Семья и семействен. по произв. Пушкина . . . . .	28 нояб. 1911 г.
<i>Ломейеръ . . . . .</i>	„Борисъ Годуновъ“ . . . . .	14 апр. 1914 г.
<i>Максимова</i>	„Русалка“ . . . . .	8 дек. 1914 г. и 19 янв. 1915 г.
<i>Малоземова . . . . .</i>	Байронизмъ Пушкина . . . . .	23 и 30 янв. 1912 г.
<i>Михова . . . . .</i>	Пушкинъ на югѣ Россіи . . . . .	3 и 10 марта 1914 г.



<i>Писная .</i>	Осень въ жизни Пушкина . . . . .	18 февр. 1913 г.
" " .	Пушкинъ и его отношеніе къ античности .	
<i>Полтева</i>	Стихотворенія Пушкина періода „Зеленой Лампы“ . . . . .	12 марта 1912 г. 20 февр. 1912 г.
<i>Попова . .</i>	Пушкинъ въ критикѣ Бѣлинскаго . . . . .	5 и 12 дек. 1911 г.
<i>Рабиновичъ .</i>	„Борисъ Годуновъ“ . . . . .	26 нояб. 1912 г.
<i>Раевская</i>	„Кавказскій плѣнникъ“ . . . . .	17 окт. 1911 г.
<i>Рамонадъ . . . .</i>	Пушкинъ на югѣ . . . . .	14 и 21 нояб. 1911 г.
<i>Сибнева . . . .</i>	Пушкинъ въ родительскомъ домѣ . . . . .	11 нояб. 1913 г.
<i>Серіевская . . .</i>	Байронизмъ Пушкина . . . . .	20 и 27 февр. 1912 г.
<i>Стеценко</i>	„Цыганы“ . . . . .	6 февр. 1912 г.
<i>Страдъ . . . .</i>	Періодъ „Зеленой Лампы“ . . . . .	2 дек. 1913 г.
<i>Трухачева</i>	Періодъ „Зеленой Лампы“ . . . . .	
<i>Тукмачева</i>	Лицейскій періодъ въ жизни и творчествѣ Пушкина . . . . .	14 нояб. 1911 г. 29 (28?) нояб. 1911 г.
<i>Чинаева . . . .</i>	Пушкинъ на югѣ Россіи . . . . .	27 февр. 1912 г.
<i>Шаховская . . .</i>	Пушкинъ въ деревнѣ . . . . .	5 нояб. 1912 г.
<i>Шлосбергъ</i>	„Бахчисарайскій фонтанъ“ . . . . .	28 марта 1914 г.
<i>Черноусенко</i>	Пушкинъ о поэтѣ и поэзіи . . . . .	28 марта 1914 г.
(?) <sup>1)</sup>	Судьба „Бориса Годунова“ въ русской критикѣ . . . . .	5 марта 1912 г.
(?) <sup>1)</sup>	Родъ Пушкина . . . . .	4 нояб. 1913 г.

<sup>1)</sup> По недосмотру протоколистокъ засѣданій 5 марта 1913 г. и 4 ноября 1913 г., фамиліи референтокъ не были записаны.

## Пушкинскій семинарій при Пеихо-Неврологическомъ Институтѣ

съ 19<sup>10</sup>/<sub>11</sub> по 19<sup>13</sup>/<sub>14</sub> гг.

Въ началѣ 19<sup>10</sup>/<sub>11</sub> учебнаго года проф. *С. А. Венеровымъ* былъ объявленъ семинарій по Пушкину для слушателей *Основнаго факультета* Института. Участвовать въ занятіяхъ выразило желаніе болѣе 100 человекъ, состоялось одно организаціонное собраніе, на которомъ былъ выбранъ постоянный секретарь семинарія, онъ же и бібліотекаръ нарождающейся бібліотеки. Профессоръ намѣтилъ рядъ темъ, разобранныхъ участниками семинарія, и слѣдующія два собранія посвятилъ „Введенію въ изученіе Пушкина“. Постѣ Рождества научной работы въ семинарії не было, какъ не было ее и въ Институтѣ ввиду возникшихъ студенческихъ безпорядковъ.

Въ 19<sup>11</sup>/<sub>12</sub> году занятія начались въ концѣ октября вслѣдствіе перехода Института во вновь отстроенныя собственныя зданія. Пушкинскій семинарій рѣшено было перенести на *педагогическій* факультетъ словесно-историческаго отдѣленія, такъ какъ семинарій ставилъ себѣ цѣлью не только общее знакомство съ произведеніями и біографіей поэта, но углубленіе знаній по Пушкину, что на основныхъ, общеобразовательныхъ курсахъ достигъ было затруднительно. Такое рѣ-

шеніе не препятствовало занятіямъ студентовъ другихъ факультетовъ, и двери семинаріа широко были открыты для всѣхъ желающихъ.

Тогда то и началась правильная академическая жизнь семинаріа. Проф. С. А. Венгеровымъ была предложена программа занятій и темы для рефератовъ, напечатанная въ № 12 (отъ 20 ноября 1911 г.) „Листка студентовъ психо-неврологовъ“ (перепечатаны въ № 1 „Пушкиниста“, стр. 212—222). Засѣданія происходили еженедѣльно по два часа, о порядкѣ дня доводилось до свѣдѣнія участниковъ особыми объявленіями и оповѣщеніями въ студенческихъ органахъ Института—„Листкѣ“ и „Откликахъ Нашей Жизни“. Активныхъ и постоянныхъ участниковъ въ три послѣдніе года было около 30, но нѣкоторыя засѣданія собирали аудиторию, превышавшую 100 человекъ.

Болѣе дѣятельное участіе въ семинаріи принимали:

Абрамишвили М. В., Ароновичъ А. М. (издатель и сотр. студ. газ. „Отклики Нашей Жизни“), Березинъ П. И. (секретарь семинаріа съ осени 1913 г.) г-жа Брансбургъ С. Ю., г-нъ Вейсъ Э. К., Виноградова З. И., Власкинъ Н., Воскресенскій М. М., Врублевская Н. И., Гребенщиковъ П. И. (библіотекаръ словесно-ист. отд. съ 1913 г.), г-жа Гурари М., Державинъ Н. А., (сотр. „Истор. Вѣстн.“ и провинц. газ.) Докинъ Б. А., Ильинская О. П., Юффе Е. Л., Казазаевъ, Казанскій К. Н., Котетишвили В. И., г-жа Либерсонъ М., Малевичъ Ю. Г., Месянъ Г. М., (армянск. педагогъ, беллетр. и поэтъ-авторъ поэмы „Зари“ Тифлисъ 1911, сказки „Мудрый волъ“ и др.), Митропольскій К., Никольская В., Орловъ Н., Осмоловскій А. Г., Падучевъ В. П., (сотр. студ. газ. „Отклики Нашей Жизни“ и провинц. газетъ), Платоновъ Н. И., Поляковъ А. С., (секретарь семин. и библиотек. словесно-истор. отд. съ 1910—1913 г., сотр. „Пушкинъ и его современн.“ „Русск. Библ.“ и др., библиографъ), Портнова Ф. И., Рабиновичъ І. Я. (пишетъ подъ псевд. „О. Ларинъ“, сотр. „Русск.

Молвы“ „Современника“, „Завѣтовъ“ „Сѣв. Записокъ“ и др.); Роговъ В. С., Топоркова М. В., (напечатала статью въ „Вѣстн. психологіи“), Ховина-Вороновская О. М., (изд. и сотр. альман. „Очарованный Странникъ“), Цикуленко Е., Членовъ М. Н., (сотр. моск. газетъ), Чумбуридзе Г. А., (сотр. грузинск. изд. „Сахалхогазети“, „Колхида“, „Теми“), Яковлевъ К. Г. (сотр. „Орловск. Епарх. Вѣд.“ и „Орловск. Вѣстн.“), Яблонская, Ф. В., Ярмагаянъ Е. С. (сотр. студ. газ. „Отклики Нашей Жизни“ и южныхъ газетъ).

Читали доклады слѣдующія лица:

Въ 1911 году, Яковлевъ К. Г. — 16 ноября — „Родъ Пушкин-ныхъ“.

„ Поляковъ А. С.—7 декабря—„П. въ родитель-скомъ домѣ“.

Въ 1912 году, Рабиновичъ І. Я.—25 янв., 29 февр., 7 марта „Пушкинъ въ лицеѣ и его лицейскія сти-хотворенія“.

„ Власкинъ Н. — 14 марта — „Періодъ зеленой лампы“.

„ Ховина-Вороновская О. М.—4 апрѣля—„Сти-хотворенія періода зеленой лампы“.

Ярмагаянъ М. С.—11 апрѣля—„Русланъ и Люд-мила“.

„ Поляковъ А. С.—11 апр.—„Пушкинъ и Пнинъ“.

„ Портнова Ф. И. — 10 октября — „Кавказскій плѣнникъ“.

„ Поляковъ А. С.—31 октября—„Братья раз-бойники“.

„ Гурари М.—въ ноябрѣ—„Бахчисарайскій фон-танъ“.

„ Брансбургъ С. Ю.—5 декабря—„Байронизмъ Пушкина“.

Либерсонъ М.—12 декабря—„Взглядъ П. на призваніе поэта“.

- Въ 1913 году, Топоркова М. В.—23 января—„Пушкинъ и декабристы“.
- „ Казазаевъ,—30 января—„Капитанская дочка“.
- „ Осмоловскій А. Г.—5 Февраля—„Моцартъ и Сальери“.
- „ Гребенщиковъ П. И.—въ февралѣ—„Пушкинъ на югѣ Россіи“.
- „ Малевичъ Ю. Г.—13 ноября—„Взглядъ Пушкина на призваніе поэта“.
- „ Платоновъ Н. И.—20 ноября—„Родъ Пушкиныхъ“.
- „ Членовъ М. Н.—27 ноября „Пушкинъ въ Лицеѣ“. 1)

Нѣкоторые изъ докладовъ появились въ печати. Такъ, докладъ А. С. Полякова „Пушкинъ и Пнинъ“ напечатанъ въ XVII—XVIII вып. „Пушкинъ и его современники“, а „П. въ родительскомъ домѣ“ помѣщенъ въ выдержкахъ (псевд. „А. Ундорскій“) въ газетѣ „Мстинская волна“ за 1912 г. №№ 310 — 314; выдержки изъ доклада І. Я. Рабиновича (О. Ларина) „Пушкинъ въ Лицеѣ“ напечатаны въ „Современникѣ“ за 1912 г.

Семинаріи имѣлъ постоянного секретаря. Кромѣ него, на каждое засѣданіе выбирался отдѣльный секретарь, на обязанности котораго лежало составленіе, часто очень детальныхъ и пространныхъ, протоколовъ, хранящихся въ библіотекѣ словеснаго факультета.

Библіотека по Пушкину начала организоваться вмѣстѣ съ семинаріемъ, т. е. съ 1910 г., когда было отпущено Институтомъ на покупку книгъ 75 р.; въ 1911 г. сумма была увеличена до 315 р. Въ первые годы книги приобрѣтались только по Пушкину. Удачная покупка у букинистовъ, даръ

---

<sup>1)</sup> Списокъ рефератовъ не полонъ, потому что нѣкоторые протоколы не были доставлены. Очень желательны дополненія, которыя могутъ быть напечатаны въ ближайшихъ томахъ „Пушкиниста“,

Императ. Акад. Наукъ, пожертвованія проф. С. А. Венгерова, Р. В. Иванова-Разумника, Н. И. Коробки и другихъ лицъ доставили начинающимъ заниматься всѣ необходимыя пособія по Пушкину. Въ 1912 г. библиотекъ словесно-историческаго отдѣленія было ассигновано слишкомъ двѣ тысячи рублей и дано отдѣльное помѣщеніе. Библиотека организована по типу заграничныхъ семинаріевъ. Всякій желающій заниматься получаетъ особую карточку на право входа. Книги на домъ не выдаются, и каждый членъ семинаріа пользуется ими только въ помѣщеніи библиотеки, доставая самъ съ полокъ всѣ необходимыя при работѣ пособія.

*А. Поляковъ.*

# ЛѢТОПИСЬ ЗАНЯТІЙ

въ Пушкинскомъ Семинаріи при Петроградскомъ  
Университетѣ.

II.<sup>1)</sup>

1913—1915.

№ по порядку.	День засѣданія.	Докладчикъ.	Предметъ доклада и занятій.
<b>1913 г.</b>			
80	26 сентября	С. А. Венгеровъ.	О работахъ семинарія въ текущемъ году.
81	3 октября	С. А. Венгеровъ.	Введеніе въ изученіе жизни, творчества и текста Пушкина.
82	10 октября	С. А. Венгеровъ.	Введеніе въ изученіе Пушкина (продолженіе).
83	24 октября	С. А. Венгеровъ.	Введеніе въ изученіе Пушкина (продолженіе).
84	31 октября	С. А. Венгеровъ.	Введеніе въ изученіе Пушкина (окончаніе).
85	28 ноября	А. С. Поляковъ. Гольдфайнъ.	Пушкинъ и Пнинъ. Кавказскій плѣнникъ.
/ 86	5 декабря	Н. Измайловъ.	Кружокъ Московскихъ шеллингянцевъ и его отношеніе къ Пушкину.
<b>1914 г.</b>			
✓ 87	17 января	Н. Измайловъ.	Кружокъ шеллингянцевъ и Пушкинъ (продолженіе).
✓ 88	23 января	Н. Измайловъ.	Кружокъ шеллингянцевъ и Пушкинъ (окончаніе).
89	6 февраля	С. А. Венгеровъ.	Планъ составленія Пушкинскаго словаря.
90	20 февраля	Ю. Н. Тыняновъ.	Каменный гость.

<sup>1)</sup> См. „Пушкинисть“, т. I.

№ по порядку.	День засѣданія.	Докладчикъ.	Предметъ доклада и занятій.
91	27 февраля	М. I. Лопатто.	Проблема „Мѣднаго Всадника“.
92	6 марта	А. А. Поповъ.	Вопросъ о принадлежности Пушкину 4-хъ сомнительныхъ стихотвореній (Современникъ, 1862 г. № 1; Московскій Вѣстникъ 1828, № 16).
✓ 93	20 марта	Ю. Г. Оксманъ.	Фрагменты драмы о паписсѣ Іоаннѣ.
94	25 сентября	С. А. Венгеровъ.	Разъясненіе темъ для рефератовъ.
✓ 95	2 октября	Ю. Г. Оксманъ.	Къ исторіи текста романа о Рыцарѣ Бѣдномъ.
96	9 октября	В. П. Драгановъ.	Эпиграммы Пушкина на Фотія и на Орлову.
✓ 97	16 октября	Н. В. Яковлевъ.	Пушкинъ и Вильсонъ.
✓ 98	23 октября	Н. В. Яковлевъ.	Пушкинъ и Вильсонъ (продолженіе).
✓ 99	30 октября	Н. В. Яковлевъ.	Анализъ и оцѣнка „Пира во время чумы“ Пушкина (продолженіе).
✓ 100	6 ноября	Н. В. Яковлевъ.	Анализъ „Пира во время чумы“ (продолженіе).
101	13 ноября	В. Прянишниковъ.	Русалка.
102	20 ноября	Д. И. Выгодскій.	Фонетическій анализъ „окончанія“ Русалки сравнительно со-стихомъ Пушкина.
103	27 ноября	Г. В. Масловъ.	Разборъ архитектоники и стиха „окончанія“ „Русалки“, сравнительно съ подлинными произведеніями Пушкина.
104	4 декабря	Г. В. Масловъ.	Разборъ „окончанія“ Русалки (окончаніе). Общія пренія по реферату.
<b>1915 г.</b>			
✓ 105	22 января	Н. В. Яковлевъ.	Источники „Пира во время чумы“ (окончаніе). Общія пренія.
106	29 января	К. Львовъ.	К. Ѳ. Рылѣвъ.
✓ 107	5 февраля	Ю. Г. Оксманъ.	Строфы Пушкина о дождѣ и догарессѣ.
✓ 108	12 февраля	С. М. Бонди.	Новыя строки изъ „Домика въ Коломнѣ“.
109	26 февраля	С. А. Венгеровъ.	Памяти Ѳ. Корша.
		М. I. Лопатто.	Стилистическій анализъ Пушкинской прозы
110	5 марта	М. I. Лопатто.	Анализъ Пушкинской прозы (окончаніе). Пренія по реферату.



№ по порядку.	День засѣданія.	Докладчикъ.	Предметъ доклада и занятій.
111	9 апрѣля	Н. В. Яковлевъ. Г. А. Елачичъ. Ю. Г. Оксманъ. А. А. Тамамшевъ. А. С. Поляковъ. Г. В. Масловъ.	<i>Засѣданіе Семинарія въ честь исполнившагося 60 л. со дня рожденія проф. С. А. Венгерова.</i> Пушкинъ и В. Корнуэлль. Стихотворные переводы изъ Корнуэлля. Мнимыя стихотворенія Пушкина (см. № 92). Неизданныя письма В. Одоевскаго къ В. Теплякову. Языковъ и цензура. О стихотвореніи „Она“ Е. Баратынскаго. „Современникъ“ Пушкина.
112	16 апрѣля	И. Евдокимовъ.	
113	7 мая	Г. В. Масловъ.	Цезура въ Пушкинскомъ пятистопномъ ямбѣ.

## ВТОРОЙ СПИСОКЪ <sup>1)</sup>

участниковъ Пушкинскаго Семинарія при Петроградскомъ университетѣ (1913-1915).

\* поставлена при именахъ лицъ, причастныхъ къ литературной и научной дѣятельности.

**\*Азадовскій**, Маркъ Константиновичъ, р. 5 дек. 1888; ок. Иркутскую гимн. въ 1907, Петроградскій ун. въ 1913; ост. при унив. по кафедрѣ рус. слов.; чл. Имп. Рус. Геогр. Общ., археологъ. Сotr. „Живой Стар.“ („Заговоры Амур. казаковъ“) и Сибирскихъ изд.

**Александровъ**, Стефанъ Александровичъ, с. чиновника, р. 20 авг. 1896; ок. 1 Омскую гимн.; въ ун. 1914; въ семин. 1914.

**Андреевъ**, Сергѣй Влад. Въ Пушк. сем.. 1915.

**Балухатый**, Сергѣй Дмитриевичъ, р. 12 марта 1892; ок. Таганрог. гимн.; въ ун. 1912; въ сем. 1913.

**Беневоленскій**, Анатолий Ефремовичъ, р. 13 марта 1894; ок. Тверскую Дух. сем.; въ унив. и Пушк. сем. 1915.

**Берсенева**, Константинъ Тимофѣевичъ, с. мѣщан., р. 15 дек. 1891; ок. р. уч. въ Торжкѣ; въ ун. 1913; въ сем. 1914.

**Бѣляевъ**, Влад. Никол. Въ Пушк. сем. 1915.

**Букаревъ**, Александръ Ивановичъ, р. 20 авг. 1889; экст. при Коломенской гимн.; въ унив. 1913.

**Будковъ**, Прокопій Евдокимовичъ, р. 6 июня 1889; экст. при Введенской гимн.; въ ун. 1913; въ Пушк. сем. 1914.

**Вернеръ**, Дмитрій Михайловичъ, р. 1894; оконч. 1 Сибир. гимн. въ 1914, въ Петр. унив. пер. изъ Казанскаго Унив. въ 1915.

**Воиновъ**, Александръ Михайловичъ. Въ ун. 1913, въ Пушк. сем. 1915.

**\*Волковъ**, Романъ Михайловичъ, с. чиновн., р. 1 окт. 1885; уч. въ Новго-

родѣ Съверскомъ; ок. Нѣжинскій инст.; съ 1914 командированъ въ Петроградскій ун. Напечаталь (1914) раб. о народной драмѣ. (Рус. Фил. Вѣстникъ).

**Воскресенскій**, Павелъ Дмитриевичъ, р. 19 июля 1892; въ Самарской губ., конч. 1 Сибир. гимн. въ 1911; въ ун. 1913; въ Пушк. сем. 1915.

**\*Выгодскій**, Давидъ Исааковичъ, с. купца, р. 22 сент. 1893; ок. Гомельскую гимн.; въ унив. 1912; въ Пушк. сем. 1913; поэтъ. Чит. реф. „Фонетич. анализъ „окончанія“ Русалки“ (20 нояб. 1914).

**Вяткинъ**, Михаилъ Порфирьевичъ, р. 9 авг. 1895; ок. реальн. уч. въ Перми; въ унив. 1913; въ сем. 1913.

**Герасимовъ**, Петръ. Въ Пушк. сем. 1914.

**Гильдебрандъ**, Евгений Ивановичъ. Въ Пушк. сем. 1915.

**Григорьевъ**, Николай Павловичъ, р. 30 нояб. 1894; ок. гимн. въ Новочеркасскѣ; въ ун. 1914; въ сем. 1914.

**Гушо**, Эдуардъ Антоновичъ, р. 15 авг. 1893; ок. Иркутскую гимн.; въ ун. 1915.

**Димитріу**, Константинъ Алексѣевичъ, р. 25 дек. 1892; ок. экстерномъ гимн. въ Армавирѣ; въ унив. 1911; въ сем. 1913.

**Дѣловъ**, Всеволодъ. Въ Пушк. сем. 1914.

**\*Елачичъ**, Гавріилъ Александровичъ, с. д. ст. сов., р. 29 марта 1894; ок. 1 гимн. въ Петроградѣ; въ ун. 1911; въ сем. 1911; поэтъ.

**Ереминъ**, Степанъ Антоновичъ, р. 1 авг. 1886; экстернъ при Новгород-

<sup>1)</sup> Первый списокъ напечатанъ въ 1 т. „Пушкиниста“.

ской гимн.; въ унив. 1913; въ Пушк. сем. 1914.

**\*Замковъ, Николай Кузьмичъ,** р. 27 нояб. 1894; ок. Смоленскую гимн.; въ ун. 1913; въ сем. 1914; статья въ „Рус. Библиофиль“.

**Карташевъ, Владиміръ Игнатьевичъ,** р. 24 июня 1893; ок. гимн. въ Петергофъ; въ ун. 1914; въ Пушк. сем. 1914.

**Комаровичъ, Василій Леонидовичъ,** с. врача, р. 9 янв. 1894; ок. Нижегородскую гимн.; въ ун. 1912; въ Пушк. сем. 1913.

**Клеманъ, Михаилъ Карловичъ,** р. въ іюль 1897; въ г. Тукумъ; уч. въ пріютѣ принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго; въ унив. и сем. 1915.

**Константиновъ, Георгій Васильевичъ,** с. пот. поч. граждан. р. 27 марта 1892; ок. 3 р. уч. въ Петроградъ; въ ун. 1911, въ семин. 1914.

**Красногорскій, Василій Петровичъ.** Въ ун. 1911, въ Пушк. сем. 1915.

**Красновъ, Алекс. Мих.** Въ Пушк. сем. 1915.

**Крестинскій, Александръ Николаевичъ,** р. 4 фев. 1897; ок. Петр. Введенскую гимн.; въ унив. 1915.

**Куриловъ, Викторъ Антоновичъ,** с. священ., р. 23 окт. 1895; ок. Бахмутскую гимн.; въ ун. 1913; въ Пушк. сем. 1914.

**Львовъ, Константинъ Ивановичъ,** р. 17 апр. 1895; ок. гимн. въ Ржевъ; въ ун. 1914; въ Пушк. сем. 1914. Чит. реф. „К. Ѡ. Рыльевъ“ (5 фев. 1915).

**Макаровский, Михаилъ Ароновичъ** р. 6 мая 1893, въ Харьк. унив. въ 1912, въ Петр. унив. и Пушк. сем. 1915.

**Майковъ, Петръ Сергѣевичъ,** с. бухгалт., р. 18 мая 1896; ок. Тенишевское уч.; въ ун. 1914; въ сем. 1914.

**Мануильскій, Михаилъ.** Въ Пушк. сем. 1915.

**\*Масловъ, Георгій Владимировичъ,** с. ст. сов., р. 22 мая 1895; ок. 1 Симбирскую гимн.; въ ун. 1913; въ Пушк. сем. 1913. Чит. реф. „Разборъ вопроса о подлин. оконч. „Русалики“ (27 нояб. 1914.). „О стихотвореніи „Она“ Е. Воротынскаго“ (9 апр.). Огт. „Счастливы, кто близъ тебя, любовникъ упоенный“... (8 окт. 1915). Поэтъ Сотр. „Пушкинъ и его современники“. „Исторія цезуры Пушкинск. пятистопнаго ямба“ (7 мая).

**Машенко, Дмитрій Ѡдоровичъ,** р. 21 сент. 1895; ок. Българодскую гимн.; въ ун. 1913; въ Пушк. сем. 1914.

**Моринъ, Николай Михайловичъ,** р. 10 окт. 1895; въ Пулковъ; ок. Царскосельское реальн. уч.; въ унив. 1914; въ Пушк. сем. 1915.

**\*Никольскій, Юрій Александровичъ,** с. врача, депутата III Гос. Думы, р. 20 марта 1893 въ Елисаветградъ; ок. Тенншевское уч.; въ Петр. Въ Полит. инст. въ 1911 г., въ унив. 1912. Сотр. „Русской Мысли“ („Творчество Игнатія Зулоаги“, „Тургеневъ и писатели Украйны“), „Сѣверн. Записокъ“, „Рѣчи“.

**\*Оксманъ, Юліанъ Григорьевичъ;** р. 30 дек. 1894; ок. Вознесенскую гимн., въ унив. 1912. Раб. по философіи и ист. сред. вѣковъ въ Гейдельбергъ и Боннѣ, въ Пушк. сем. 1913. Чит. реф. „Фрагменты драмы о женщинѣ-папѣ“ (20 марта 1914), „Къ лит. ист. романа о „рыцарь-бѣдномъ“ (2 окт. 1914), „Строфы Пушкина о „старомъ дожѣ“ и „дог-арессѣ молодой“ (5 фев. 1915); Мнимыя стихотвор. Пушкина въ Московскомъ Вѣстникѣ 1828“ (9 апр. 1915); „Пушкинъ и Леонаръ“ (8 окт. 1915). Статьи въ „Рус. Виб.“; „Пушкинъ и Современники“, „Пушкинистъ“.

**Перфильевъ, Павелъ Петровичъ,** с. врача, р. 15 марта 1895; ок. 7 гимн. въ Петроградъ; въ ун. 1914, въ сем. 1914.

**Петровыхъ, Борисъ Павловичъ,** р. 20 фев. 1897; ок. Гимн. Цес. Алексѣя, въ унив. и Пушк. сем. 1915.

**Петрокѣевъ, М.** Въ Пушк. сем. 1914.

**Покровскій, Дмитрій Дмитріевичъ,** р. 1892; ок. р. уч. въ Царицинѣ. въ ун. 1912; въ Пушк. сем. 1914.

**Попель, Вячеславъ Артемовичъ,** с. прис. пов., р. 29 окт. 1896; ок. 1 гимн. въ Омскѣ; въ ун. и Пушк. сем. 1914.

**Поповъ, Евгений Николаевичъ,** р. 17 янв. 1895; ок. гимн. въ Череповцѣ; въ ун. 1913; въ Пушк. сем. 1914.

**Проппъ, Владиміръ.** Въ Пушк. сем. 1915.

**Пругавинъ, Сергѣй Николаевичъ,** с. сѣвер. дѣят., р. 20 авг. 1894; ок. гимн. въ Архангельскѣ; въ ун. 1912, въ Пушк. сем. 1914.

**Прияшниковъ, Владиміръ Михайловичъ,** с. прапорщ., р. 21 июня 1893; ок. гимн. въ Костромѣ; въ ун. 1912, въ сем. 1914. Чит. реф. „Русалка“ А. С. Пушкина (13 ноября 1914).

**\*Рождественскій, Свѣтололъ Александровичъ,** с. протоіерея, р. 29 марта 1895; ок. I Петр. гимн., въ ун. и Пушк.

семин. 1914. Поэты. Отдѣльно напеч. „Гимназическіе годы“. 1914.

**Рвзвяковъ**, Борисъ Александровичъ, р. 19 іюля 1896; ок. Тверскую гимн., въ ун. 1915.

**Соколовъ**, Александръ Θεодоровичъ, р. 27 мая 1894; ок. Тверскую дух. сем. 1913; въ Петр. Дух. Акад. 1915; въ унив. и Пушк. сем.

**Тарараевъ**, Алексѣй Яковлевичъ, с. крестьян., р. 17 марта 1895; ок. Новочеркасскую гимн., въ Кіев. ун. 1913, 1914 въ Петр. ун. Пушк. сем.

**Терещенко**, Николай. Въ Пушк. сем. 1914.

**Тонковъ**, Борисъ Васильевичъ, р. въ Ржевѣ 1897; ок. гимн. Цес. Алексѣя, въ унив. и сем. 1915.

**Тыняновъ**, Юрій Николаевичъ, с. врача, р. 6 окт. 1894; ок. Псковскую гимн., въ ун. 1912, въ Пушк. сем. 1913. Читалъ реф. „Каменный гость“ (20 фев. 1914).

**Ушаковъ**, Владиміръ Александровичъ, р. 31 мая 1897; ок. Петергофскую гимн., въ ун. 1914.

**\*Ходжаевъ**, Георгій Давидовичъ, р. 26 сент. 1892; ок. Ростов. на Дону гимн., въ Моск. ун. 1911, въ Петрогр. ун. 1912, въ Пушк. сем. 1914. Сотр. „Приазовск. края“.

**Цвѣтаевъ**, Николай Андреевичъ, с. двякона, р. 1 дек. 1892; ок. Орловскую сем., въ ун. и Пушк. сем. 1914.

**Чабанъ**, Дмитрій. Въ Пушк. сем. 1915.

**Шевелевъ**, Вульфъ Шмулевичъ, р. 4 іюня 1891; ок. Азовскую гимн., 1909; въ Пушк. сем. 1915.

**Шиловъ**, Василій Семеновичъ, р. 9 апрѣля 1884; ок. Екатер. Учнт. Институту 1904, народ. учит. въ Борисоглѣбскѣ, въ унив. 1912, въ Пушк. сем. 1914.

**Шиперовичъ**, Давидъ Марковичъ, с. мѣщанина, р. 28 апр. 1890; ок. Керченскую гимн., въ ун. 1910; въ Пушк. сем. 1914. Сотрудн. „Солнца Россіи“, „Наша Заря“, „Южная недѣля“.

**Шохинъ**, Иванъ Ефремовичъ, р. 31 авг. 1894; с. мѣщан., ок. Новоторжское р. уч., въ унив. 1914; въ сем. 1915.

**Штегманъ**, Артуръ Карловичъ, р. 16 сент. 1892 г., ок. Псков. гимн.; пост. въ Петр. Полит. инст. въ 1911, переш. на физ. мат. ф. Петр. унив. въ 1913 г. въ Пушк. сем. 1915 г.

**Юрковский**, Борисъ Николаевичъ, пот. двор., р. 18 авг. 1895; ок. I Петр. гимн., въ ун. и сем. 1915.

**Якуновичъ**, Георгій Алексѣевичъ, р. 1894; ок. 2 Кіев. р. уч., въ ун. 1912, въ Пушк. сем. 1915.

**Яковлевъ**, Михаилъ Алексѣевичъ, р. 7 дек. 1887; ок. 5 гимн. въ Петр., въ ун. 1913, въ Пушк. сем. 1914.

**Якубовичъ**, Дмитрій Петровичъ, с. поэта. Въ унив. и Пушк. сем. 1915.

**Якубсонъ**, Левъ. Въ Пушк. сем. 1914.

## Дополнительныя свѣдѣнія и исправленія

къ первому списку

участниковъ Пушкинскаго семинарія.

**\*Бемъ**, Альфредъ Людвиговичъ, р. 23, а не 26 апр. 1886 г.

**\*Искозъ**, Аркадій (Аронъ) Симоновичъ, р. въ 1883 г. а не въ 1882 г.

**\*Шлосбергъ**, Артуръ Николаевичъ, р. 4 янв. 1881 г. ок. Рижскую Алек.

гимн., въ унив. съ 1903 г., въ Пушк. сем. 1908 г. Преподаватель. Сотр. „Фил. 3 п.“, „Журн. М. Нар. Пр.“, „Энци. слов.“. Отд. напеч. „Начало рус. жур.“ (СПБ, 1912).